

Министерство культуры Самарской области
и Самарская областная писательская организация
представляют в проекте
«Народная библиотека Самарской губернии»
книгу

Владимир Миклавчик

ДРКД

Роман-интонация



Русское эхо
2012

АРКАНЫ БЫВШЕГО ГОРОДА

Буду пристрастен. Тому личные причины. Роман «Арка» читал в канун и после тяжелой операции. В больнице, сразу после реанимации, и поверил свои впечатления тетрадке. Через два года отыскал ее... Так что это не столько даже рецензия — для нее необходима бесперебойность и возвращаемость восприятия, — сколько смутные воспоминания о близком. С автором я почти ровесник. И очень многое понимаю из им сказанного. Еще больше вспоминаю с ним и благодаря ему... Чтение не зацепило — закоренило, хотя ухватывалось кусочками, с большими антрактами. Между тем, роман «Арка» — это поток, требующий медленного, непрерывного усвоения. Один сбой — и ты что-то забыл, упустил, а возвращаться некогда. Но уж что есть...

Миклавчик В.?

М Арка: Роман. — Русское эхо: Самара, 2012. — 240 с.

ISBN 978-5-904319-

????????????????

О чём?

О многом.

Это гимн старого города. Самара. Она узнаваема, хотя всё неэтимологическое применимо почти к любому старому городу. Гимн в картинках. Нет, я бы сказал, в символических арканах* Таро личной судьбы.

Это детство шестидесятых-семидесятых, любовь и дружба, расплющенные о стену постперестроечного инферно, «песочницы» коего, в свою очередь, осыпались, как мальчишеская горка «чики». Была такая игра.

А, может быть, это лишь детское освидетельствование гранитными, мраморными и жестяными жетонами то ли прошлой жизни, то ли будущей взрослой небыли.

Это любовь сквозь арочные разводы мужского мировидения...

Это «новорусский бизнес»...

Это... это... это...

В общем, Арка...

Зачем?

Просто, видимо, пришло автору время осмыслить Всё. И времени нашлось, а терпения хватило на склейку разрозненных бисеринок в цельную мозаику.

Формулировать идею или пересказывать сюжет — дело неблагодарное. Тут ведь всё чудо — от чтения и наложения впечатлений, от послевкусия, иногда даже мало воспроизводимого логически. Не вижу смысла городить

* Арканы — в данном контексте: герметическое (тайное) знание.

ISBN 978-5-904319-

© Миклавчик В.?, 2012.

© Русское эхо, 2012.

образцово-показательные цитаты. Это как выжатая цедра из «царской солянки»: вне контекста не вкусить. Надо читать, не упуская мысли, авторских сигналов и отсылок. И читать только тем, кто готов оценить.

В романе нет персонажа однозначно положительного. А где он есть? Нет даже имени главного героя. Все ключевые фигуры анонимны. Повествование от первого лица ведёт... назовём его Рассказчик. Порядочный, по своим понятиям, человек, устроившийся в бизнесе. Внешне респектабелен, почти атлет. И даже всадник: лошадей с детства любил, а мечту осуществил лишь сейчас, обзаведясь Серым. Странная кличка. Хотя отчего же? Серый для палитры, для радуги — тоже что-то вроде Анонима.

Главное богатство рассказчика — детство, откуда оловянными солдатами и фарфоровыми принцессами наплывают все, кто был, ушёл, остался.

Рассказчик бытует в неуловимой, вневременной многослойности. Искусно блюдя фабулу, он держит читателя в не болезненном, но интригующем напряжении ровно в одну загадку-недосказку. Кажется, вот уже сейчас вылетит она, птичка. Чик — гунец взят, а рубль... отодвинулся. Дальше — больше. Опа! Рубль взят — трояк отпрыгнул.

Так и читается: пласт за пластом в поле вариантности с вроде бы и дозволяемой рассказчиком возможностью поиграть на клеточках последовательности и стыка пространственно-временных паззлов. И, тем не менее, до изюминки (или «сыра в мышеловке») добраться не дано. Это, видимо, сокровенное. Или просто игра?

Игра по имени жизнь, в которой никто не знает, что *ждёт* за, казалось бы, *ожидаемым* поворотом. Поэтому в игре не может быть (и не будет) стопроцентной отгадки.

«Игра в бисер». «Игра в классики»*. «Игра в чику». Первые две известны многим, но больше — Им. Последняя — только Нам, русским.

Я не всё состыковал, честно. Ведь и Рассказчик задал интригу, не допустив разгадки. Автор в праве. И прав: «Прыгай, прыгай, читатель». И всякий раз перед тобой муаровая таинственность в неплотной вакуумной упаковке с завязочками полусекрета. Ты их развязываешь, но муар лишь отливает новыми точками и оттенками совсем иного узора, а тебе достается вакуум. Сложно? Но всё это цветочки на фоне авторской стилистики. В которой, пожалуй, истинный секрет притягательности и силы «Арки». Я бы назвал это «погоней за неуловимым». Автор озаглавил: *«роман-интонация»*.

Арка и двойники

Для Рассказчика Арка не просто символ детства. Это простреливающий солнцем коридор из Вне и, может быть, даже обратно. Не зря же, осознавая капитулянтскую обречённость старого города небоскрёбному вандалу,

Рассказчик вывозит Арку в деревню. Куда и убегает (убежит ли?) из мегаполиса. И где отдаёт её сельскому батюшке. Арка и деревня — новый кентавр... Разве? Ведь русский Храм — это и погост. А арка — срез храмового купола ли свода! Погост с Аркой. Рассказчик делает попытку к бегству, чтобы не умереть, а *выжить* и *жить* в деревне с Храмом.

Роман непрерывно поманивает «эффектом двойника». Но более всего — в образе *Её*. О *ней* Рассказчик повествует только *курсивом*. Интерес обеспечен. Читатель насторожённо ждёт встречи с *нею*. С тем, как же *она* явилась в его жизнь. Положим, в романе есть искусительница-цыганка. Тоже без имени. И на дублёршу-двойницу *её* больше других смахивает она. Поперву. Однако она другая, не *она*.

«Её Станным образом нет... Когда я вижу её вновь — я сразу чувствую, как мне не хватает её отсутствия»...

Присутствие отсутствия — общая аура «Арки». Ведь что есть Арка? Два основания с общим сводом. Два разно-заряженных полюса. Два столпа: из одной жизни в другую. Две судьбы, сходящиеся в небесном своде. От мысли к действию. От знания к силе. Из сердца в душу. От Инь к Янь. Без минуса нет плюса. Без одного из столпов нет и Арки. На одном столпе она просто рухнет. Понимание этого и есть принятие *отсутствия*, которое заставляет нас *Присутствовать*, ибо *отсутствие присутствия* — уже ничто, коего по мере сил пытается избежать ВСЁ.

Без Арки для автора нет и жизни. Как пространства вне времени. Как времени вне памяти. Как памяти вне тебя, меня, его — Вне Разума. Без памяти о прошлом нет будущего. Лишь одно сплошное настоящее. А такое, как сейчас... это хуже, чем Ад!

В продолжение темы двойника: именные носители в романе опять же раздваиваются. Выпивошка Ира из рюмочной упорно откликается на Маня-Ира. Образ разбитной, но не примитивный. Это, если вдуматься, сгубленная урбанизацией работная Россия, это гнивающий мир культуры и труда, утративших положительную идею. А если конкретней — Бывший Русский Город, где «Его Величество Пролетариат» однажды изрядно загулял, а проснулся люмпеном, плебсом, маргиналом... И автор убедительно подсказывает: горожанка Маня-Ира обречена на гибель. Потому что спасение — в деревне. Там, где земная, крестьянская, но при этом облачно парящая Незнакомка — Пастушка. Там Россия, там Культура, там Природа и Работа для жизни, там Храм, там теперь Арка. Арка — мостик спасения между...

Пастушка. Образ, отстоящий особняком. Почти мистический, но могучий и магнетический. Пастушка — так поименована женщина-пастух (ну, не осталось в деревне подходящих мужиков) — она как невидимый град Китеж. Только в приложении к Русской Деревне — не урбанизированной, не спившейся, гордой и целомудренной. Поэтому: мистической, но могучей и магнетической — своим надвременным притяжением. Поэтому Она

*Интеллектуальные романы Генриха Гессе и Хулио Кортасара.

(Деревня-Пастушка) и подана, как идеализированная, мифологизированная, уходящая Всадница. Брюлловская была горожанка. Сегодня — только деревенская (город обречён). Пастушка на своей кобылке Варвара и кажется заоблачной, возвышенной, как дева Феврония. Но на неё равнение, в ней спасение, ей — мольба. Православная твёрдость, земная правда и языческая младость. Вот кто вытянут Русь! Так, Рассказчик?

Рассказчик не скажет, но нам кажется: он интуитивно чувствует это, тянется к этому и понимает, что Пастушка ему не по зубам. Да и «барчук» на своем Сером для Всадницы хлипкок... Как им найти общий язык, нужную интонацию?

Метод неразгадки

Манера... Неторопливая, почти эпическая. Автору есть, что сказать, и есть время для этого. Он не спешит, не сжимает, не разбрасывает, а, при возможности, тщательно мерит и искусно дегустирует прежде, чем предложить. Но предлагая, не позволяет лишкануть... В общем, снова и снова поманивает и соблазняет. Только не искусительным, а испугательным.

Всё продуманно: Рассказчик разворачивает свое состояние в поэтический сказ, а временами и — мелодекламацию. Но каждый перепад и переход синхронизированы с настроением, созвучны определённому чувству. Мысль и текст сплетаются в сложный узор, невообразимый без сочетания взаимовложенных компонентов. Поэтому архаизм может вклеиться в англицизм и скосвырнуться, не нарушив резьбы, на научную штамповку. Но, в целом, всё органично, по крайней мере, не режет слух. Это и есть строй арок, вернее, аркада с отдельным космосом зеркал и двойников.

В неразгадке, недоговорке, нераспутке нитей, пружин, тайн и загадок — залог читательского любопытства, интереса и очарования (но, увы и ах, потребительского разочарования) «Аркой».

Особого внимания заслуживает метафористика. Тем, кто любит лёгкое, не перешагнуть через первую же «баррикаду». Другие прельстятся, запутаются, и тоже приесться. Зато истинным гурманам дико интересна именно вязь и то, как вяжут, затягивая в паутину мистерии мужской мысли, фантазии, философии...

Роман, буквально, полон просящихся на экран кинематографических эффектов. Например, Рассказчик, танцующий в испанской глубинке и «заправляющий бензином» свой карман... Или романтический сеанс его сближения с цыганкой. Арт-экспонента «на потребу»... гурманам.

И еще одна редкостная особенность письма: логика западных умопостижений, плюс ментальное своеобразие «новых русских» — и всё это на старом, традиционном, чистом и красивом русском языке. Равно как и обратное: неразгаданная русская душа — в сродной западному интеллекту эклектической сплавке. От экзистенциалистского потока сознания до

утончённой кортасарской «игры в классики» на обдуманно смешанных автором клетках композиции. Но всё это опять же столь мастерски дозировано, гармонично свито, что не забывает одно другого (а главное — идеи автора), и есть надежда: будет воспринято, как «свое», что «русской душой, то и «западным сердцем». И в этом ещё одна магнетическая арочная ипостась книги: изогнутый литературный мостик со-понимания между двумя ино-читающими мирами.

«Игра в чик», как философия

Философии особой нет. По крайней мере, лукавый Рассказчик старательно и регулярно утверждает, что аполитичен. А ещё он далеко не во всём и не всем симпатичен. Этакий русский симбиоз личного «богоносительства» с бытовым нищезанятием. При этом он запросто может захватить в ухо заносчивому «профессиональному мыслителю-критику», а потом долго рефлексировать в поисках баланса «можно\нельзя» по части терпимости к «гадам» или милости к падшим...

Согласитесь, для бизнесмена это уже что-то? Соглашусь, есть и некий накрут, переключённый в его то античных, то трущобных похождениях. Раз — Самара, два — Париж... Но не забудем: это «новорусская былина»! Ввиду чего, сюр натурально вламывается в реал, порою магический. Здесь ещё только венгерские танцы, а там уже испанское болеро с цыганкой-миллионершей. Ещё парочка «па», затем обалденный кувырок и вот уже перед потрясённым читателем — почти мистический пробор со смертоносным мальчишеским галопом вдоль железной дороги к загадочному домику соблазна и союза.

На грани сюр и реала, греховности и святости — всё, что связано с Гуней*, самым колоритным и, одновременно, удивительно типичным персонажем, персонифицирующим «игру в чик». Гуню в самарском бытии мы встречали, поверьте, все. Каждый знает такого, своего, Гуню.

Гуня... Совесть и Мозг романа. Знак доверия и проверенности для Рассказчика. Великий и... недостойный. Чистый и непристойный. Как, впрочем, каждый из нас...

Гуня из городских чудиков, вечно неприкаянных. Мотылёк не-прирослый (ни к одной эпохе) и в этой откоренённости обретающий хрупкий, но свой вечно-пролетающий стержень-одуванчик. Сродни гессевскому Кнульпу, Гуня — вечный прожектор, перекачан-поле. И всё-таки есть подозрение: без гуниных проектов не бывает и проектов.

*Гуня (преимущественно у славян) — пелёнка, покрывальце, мешок, шкурка, сермяга, накидка и проч. Скорее всего, кличка Гуни — вольная этимологическая перекладка жаргонного «гунчика, гунца» — 10-копеечной монетки-битки для той же «игры в чик».

Такие долго не живут. Над ними нет Арки — столь любого автору «внутреннего домика». Поэтому даже могила их — лишь эклектическая помесь материальных кандалов общества для всегда свободного духа одиночки.

Псарня с голубятней

Среди безымянных, то есть Главных, Персонажей Рассказчик выделяет Компаньона. Вот уж кто понятен, конкретен и просчитываем. Не загружается лишним. Крутенёк напоказ. Типичный «новый русский»... При этом, «следуя понятиям», надёжен. Есть такие. Компаньон, хоть и свиреп, как хищник, но верен как бойцовский пёс, например, полоумный питбуль. Не удержусь, выложу кусочек:

«Едва открылись ворота, как к машине через весь двор устремилась свора собак. Они неслись во всю прыть, пасти открыты, языки болтаются концами пионерскими галстуков. Вперёд вырвался ротвейлер, за ним голова в голову летели стаффорд и ризенинауцер. Тут же попевал боксёр. Не повезло суке Алисе, умненькой колли, которая, значительно отстав, ковыляла и поскуливала — в недавней битве зубы кого-то из собратьев чуть не переломали ей лапу.

Собаки облепили автомобиль со всех сторон, требовательно лаяли, виляя хвостами. Их лапы скрежетали по кузову и стёклам, а оскаленные морды оставляли мутные облака и пенные кляксы. Боксёр Джерри, как обычно, не в силах сдержать радости и физиологического позыва, побрызгивал во все стороны мочой.

Меня коробило от этого зрелища, особенно, если представить, как они сейчас начнут обнюхивать тебя, слюнявить брюки, тыкаться мордами между ног, отчего хозяйство стыло и панически, но безуспешно норовило скрыться в телесах...

Компаньон баловал псов. В отличие от членов семьи, с которыми мог быть не просто строгим, но и суровым, собакам позволялось всё без исключения. Для них выстроили миниатюрный специальный домик, внешне похожий на традиционный человеческий. Псарня была высотой примерно метр семьдесят в коньке, но имела несколько комнаток, а съёмная крыша позволяла убираться и время от времени находить пропавшие из особняка вещи. На самом же деле жилищем для собак являлась вся усадьба и хозяйский дом, в частности. Жена и сын компаньона втихую или открыто старались не впускать, по-моему, полоумных псин в помещение, однако хозяин не закрывал дверей перед любимцами. И тогда легче было участвовать в разгроме, чем остановить его. Может, я несколько преувеличиваю, может, в моих словах тень раздражения и есть, но скомканные покрывала на кроватях, цыплёнок-табака, исчезающий со стола у всех на глазах, обглоданный и разодранный ботинок, купленный в Италии — это не мой стиль».

Вам... уютно, читатель? Право слово, ёмкий, яркий, жуткий, физически защемляющий фрагмент-символ человеческого зоо-преображения. Да, преданный питбуль защитит хозяина, но как сжимается низ живота у гостя, когда полоумный пёс обнюхивает его на предмет идентификации. Законен вопрос: а не так ли ведёт себя с чужими в «пределах личной дачи» и хозяин своры — Компаньон, бывший пионер? Нет, он, конечно, гостеприимен, устраивая для друзей редкие «мальчишники». Вот только бойцовым псам здесь позволено всё без исключения. А друзья и даже родные подвержены постоянному страху быть порванными и обглоданными на месте. Что, как хозяин уйдёт или всего лишь поменяет своё отношение к гостю? Барин в праве! Ещё более неумолима статистика: «верные и преданные» бультерьеры исправно и периодически рвут хозяина или хозяйских детей. Не правда ли, знаковая модель-метафора нашего теперешнего мироустройства? Но особенную, гротесково-карикатурную рельефность обретает она, когда читаешь, как на той самой даче, больше похожей на «псовый Алькатрац»*, Компаньон заводит... голубятню... Ну?!

Вам всё ещё не очевидно будущее такого «Эдема»? Тогда уж, пардон, мы сами припечатаем: профанация, имитация, симулякр.

Симулякр — копия мнимого оригинала. Попытка скопировать еще несуществующее... Как это — несуществующее? Ведь была, была же у Компаньона в детстве голубятня. Или это было в небыли? И он променял её на...? То есть предал. А, значит, склейке не подлежит...

Но ведь и сама Арка лишь знаковый симулякр до тех пор, пока Рассказчик не спасает её, рискуя реально, когда делает ту самую попытку к бегству, чтобы выжить в деревне. И после этого Арка — уже, пожалуй, контр-симулякр всей этой городской жизни-нежизни, заключенной в кандалы кладбищенской цепи на пяти столбах Гуниной могилки (в «Рубёжном»). К слову, нелепости кладбищенской и уродства городской архитектуры — еще одна «критическая черта» романа. Углубляясь в тему, понимаешь: Арка для бывшего города и служила «интонацией позитива» — Настоящего. Убивая эту животворную «интонацию», вслед за уничтожением исторической панорамы бывший город хоронит и свое будущее.

Из урки в турки

Для симулятивного контекста очень характерно, что конкретными именами в романе «облечены\облицованы»... лица сугубо второ- и третьестепенные.

Допустим, тот же Бердяй — типовой экземпляр в тираже криминальных политиков-бизнесменов «новой» России. Которые: «Из урки в турки». А вот до ферзя — вряд ли. Ещё более безобразен и зловещ охолтелый разбойник — абрек Шевкет, до поры рядящийся «другом с гор», как и многие «младшие

* Алькатрац — самая «надежная» тюрьма США.

братья» общесоюзного детства «в пионерских галстуках». Бердяй. Шевкет... Даже в именах, чуе, есть что-то от номадов-налётчиков: лихое, кочевое, ордынское...

...Такие «джигиты» всех нас «в чику» и обделали. До начала 1990-х исполинская гора национального достояния высилась, прирастая общими трудами. Но нашёлся... нет, не Гуня, а то ли Шевкет, то ли Бердяй, то ли их общий Компаньон. И откуда остальные примеривались да пересчитывали свои рубли, эти то ли с меткой «битой» (гунцом), то ли с битой бейсбольной прокрались к горе ближе других. И метнули гунчик с шаговой дистанции, после чего нагло и наглухо накрыли общую гору шапкой-маломеркой: «Моё». Правда, вышла «не по Сеньке шапка»: всю кучу растащить не удалось даже тьме тьмушей Бердяев, Шевкетов and Co. На том лет 20 и стоим: сто с рублем, двести с шапкой, трое вокруг горы...

Так вот, с Бердяем героя сызмальства повязало чёрное пятно, которое наложилось на судьбу и имя Рассказчика, пропустив его даже через «малолетку». Есть в биографии героя и другие «грязные тайны», которые увезла с собой в южный город некая женщина, дружившая с его мамой. А над ними глыбится некий узловый намёк на беду, случившуюся в маленьком мрачном дворовом домике, которая и породила многолетнюю вражду Рассказчика с Бердяем.

Только та далёкая женщина владеет ключиком к пружинам беды. И перед смертью она хочет поделиться тайной с Рассказчиком. Но не успевает. Впрочем, есть ещё письмо, где — про ВСЁ. Но Рассказчик его сжигает. Мы не поняли: зачем. Но хочется поверить: так надо...

А мимо межевými мотыльками проносятся принцессы пауз. Вот стройная нимфа из табачного киоска с тленной печатью прыщика на бритой белизне лобка, прорывающегося из плавок. Пауза пляжная...

А вот вечерняя девушка Гуни, перед которой тот на коленях, шокируя остановку, раздирает «шоколадную гранату». Пауза постмодернистская...

Но мы-то уже знаем: это знакомые авторские манки-обманки. Далее помелькивают, претендуя, и другие. Их вовсе необязательно ловить и вскрывать. Важнее ведь Интонация романа. Когда она задана верно, Роман интонации с Читателем гарантирован...

Автор лучше всех знает это и очень скоро приучает читателя, что *она* не от их мира и не надо искать *её* в простом. Все *эти* — лишь тени на кромке хитона. Хитона *Её*. Кого? Гетеры? Гейши? Барышни-крестьянки? Или *она* такой же симулякр? Муляж воспалённой фантазии... Силуэт мечты по несбывшемуся... Недаром же Рассказчик счастлив только в отсутствие *её*. И в этом — большой резон: ведь, если отлокотиться от сказки, чем станет жизнь с *нею* в деревне? Вершинным, обманным, симулякром? А, может быть, напротив, всех и всё спасет духовный контр-симулякр?

Какой? — Арка... Он&Она...

Она&он

А *она*? *Её* прошлое покрыто мраком. В последнюю встречу он выручает *её* от «денежного туза». Похищает прямо в магазине по ходу бытовой покупки. Извините, это уже сущий фарс, пародия на похищение: то ли из серала, то ли из аула, а, может, из грядущей «псарни с голубятней». И отчего-то властно накрывает мело-драмо-ироническая «Метель». Помните, Бурмин повенчался с чужою невестой, выдав себя за Владимира... А много погодя Бурмин же полюбит *её*, не ведая, с кем венчался понарошку, но пораньше. Поелику ещё чуть позже всё и разъяснится. Вот только незадачливый похититель Владимир останется «с носом» и в гробу...

...Что ж, двустолпный (арочный) роман, полный двойников, никак не может обойтись без смысловых дубль-ситуаций. Вот и центровая — завязочно-развязочная — дубль-ситуация «Арки» связана с «*кражами*» (в самом начале и самом конце). Концептуально разные, оба раза они (кражи), как ни странно, пошли на пользу и во благо...

...Теперь внимание! Итак, Рассказчик окончательно УКРАЛ *её* из МАГАЗИНА, по-прежнему терзаясь в ЗабытОм. В забытом домике на железнодорожной развилке после того кошмарного бегства от местных парней он и повстречал *её*... В ту пору обоим еще далёко до совершеннолетия. Но ведь потянуло же, швырнуло в объятия друг к другу что-то — да всё, в том числе либидо. И процесс сей выписан автором на зависть виртуозно: эротично и, одновременно, целомудренно. Высший класс!

Как и в пушкинской «Метели», суть разъяснится на последней странице романа. А увенчает любовь обоИх Арка в русской деревне. Нам же томительно захочется, чтобы это был (пускай, в литературе) не симулякр, а Союз.

Ибо к Союзу прийти очень непросто! Ломать — не строить. А вот Строя, приходится, порой, ломать сокровенное! Тот же Рассказчик на всём пути созидания Союза незаметно ломает себя, исподволь укрощает гордыню и, в конечном счёте, перемалывает злой дух колонизатора. Игра стоит свеч! По ходу «перевоспитания» открывается ему великое и простое: все *эти* женщины — окантовка *её* тени. Ну, а мы все разве не ловим часто лишь тени вместо того, чтоб стать достойными *Хозяйки*! А ведь для этого нужны лишь *настрой* на волну и правильный *тон*...

Однако *вернёмся* к дубль-ситуации. Еще не зная (не опознавая) *её*, Рассказчик *в самом начале* книги развязывает игру с Пижоном, этим карманником и неудачником, а по сути — концентрированной калькой с собственной судьбы. Рассказчик ловит незадачливого воришку в... МАГАЗИНЕ (!) на попытке КРАЖИ и, в сущности, плумится над ним, искренне веря, что таким образом дает «урок жизни». А на деле — всего лишь урок силы. Но день ото дня «педагогика» Рассказчика всё мягче и тоньше. Всё заметней, что это — лишь учёба и, в первую очередь, для него

самого. Между «врагами» определённо вспыхивает что-то. И оказывается: юный Пижон не урка. В нём пульсирует творческая жилка. Парнишка — гитарист, стихийный, дворовый, но инстинктивно чующий Красоту.

И вот он мелодраматический презент, что опережающе подкарауливает робкие читательские надежды: Пижон — её сын. А, значит, его пасынок. И в деревню поедут вместе. Все трое!

Только рано ликовать, читатель. Где это слыхано, чтобы порочный Содом дал праведникам безмятежно удалиться в пустынь? Вот и здесь, ровно в день отъезда являются три «ангела мщения» — три урки из совсем недавнего прошлого Пижона, теперь Пасынка. Трое! Будто три тени из безумно теперь далёкого прошлого Рассказчика: тогда, в детстве, его не отпускали и пасли тоже трое. От них когда-то пытался ускользнуть он на дрезине, спрятаться в железнодорожной мастерской...

И люди дают уркам урок. Урок называется: бой не на жизнь, а на смерть. Изыди!

Тут вот что ценно: обычно уступавший мощи Рассказчика-Отчима Пижон-Пасынок на этот раз предстает в триединстве силы. Он и ударный витязь-поединщик Пересвет, и передовой полк и... полк засадный, завершающий «Куликово» сокрушительным разгромом супостата. Тогда как более сильный, но грузный Рассказчик откровенно просел: ему не достало разворотливости, ловкости, юношеской прыти. Не хватило дяде Куража.

Победила молодость! Пасынок спас Отчима, Пижон — Повествователя.

В затерянном домике сто лет назад случился соблазн на раз. И союз — на век! Они зареклись и нареклись: он, Рассказчик, и она... Интонация...

Владимир Плотников,
член Союза писателей России

Я никогда не понимал, что *ей* от меня надо. Да и не искал объяснений, зачем *она* мне. Такая. Куцый одуванчик, потерявший от ветра жизни «белость и пушистость», за исключением трёх-четырёх пёрышек.

Когда *её* не было рядом, я совсем не вспоминал о *ней*. Не скучал, не мерил время сладким, как осенний дождь за окном, предвкушением встречи. Но, стоило увидеть эту, затерянную в ожиданиях мира, молодую женщину — где-то на улице, в троллейбусе или магазине — что-то внутри словно обрывалось. Так бывает всегда, когда я оказываюсь перед поездом, готовым к отправлению, — я безотчётно вижу себя со стороны: вот поднимаю ногу, вот ступаю по гулким ступеням и исчезаю в тёмном тамбуре вагона... Даже если никуда не уезжаю. И во всём — запаха путей, поезда. Запаха отъезда и движения. *Навстречу.*

Где именно *она* живёт, не знаю, полагаю, что в нашем районе. Зато знаю, как *её* зовут — откуда(?!): не помню, что бы мы когда-либо представлялись друг другу, — но ни разу не назвал по имени. Словно в *идентифицирующем* нас земном обращении не нуждались ни я, ни *она* (наиболее точное, хотя и длинное казённое слово, оно будто снимает одежды, обнажает до атомов, отмечает наносное, как детектор лжи выявляет сигналы правды и сводит их в картинку идеального не- или соответствия).

Между тем, *она* прекрасно знает дорогу в мой дом. Однако сама... Нет, ошибаюсь. Припоминаю случай. *Она* пришла. Из дождя. Мокрая, как чёрное дерево в октябре. Стояла у порога и молчала. Взглянула на меня мельком и уставилась безучастно в окно на лестничной клетке.

Она почти всегда молчит и почти никогда не смотрит на меня, будто боится увидеть знакомые черты. Даже если живёт в моей квартире два-три дня. И всё же мы разговариваем. Возможно, реже, чем прибрежная галька на пляже, но всё-таки...

Более того, в наших отношениях существует некий парадокс общения, некое *над-* или *под-*, что я пока не в силах сформулировать.

Её странным образом *нет*. Нет и тогда, когда проходит между мной и телевизором, когда в постели от нечего делать подёргивает ноготками мой сосок, когда отпивает из бокала моё пиво или оставляет на расчёске русые волосы.

Когда я вижу *её* вновь — я сразу чувствую, как мне не хватает *её* отсутствия! Жаль (или не жаль), что возникают эти ощущения только тогда, когда *она* со мной.

С другой стороны, мне как-то обособленно, беспричинно и безследственно всегда *зналось*, что *она* где-то *есть*, среди городских улиц, магазинчиков и транспорта, с утренней чашкой чая, в делах на работе или у телевизора за кружевным вязанием. Просто *зналось*, что *она* просто есть.

Пыльный город напоминал безбрежную мутную реку. Но всё живое в нём, казалось, не замечало серо-жёлтой мгlistости: шевелилось, перемещалось.

Войдя в здание Центрального телеграфа, я огляделся в поиске свободной кабинки. И вдруг увидел её. Она разговаривала по телефону. Молча, держа трубку там, где положено, она без любопытства читала надписи на стене, потом стала отколупывать чешуйки краски от поверхности рамки, обрамлявшей инструкцию. Жёлтый круг с цифрой «семь» особенным солнцем сиял на стекле над её головой.

Всё выглядело совершенно *случайным*: и то, что я очутился в этом месте, и то, что оставил дома мобильный, и то, что внезапно и срочно захотелось звякнуть кое-кому за границу, о чём напрочь успел забыть.

Из соседних кабинок выходили люди. Но я этого не замечал: сидел на рыжем диване и ждал, пока освободится кабинка №7. Ждал и смотрел.

Тут она мимолётно взглянула на меня. Сквозь стекло. Сквозь меня. Глаза не отразили того, что встретили некую преграду. Но так могло показаться только не посвящённому в знание: без всяких выводов, размышлений и вопросов во мне на миг прозрачно отозвалось, что где-то на уровне игры Времени всё о нас с ней записано, а то, что будет, уже было. Не исключаю, что в моём объяснении сквозят отголоски ироничной мистификации, каких-нибудь «паранаук» и тому подобное; тем не менее, доля правды, — в чём-то не воспринимаемой, как данность, в чём-то пугающей своей заданностью — ох, как значительна.

Что-то было тогда и есть сейчас. Неуловимое.

Она вышла из кабинки. Я встал. Наши блуждающие взгляды соприкоснулись на мгновение. Мы одновременно двинулись к выходу. Она — чуть впереди. Между нами скользили люди, пока мы пересекали зал.

На улице, ударившей по ушам разнокалиберным шумом, мне не нужно было вертеть головой и всматриваться в лица, фигуры прохожих в поисках её — я знал, что мы идём в одном направлении. Вскоре — то ли она сбавила шаг, то ли я пошёл быстрее — мы поравнялись и, не глядя друг на друга, молча побрели рядом.

Удивление — одно из особенных проявлений человеческой сущности: ничто не колыхнулось в душе и не тронуло сознания, когда абсолютно синхронно и уверенно мы свернули за угол, затем ещё раз, чтобы утонуть в тёмной утробе арочного свода, который пробурил насквозь жилой дом вовсе не для связи с внешним миром: наполнить приключениями и загадками детские фантазии и игры — вот зачем строят в городах подворотни, тоннельчики в домах и арки.

В детстве я был счастлив оттого, что дом, в котором мы жили, и соседний — соединены между собой забором и аркой. Забор из витых прутьев, опутанных кованой ветвистой лозой, установили ещё в XIX веке два купца, которым и принадлежали дома. Но больше всего

я гордился *Аркой*. Она напоминала вход в крепость, ворота красивого благополучного древнего города. И сама была похожа на целый город со своей невидимой кипучей жизнью: колонны сооружения венчались многогранными зубчатыми башенками, каждая из которых пронзала небо островерхим конусом миниатюрной крыши со шпилем, схожим с наконечником копья; свод, объединявший колонны, по всей длине был перекрыт крашеной жёстью и имел сквозные просветы, он расширялся к центру и по форме напоминал домик, на коньке которого красовался вырубленный из железа флажок. Разнообразные выступы и орнамент в виде средневековых королевских гербов — геральдических лилий и странных знаков, напоминающих сплетённые, словно спрятанные, зеркальные свастики — символов солнца, оживляли Арку, наполняли её движением, придавали характер и важность. Не берусь определять стиль (не знаток!) и архитектурную целостность строения, потому как мнение моё будет предвзятым — я принимал её такую, какая она есть, и обожал с малолетия. Тайна, тайна целого мира — вот что окутывало каждую её линию и трещинку, а волшебные способности, которыми она обладала, помогали мне и наделяли меня самого магической силой. Временами, конечно. В особо важных случаях. Каково же было моё удивление, когда я однажды, будучи уже при делах, увидел в художественной галерее картину с изображением фрагмента забора, Арки и моего *прежнего* дома. Светлые радужные тона детства, прорисованные детали всколыхнули и потрясли меня, заставили в одно мгновение покадрово прожить жизнь в обратном направлении. Нет, просто перенесли сразу в счастливое детство, будто *другого* я не жил. Я заговорщицки подмигнул продавцу-консультанту и приобрёл детство. Вообще у меня есть семь акварельных работ и пять, написанных маслом. С изображением арок. И более сорока великолепных фотографий разных лет. На них запечатлены почти все интересные (из них уцелели единицы!) арки нашего города. Старого города. Город нового времени проглотил соседний дом, взамен же выплюнул убогий модульный магазин из стекла и ребристых «термосэндвичей». Изящную лозу воры при должностях вывезли в пригородном направлении. А гнездо моего детства, отбив с его стен лепнину и декор, изуродовали гранитной плиткой, которая отражает всякого проходящего. Но Арка!.. Они ничего не смогли с ней сделать! Потемневшая, со следами надругательства, она выстояла! Как-то я напился без повода, купил отделочную смесь и замазал выщерблины и сколы. Это было днём. А ночью — освежил её светлым колером. Конечно, восстановить орнамент я не пытался, однако радовался безмерно её умытому бодрому виду. В детстве, проходя сквозь Арку, я всегда загадывал желание.

— Дозвонилась? — спросил я.

— Дозвонилась.

— Что-то не так?

— Тётке звонила. Кажется, приболела.
— Поедешь к ней?
— Как сложится. Не всё так просто. Столько лет пыжусь — не могу название города разгадать: Таганрог...

Закурив на ходу, я пустил за собой густой шлейф дыма. И словно увидел его со стороны: прежде чем он развеется, как эхо наших поступков, будет клубиться, с нервными завихрениями поглощая пространство и атакуя окружающих.

— ...Не мучайся так, — сказала *она*, будто подытоживая долгий разговор, когда мы вынырнули из мрачного свода в уютный, ополосканный солнцем дворик. — Ты же сам всё понимаешь.

— А я и не мучаюсь, — солгал я, скорее, себе, чем спутнице. — С чего ты взяла?

— Ты напряжён.

— Тебе показалось. Я давно разучился напрягаться. Напрягаться душой в переживаниях — ты же об этом?

— Хм... А вот я — наоборот. Как натянутая струна. Как подвесной мост между берегами, перегруженный выше всякой нормы. Видно человеку... то есть мне, не суждено жить так спокойно и уютно, как живётся домашней кошке у нормальной любящей хозяйки. А хочется.

— Смени хозяйку.

— Судьбу не выбирают.

На болотной зелени стены дома жёлтой автоэмалью было с чувством, размашисто выведено:

Бердяй — скупердяй!!!

— Так же, как не могут стереть память. Или отключить её тайной кнопкой. Вот и живут с ней годы, как с железным осколком в теле. Который ворочается. И вызывает боль до умопомрачения. Я замолчал.

Её шаг чуть сбился. Но после короткой паузы *она* решила закончить свою мысль.

— Если представить судьбу, как какую-то шахту или подземный ход, по которому без выбора приходится идти, то остаётся только ждать и надеяться, что где-то в её закоулках и переходах окажется та самая дверь...

— С нарисованным очагом бумажным...

— За которой... Ну вот, съехидничал и сбил с мысли! У тебя дома есть лимонад?

Это была наша первая встреча, которую нельзя назвать *первой*. Никто не считает, когда ты первый раз заснул или вздохнул. Возможно, и то, и другое вовсю происходило с весельчаком-эмбрионом в утробе. И, наверное, *не встреча*. Спроси ребёнка — он скажет: встреча — это когда люди были врозь и вдруг оказались вместе. А у нас не было ни врозь, ни вдруг, ни вместе... Как на фотобумаге, опущенной в прояви-

тель, проступает и обозначается нечто, доселе невидимое, но имевшее место быть задолго до чудесного явления. Никто не знает, где начало и конец нашего с ней сосуществования.

Это было наше знакомство, которое нельзя назвать *знакомством*. Знакомство — это когда ты *начинаешь* кого-то «знать». Мы ничего не хотели знать друг о друге, потому, что более того, что мы *уже знали*, знать было бесполезно и даже вредно.

По крайней мере, таково было тонкое, неприметное, но ясное ощущение, подтверждаемое буднями.

Одноподъездный дом, в котором я несколько лет назад скупил весь второй (и последний!) этаж, располагался в старом городе — не люблю я эти «спальные» районы, равно как и элитные скворечники с консьержками, витающим духом показухи и поспешающим за ней многооком взором зависти. На этаже жило пять семей в малюстенных комнатках на общую кухню. Одна из семей — я. Сначала съехали приличные Васильевы (эти единственные занимали поистине огромную залу). И дом оглох: канарейка, наглый кот, четверо детей, отрок-племянник и трое взрослых разом свернули балаган. Я тут же выкупил залу. Осталась бабушка Настасья, инвалид-алкоголик Тимофеич и Ирина Львовна, одинокая учительница физики и астрономии. Бабушку Настасью перевезли к себе дети, а комнатку продали мне. Алкоголик Тимофеич скончался с похмелья — мне удалось оформить жильё на себя. Ирина Львовна, легко меня соблазнявшая от тоски, так и не смогла обратить импульсивный секс в надёжный, привычный, стабильный брак. Со мной. И вскоре вышла замуж за молоденького учителя истории. Молодожёны, было, перебрались к Ирине Львовне. Но приехала мама — условия жизни в «затхлой клопоморильне» не способствовали, по мнению свекрови, созданию молодой семьи — и ...добавила сыну и снохе денег на покупку отдельной однокомнатной квартиры. А комната Ирины Львовны стала последним моим приобретением. Как ни странно, сделки обошлись для моего кошелька очень гуманно.

Я снёс почти все стены, оставил лишь несущие. И (о чудо!) обнаружил колонны! Ремонт встал также не обременительно. Что-то «своими руками», где-то из подручных или «левых» материалов — получилась довольно стильная и комфортная хибара. Простор, уют и функциональность — три кита моего обитания в ближайшей экосфере.

Так и живу *один* в своём дворце. Я не жалею ни себе, ни, тем более, другим, хотя особо сильно и не радуюсь. Почему-то. И всё же своё одиночество люблю. Продуманное и организованное. Одиночество возможностей и свободы выбора. Насыщенное. В нём всему отмерено ровно столько, сколько необходимо мне для жизненного баланса и гармонии: Арке, делу, лошадям, душе наедине с собою, компаньону с шашлыками и баней, женщинам с нежностью и ласками, путешествиям, телевизору, рок-музыке и другим важным мелочам. Правда, у иных

в моём возрасте есть дети (как, например, у моего компаньона, который, с одной стороны, обожает своего сына, с другой — брезгует его вещами, полотенцем, постелью, навязчиво преследуемый его якобы сильным запахом), и они, возможно, уже озадачивают отцов оплатой за вузы или свадебными хлопотами, но эта мысль посещает меня крайне редко и не вызывает в душе ни малейшего резонанса, как невзрачный прохожий, с которым разминулся на улице.

И всё бы хорошо, но... Этих «но» несколько. И я догадываюсь, что все они являются следствием разных причин, и как всегда должна быть главная.

Мелюзгой мы для игры в «салки» (по другому — «пятнашки») придумали правило: когда сил убежать *по-настоящему* уже нет, а тот, кто догоняет, совсем близко, можно сказать «чик-чик (что означало звук ключа закрываемой двери), я в домике!» и сложить из ладошек над головой крышу. «Засалить» тебя уже никто не мог, не имел права. Даже если прикоснётся, а не считается!

Любой домик в детстве давал чувство защищённости. И познания новых тайн, сотворение тайн. Сотворение чего-то особенного своего и как бы навсегда. Малышня обожает строить всякие шалаши и укрытия, домики, прятаться в пещерках и других укромных местах. Выроют в огромном сугробе берлогу или сложат из кусков фанеры и обломков мебели постройку, и готовы сидеть там, играя во взрослых, до той поры, пока мать с ремнём не придёт. Или набегаются с распростертыми для мира объятиями, а спать — у стенки. В «домик»!..

Им очень нужны «взрослые» домики, домики, как у родителей.

Но на самом деле они беззаботны, открыты и непосредственны, потому что у каждого из них, по крайней мере, у большинства, есть свой *домик* внутри. Что это — мечта, вера, незнание жизни, доброта и забота родителей — не имеет значения! Главное, что есть свой *внутренний* домик.

А ты сегодня вроде бы в «домике» (квартира, заработки, жизненный опыт, умения и ещё крепкие мускулы), а как на ладони! И хочется пуще прежнего отгородиться от мира зеркальными стёклами, заборами до небес или вообще уехать... Вот у меня есть теперь хорошая большая квартира, но «домика» внутри — нет. А очень хочется. До того хочется, что как-то на работе в офисе навалился на меня народ со своими бумажками, прорухами и делами первостепенной важности, а у меня на «личном фронте» и без того заторов хватало, что я возьми и сложи над головой руки крышей и ляпни: «Баста! Чик-чик! Я в домике!». Сотрудники, по-видимому, приняли мою выходку за шутку, мол, шеф сильно занят, пока не беспокоить. Или свихнулся, что без разницы. А я влетел в свой кабинет, подскочил к зеркалу и повторил обряд с заклинанием — ничего хорошего, никаких светлых изменений в душе... Только смешок над самим собой. И усталость, которая тут же опустошающе заняла место, отведённое для внутреннего «домика».

Вот мой компаньон — в «домике». Это я про дело. Если у него разрушить бизнес, он погорюет и примется восстанавливать. Если же попробовать отнять — биться будет насмерть. И, видимо, умрёт, коли происки врагов окажутся успешными. Без «внутреннего домика» человек или скитается неприкаянно, или погибает. Для компаньона бизнес не суть деньги. Это для него *дело жизни*. Сама жизнь. Оно греет его и радует. А проблемы он решает не как ПРОБЛЕМЫ, когда ты мрачнее тучи и озадачен, а как ребусы: азартно, виртуозно, с лёгкостью и самоотдачей. И всё, чем оброс бизнес: положением в кругах элиты города, теми же деньгами, некоторыми материальными благами и возможностями — тоже часть архитектуры и интерьера его «домика». И мой компаньон вполне заслужил себе именно такой «домик», прыгнув, нет, поднявшись из грязи в князи, из детства, почти лишённого «внутреннего домика», где в подпалённой пожаром квартире с десяток лет родители-пропойцы заливались вином и водкой, дрались, когда от голода ты пробуешь на зуб яичную скорлупу или тянешь в рот дохлого таракана вместо хлебной крошки... Впрочем был и у него свой «внутренний домик»: дружба с цепным псом. Он убегал от побоев в собачью будку. Пёс не подпускал к нему никого, за что бывал бит палками. А мальчишка лечил собаку, как мог (мочу на раны или зелёнку — пёс терпит, смотрит жалобно и благодарно); треть, а то и половину картофелины, сваренной в мундире, если принесёт соседка сердобольная — лохматому другу, и разговоры задушевные — он всё понимает, только говорит тихо. И мечта — убежать в Африку. И убежали-таки... Побег — сам факт его — счастьем оказался трепетным и безмерным. А уж куда привёл, отдельная история. Об этом мне компаньон рассказал *там*, в нашей очень схожей юности.

Мне кажется, отчасти я знаю ответ на вопрос, где искать мне свой «внутренний домик», и, возможно или обязательно, я его себе когда-нибудь произнесу. А пока — считаю те самые «но», равнодушно копаюсь в них или просто принимаю, не задумываясь, хотя ведаю про них всё до дынышка...

Порой заваливается ко мне незванным гостем чувство *вины*. Тупое и знобкое, оно сковывает холодом мозги и мышцы. Будто растворяет в теле капилляры, прожилки, внутренние органы... Я убеждаю себя (уж лучше симптом психбольного!), что пикетирует меня чувство вины *вообще*, не «персонифицированное», так сказать, что истоки его не в явных моих поступках и грехах, а по природе своей от усталости ожидания и невроза. Но и это объяснение не приносит облегчения. Тревожное, оно изматывает, подталкивает к странным решениям и поступкам. Я устал от него, а его визиты делаются всё более частыми и продолжительными. В какой-то момент становится вдруг так страшно, что хочется прожить жизнь за секунду и стать старым — седым, морщинистым, немощным и жалким. А между делом неявно ищешь покаяния и исповеди, такой,

чтобы словно всё сначала, чтобы каждая клеточка мучилась и плакала... И оттягиваешь, будто на этом свете и рассказать-то о боли своей некому. Вот и маешься: ни душу облегчить толком, ни плюнуть на всё с высокой колокольни... Может быть, поэтому я неосознанно боюсь своего почтового ящика? Боюсь до такой степени, что, когда прохожу мимо, опускаю глаза, а в душе мне хочется быстро поздороваться с ним и улизнуть до того, как он окликнет меня, а взгляд мой обожжётся о его ледяные выпученные белки... И, как ни странно, не поэтому ли я берегу своё одиночество? Может быть, я просто боюсь себя среди людей?

Но (и это для меня стержень, это для меня всё!), прожитые годы убедили меня в том, что я — голотурия. Трепанг. *Stichopus Japonicus*. Не в смысле «наличия» полезных аминокислот и ферментов, по спектру и концентрации соперничающих лишь с корнем дикого женьшеня, а в смысле выживаемости в мире зубастых хищников и эволюционно-бытовых угроз-опасностей. Знание это — почти как вера в Бога (понять и, собственно, сравнить я смог лишь поздней осенью этого года): панацейная воссоздаваемость, а значит — неуязвимость, а значит — никого не боишься, (разве что за близких), всё побоку!

А ещё во мне живёт что-то *вроде любви*, очень отдалённо напоминающее это слово-состояние. Такое далёкое, как последний аккорд эха или почти растворившийся в небе, разнесённый ветром инверсионный след от самолёта — белёсая дымка в чужом и закраинном. Впрочем, «отдалённо», может быть, оттого, что я усердно сдерживал и прятал в данном случае вполне «персонифицированное» чувство?

— Я ищу гобелен с оленями, — сказала *она* (разулась, прошла в ванную, вымыла руки, промокнула их полотенцем, переместилась в зал, утонула с ногами в дальнем углу огромного дивана и уставилась в окно — ни разу не огляделась, ни разу не задумалась, куда идти, ориентируясь в незнакомом пространстве, словно по генной лоции, как осётр, который возвращается на нерест в места своего рождения). — Давно ищу. Хочу купить.

Я знаю, что *она* искала.

* * *

Он был потешный. Ухарский кураж, замешанный на мальчишеской наивности, распирал его каждую минуту. Неровные зубы, нижние. Тонкий, но большой нос, выдающийся клювом, непременно — гордой, птицы. Вихры, которые он старательно — это было заметно, но безуспешно приглаживал. Станный немного. Всегда в костюме и галстук, почти всегда в шляпе. В его-то семнадцать-восемнадцать! Похожий на американского гангстера из кино о 50-х–60-х. Одно слово, пижон.

Я тащил его за собой. Иногда он плёлся послушно, как кандалный, иногда вдруг резко упирался и дёргался в сторону, словно строптивый молодой жеребец. После очередной попытки бегства я посмотрел на

него удавом. Да, он уже готов был закричать, напав на меня, или заплакать от ярости, которая захлебнулась собственной мощью.

Мимо, замедлив шаг у витрины магазина, проходила женщина. Её вел по миру большой живот. В ней, несмотря на отвлечённость и занятость мимолётным, чувствовалось трепетное ожидание ребёнка. Свободный лёгкий балахон в крупных цветах, развеянных на розовом нежной пастелью, был кокетливо коротким. Но ей шло. Очертания её лица остановились и пришли на память. Вдруг она повернула голову, заметила нас, бегло, но цепко оглядела: глаза её в удивлении расширились, а улыбка застыла, не раскрывшись. Она тоже узнала меня. Я готов был рассмеяться — весёленькую сценку мы играли! — но лишь подмигнул ей, чтобы успокоить. Это была продавщица из табачного киоска. Я представил, как ещё больше, ещё изящнее вытянулась в прыжке чёрная пантера, и чему-то улыбнулся. А через секунду вновь занырнул в воды импровизированного спектакля.

Я привёл его к Арке. И посадил на доску рядом с собой. На нижнем выступе забора. Моя доска всегда лежит на выступе у забора.

— Отпусти меня, — немного просительно, немного с вызовом сказал он.

— Почему ты не хныкал и не просил, чтобы я отпустил тебя, по дороге?

— Ты меня отпустишь?

— А ты не сбежишь сразу?

— Я не дурак. Чего мне бежать?!

Я разжал пальцы. Он тут же отбежал в сторону.

— Я не дурак. Ты дурак! — крикнул он весело.

— Почему ты разговариваешь со мной «на ты»?

— Само собой получилось. Я уже привык.

— Не воруй, — крикнул я ему вслед.

Он отбежал уже далеко и перешёл на шаг, не оглядываясь. И вдруг обернулся: положил одну руку на локоть другой, которую, сжав кулак, энергично согнул. И подкрепил любимый народный жест негромко и сухо:

— Твой кошелёк ещё будет моим.

Я заметил его сразу. Просто выделил, вычленил из уличного скопления людей, как если бы они оказались блёклым изображением плоской картинки, а он — объёмной и яркой фигурой. Порой случается, что ты вдруг отмечаешь из сотен мелькающих лиц одно и почему-то принимаешь в считанные секунды, будто срабатывает секретный опознавательный код «свой-чужой». А если потом ты неожиданно мимоходом сталкиваешься с этим человеком, почему-то хочется ему улыбнуться, поздороваться с ним доверительным «привет», будто накануне вечером вы отлично провели время и расстались ненадолго, и даже можешь поймав себя на том, что ты вот уже и по-приятельски кивнул ему...

Неудивительно, что впервые он *случайно* появился именно на *моей* улице, скорее, удивляло то, что обычно пустынная улочка вдруг исполнилась массой народа (как выяснилось, из-за ремонтно-строительных работ перекрыли соседнюю). Позже, мотаясь по делам или гуляя по городу, я несколько раз замечал его в разное время в самых неожиданных местах. Но он, кажется, не узнавал меня. Хотя моё лицо, по идее, тоже должно было бы ему «примелькаться».

И вот пришло «сегодня»... Не знаю, как отнестись к своему открытию. С одной стороны, на меня разом нахлынули мелодичная тонкая грусть, какая-то до слёз саднящая боль, обида — горькая, глубоко личная. С другой — пробудился и взбудоражил дикий хмельной азарт, какого я не испытывал с незапамятных времён. Если я хоть раз сказал, что ничего в этой жизни не боюсь, я нагло врал: я до смерти боюсь этого своего азарта. Когда он охватывает меня, то волей моей становится всепоглощающая воля азарта. Она поедает разум, вытесняет прочие чувства, принципы и даже какие-то черты характера. Жутко. И упоительно сладко. Ты собираешься в комок. Начинаешь чутко, обострённо воспринимать действительность всей своей сущностью, каждой клеточкой, нервом *нацеленный*, как взгляд хищного зверя, который издалека уже вцепился в свою добычу глазами, слюной, пластикой мышц, желудком... *нацеленный* одержать верх. А азарт нужен, чтобы помпывать кровь и нашёптывать, растравливая: кто — кого...

Сегодня воскресенье и я возвращался из конюшни около четырёх часов дня — самое время купить чего-нибудь вкусненького к ужину. «У Антона» — такое исключительно «маркетинговое» название имел магазинчик. Он находился в двух шагах от моего прежнего дома (мне хотелось побыть у Арки), но я не очень любил отовариваться в нём: маленький, тесный, всегда толчея, и люди вынужденно посягают на твоё личное пространство и, ещё хуже, — на тебя самое. Но выбора у меня не было — супермаркет проскочил, а в холодильнике, кроме холода, ничегошеньки.

Я припарковал машину и вошёл в узкий коридорчик, который служил залом. И опять здесь прилипли друг к другу покупатели в очереди, а их подпирала те посетители, кто хотел ознакомиться с содержимым витрин и ценами.

Меня передёрнуло от накотившего раздражения. Выпустив ноздрями струю воздуха, сопровождаемую стоном сквозь стиснутые зубы, я, было, собрался ретироваться, как вошедшие сзади потеснили меня, вовлекая в кучу-малу. Какой там сопротивляться?!

И вдруг что-то заставило меня насторожиться — есть у меня такое особенное чутьё, я спиной чую: мозг вмах срисовывает ситуацию, а волны воздуха уже доносят затаённое напряжение, спина же улавливает и воспроизводит в сознании движения стоящего сзади. Практически, безошибочно. Мой внутренний метроном отсчитывал секунды — пора. Я

чуть высвободил руку и неуловимым, но молниеносным движением ухватил щипача за запястье. А ведь он уже держал мой кошелёк наполовину высунутым из кармана! Я почувствовал, как вор обронил его обратно.

Цепко держа карманника за руку, я не оборачивался. Он попытался высвободиться из моих клещей, но сдался. Молчание головокружительной пропасти, зазывное, утягивающее, исполненное ужаса било мне в затылок. Но главное не в испуге, не в страхе — он растерялся: я не поднял шума, не кричал, не лез с кулаками в драку! Я не оборачивался.

Я представлял, что с ним сейчас творится!.. Он ничего не понимает, от этого ещё больше паникует и бесится. И главное — наработанные схемы поведения, а такие модели на различные случаи поимки во время кражи у воров существуют, не подходят! И он не знает, что ему делать, хоть ссысь! Игра в кошки мышки... Кошка тоже отворачивает мордочку, делая вид, что потеряла всякий интерес к жертве, и даже может чуть прибрать коготки, но мышь уже обречена.

Мой затылок смотрел на него и надсмехался: что будешь делать?

Тут он вновь завозился сзади, уже более откровенно дёрнул свою руку. Меня обдало глухим и нервным шепотом:

— Отпусти же!

Это было интересно. Из сонма мельчайших деталей выходило, что вор был молод, возможно, талантлив, но неопытен. Я не поторопился выполнить просьбу. Передо мной выскользнула из очереди, если так можно сказать о дебелой женщине с прошлым баскетболистки, особа с двумя сумками, и я устремился к прилавку. Конечно же, не выпустив руки пойманного.

— Говорите, — измученная продавщица, милая и совсем молодая девушка, оттопырив губу, дунула вдоль лица, пытаясь потоком воздуха убрать с глаз выпавшую из-под чепца прядь золотистых волос.

— Как она тебе, — спросил я вора, чуть придвинув к нему затылок. — Чудо...

Лицо девушки было беленьким, что не смогло скрыть румянец, проступивший от быстрой работы. Она по-детски нетерпеливо смотрела на меня голубыми, очень домашними глазами в опушках светлых, почти пшеничных ресниц, а розовые, невероятно живые губы, даже сжатые, оставались слегка припухлыми.

— Тебе что надо?! — сдавленно зашипел вор. — Ну, поймал и поймал! Что комедию ломать? Или вежи, куда надо, или отпускай!

— А мне она понравилась, — сказал я довольно и подпустил в голос разочарования. — Ты, оказывается, и в женщинах ничего не понимаешь...

— Мужчина, что Вам? Людям тоже покупать надо, — у неё не получилось строго, вышло как-то нежно, хотя бровки она сдвинула, как положено.

— Скажите, девушка, у Вас филе форели не размораживалось? — пока она что-то отвечала, я спросил карманника: — Ты любишь форель

в гранатовом маринаде? Со спаржей, тушёной в черносливе, это просто объедение! Или тебе по вкусу чечевица обыкновенная?

Вор выругался и, обречённо расслабив тело, тяжело вздохнул.

Честно признаться, я не знаю такого блюда: ни упомянутого рецепта приготовления форели, ни гарнира, болтал наобум — какая разница? Я пока ещё сам не представлял, что именно я от него хотел. Если бы он вдруг вырвался и побежал, я вряд ли бы пустился в погоню.

— Мне форель, девушка. И подсолнечное масло. Ещё один лимон не забудьте.

Пока продавщица ушла за товаром, я опять отклонил назад голову и негромко сказал:

— Расплачиваться надо. Кошелёк достанешь или слабо?

Он замер и напрягся. Я потянул его руку к своему карману, где покоился бумажник. Он упёрся. Крепче сдавив запястье и сделав большее усилие, я медленно, но уверенно подтянул руку вора к карману.

— Ну? Доставай! Уже продавец идёт!

— Кретин, — прохрипел он и его пальцы, нырнув в карман, ловко извлекли кошелёк.

— Ого! — воскликнул я. — У тебя получилось!

— Придурок, — огрызнулся он. — Ну, ты и придурок. Кончай мудить...

Девушка назвала сумму. Я увлёк вперёд руку вора с добычей в пальцах, да так и представил её взору продавщицы. Та изумилась. А я, плохой актер, извинившись, свободной рукой поудобнее вложил в ладонь карманника бумажник, бросил через спину «держи крепче», медленно растегнул, достал деньги и положил на прилавок.

Казалось, она никогда не выйдет из ступора, что было бы крайне огорчительно. Пришлось бы вызывать сказочного принца, чтобы он нежным поцелуем вдохнул в принцессу новую жизнь. Эх, как бы оказаться на его месте?! Обомлевшая девушка перевела взгляд от странного сплетенья рук за мою спину. И я обернулся. И чуть не разжал пальцы.

* * *

Конские губы очень мягкие и нежные. Тёплые. Чувствительные и, как ни странным казалось в детстве, легко управляемые. Это я о том, что, когда ты подносишь к морде кусочек хлебушка или сахара на ладошке, то она вся превращается в трясущееся ожидание случайной боли. Ведь ты знаешь: за этими трепетными губами — большие жёсткие зубы. Однако лакомства всегда исчезали с руки неожиданно нежно, оставляя на ней щёкотное тепло.

Дядька Левков с небритыми буграми подбородка только выглядел сердитым и опасным. Молчун. Глаза прищурены, а левый — и вовсе, кажется, закрыт. Из бокового кармана современного солдатского кителя, выцветшего и штопаного, без погон, петлиц и шевронов, всегда, как

пароль для резидента, торчала свёрнутая газета. Голову дядьки венчала засаленная фуражка и никто не помнит, чтобы Левков снимал её когда-либо, даже если на дворе стояла тридцатиградусная жара. И кнут в его руках, и сильные окрики, потухшая папироса, приклеенная к левому углу рта (она не отрывалась у него даже при разговоре! мы пробовали по очереди — ни у кого не получилось! срывается!) — белогвардейский бандит, беляк недобитый, да и только. Да, мы, дети времени — воспитанные на зажигательных «Неуловимых мстителях», наученные государством подозрительности (пока лишь, слава Богу, только в играх!), скорой классовой оценке и делению людей на «наших» и «не наших», по-детски записали Дядьку Левкова во враги, не испытывая к нему ни капелюшечки злобы или ненависти. Мы верили в игру, а не в политику. Да и на дворе стояли сонные семидесятые... Он равнодушно восседал на фуфайке, брошенной на доску, в своей телеге, в которой вместо пулемета («Максим»-то, конечно же, был замаскирован под неизменной копёнкой сена!) обычно громоздились три фляги. Грязные, в жирных подтёках, они воняли прокисшими столовскими помоями. За ними и приезжал каждый день после полудня Дядька Левков.

Его лицо не выражало эмоций ни тогда, когда он вскрикивал на нас, ни в редкие случаи, когда улыбался. Бывает, столкнёшься с незнакомым человеком на улице, а он вдруг тебе улыбнётся — ты тотчас невольно ответишь ему тем же, словно отражение в зеркале. Разгадать и принять за улыбку «улыбку» Левкова было невозможно, потому что это была не более чем прорезь в картоне, секунду назад — одна, через мгновение — просто другая прорезь, чуть шире и ремхастее. И вообще мне кажется, что он жил как бы по привычке, размеренно выполняя обязательный список ежедневных дел, в котором не имелось места настроению, какому бы то ни было.

Завидев издаലെка телегу, мы бросали свои дела и бежали к ней. Но нужен нам был, естественно, не беляк Левков и не его телега (когда разгадали, что осторожный хитрец перепрыгнул пулемёт — больше некуда — в сарай со своими свиньями, мы потеряли к нему всякий интерес). Нужны нам были лошади. Их у него было две. И приезжал он то на коричнево-бронзовой кобыле Ярке, то на Сером. Конь Серый на самом деле выглядел, скорее, серебристо-белым, а серо-голубые кругляши лишь плясали по его спине и, будто гольфы до колен, прилипли к ногам.

Толпу, сразу окружавшую лошадей, Дядька Левков отгонял, намахиваясь кнутом. Мы отбегали недалеко и тут же обступали снова, стараясь украдкой потрогать тёплый дышащий бок. При прикосновении этот огромный бок вздрагивал, подёргивался мелкой рябью, как водяная гладь от бега вспугнутой водомерки. На все мольбы прокатить нас или дать покормить коня беляк Левков ворчал и грозился. Но ему рано или поздно приходилось тащить свои фляги за отходами и обратно.

Тут-то и наступало наше время, если он не просил работников столовой присмотреть за лошадьми.

Ярка не очень любила, когда мы ей досаждали настойчивыми любезностями. Потерпит чуток — начнёт пофыркивать. Потом всхрапнёт раз-другой, отворачивая морду, и выставит жёлтые длинные зубы. А уж когда переминается с ноги на ногу станет да семенить, насколько привязь позволяет, — лучше отстать и прочь: не то лягнёт.

Конь Серый принимал нас за своих. Травы пук сорвёшь — подберёт в охотку, огрызок яблока — не откажется, захрустит. Главное — гладить себя давал. Лишь чихнёт с брызгами, когда во влажную ноздрю случайно пальчиком попадёшь. Но и лишнего не позволял. Пожалел тогда Бердйя о том, что замахнулся веткой на Серого. Если Ярка пятилась, когда одолевала кобылу, то Серый *на тебя* грудью целил. Становилось страшно. За его доброту и мужскую силу, за настоящий характер уважали его пацаны.

Мне кажется, что у нас с Серым сложились особенно доверительные отношения. Он поводил большим глазом, будто искал среди лиц окруживших его мальчишек моё. Находил и теплел взгляд коня, поволокой покрывался на миг. Серый кивал головой, тянулся ко мне мордой, открывая в широкой улыбке страшноватые костяшки. Кого не разопрёт от гордости, что конь узнаёт и выделяет тебя из всех как старого приятеля?!

Однажды Дядька Левков приехал как обычно, в своё время, но что-то было не так. Кое-как выкарабкался из телеги, а фляги пустые осилить не может, морщится, кряхтит. Чуть не заплакал. Мы с Петькой Немцем — тут как тут. Выяснилось: нога болит, зашиб. А я возьми и скажи: «Помочь, дядька? А прокатайшь?!».

Нет, фляги мы таскать не собирались, побежали в столовую за вёдрами с вонючими остатками. Ручка ведра скользко-липкая, жирная. А внутри — разноцветная жижа вперемежку с гущей. Странное было ощущение: посмотришь — воротит, но тут же взгляд сам по себе втягивается в эту жуткую смесь и внимательно изучает, скользит по поверхности, вторя её рисунку и рельефу: в желтоватом гороховом бульоне хоровают молочные разводы, подкрашенные красно-рыжей подливкой; между длинными полумёртвыми червями лапши копошатся личинки риса; тут же сало рыхлыми кусками, сопливые комья каши, коричневые вспухшие сухофрукты, напоминающие говно... Всё это плещется, норочит через край. Противно до судорог. Но дружба с Серым — важнее. За неё и поработать можно. И потерпеть. И, как выяснилось, пострадать: ведро стукнулось о ногу и плюнуло на неё помоями. Жижа поползла по ноге, оставляя след, захлюпала в сандалии, обволокла скользким пальцы. Я с силой на ходу зажмурил глаза и прибавил шаг. А когда открыл, то увидел — Дядька Левков беззвучно смеялся. Но вскипевшую во мне обиду и злость укротил его тихий заботливый голос:

— Поди сюда, малец. Шас поправим тебя, как новый будешь.

Он взял в горсть сена, приказал разуться и обтёр мне ногу. Запах скошенной травы, мягкое её прикосновение и ощущение чистоты совсем вернули мне настроение. Мы с Петькой сели по разные стороны Дядьки Левкова, счастливые. И целых три квартала путешествовали по улице в уютной телеге под предводительством Серого.

Мой Серый, а я купил внешне похожего коня, просто обожает меня. Как, впрочем, и я его. Жаль, на конюшне мне выпадает бывать не каждый день. Он стоит в частной конюшне, хозяином которой является родственник моего компаньона. Я плачу за уход и корма, и стараюсь попасть туда хотя бы раза три-четыре в неделю.

Мы с Серым очень разные: в отличие от меня, он любопытен и видит сны. Молодой ещё. Он до такой степени открытый и чуткий, что с ним я честен и откровенен, как не бываю с самим собой. Иногда мне кажется, что он есть внутри меня. Возможно, это звучит смешно, но я чувствую его прозрачно заполнившим меня своей грацией, пластикой, напряжением, игрой мышц и мехами лёгких, которые вздуваются и сокращаются. И даже иногда — своим взглядом из меня на окружающий мир.

Мечта сбывается тогда, когда становится потребностью. Когда то, о чём ты грезил в фантазиях, начинает жить в сердце, наполнять и сопровождать твою жизнь незримым почти материальным, почти физическим присутствием. К исполнению мечты надо быть *готовым*.

Долгое время я покупал книжки про лошадей и зачитывался ими, на моих полках появлялись пластмассовые, керамические, оловянные скакуны, а стены и торец шкафа завешивались вырезками и плакатами с изображениями животных. Затем наступил час, когда меня принесло на ипподром. Посмотрев бега, я набрался смелости и отправился в конюшню. И, о чудо, мне с лёгкостью разрешили приходить и ухаживать. Выпало заботиться о старой кобыле Жанне, которая уже не участвовала в соревнованиях, но почему-то не была продана. Несмотря на свой преклонный возраст, она любила беззлобно подсмеяться над людьми, придумывая разные розыгрыши: то шапку с головы снимет, то ведро с водой опрокинет и встанет, как ни в чём не бывало или снова будет требовать пить, то сзади украдкой в ухо дыхнёт, то больной притворится. Только бы посмеяться да побольше внимания получить. Зная об особенностях нрава, на кобылу никто не обижался, а новички-сотрудники обязательно проходили шутовское испытание через происки юмористки Жанны. Но неопытному седоку она всегда и с охотой помогала и многому могла научить.

Потом на несколько лет события отлучили меня от лошадей (и не только от них), но и на новом месте спустя годы я стал конюхом. Это меня поддержало, вернуло интерес хоть к какой-то жизни. Увы, ненадолго: гнедой мерин дед Фиц, полное имя Фитцжеральд, как-то беспричинно заболел и издох, а новую лошадь покупать не стали.

Своего коня я купил не сразу. Уже и деньги были, и знания, и навыки, а решиться всё никак не мог: наверное, легче ребёнка или «мерседес» завести. Ведь важно не иметь и кататься. Найти конюшню, бывать с конём часто, выбрать человека, который будет ухаживать за ним и не испортит животное, не сломает — мало ли..? А самому — это главное, как я сейчас знаю — научиться понимать лошадь. Чувствовать. Слышать.

Я никогда не задумывался о понятии «идеальное», хотя много раз слышал и сам произносил это слово. Лошадь — это абсолютное идеальное. Совершенное идеальное. Речь не столько о форме и содержании — тут, как говорится, «без комментариев». Цельность замысла и воплощения вкупе с биоэкосоциальной целью лошадей в видовой палитре живых существ на планете (загнул так загнул!) — вот в чём загадка их уникальной особенности. И разгадка катастрофически близка: если посмотреть на человека — самого неестественного, несовершенного и разрушительного представителя живого мира, — то становится понятен исторический союз лошади и людей...

Наконец, пришло время, когда мне показали жеребца-шестилетку Серого. Многие советовали приобрести мерина, но я готов дружить только с настоящим мужчиной. Конь уже был многому обучен (заезжен «под верх», знал работу в манеже и на открытой местности, «в поле», умел прыгать) и хорошо воспитан. А как сложен! Такого хоть в упряжь, хоть под седло. Настоящий русский рысак. Длинноногий, с высоким задом. Линия лебединой шеи изящна. Глаза внимательны. А сам — ждёт знака, внешне чуть затаённо, а в душе — с готовностью. Подружишься — вернее товарища не найти.

Серый не увлечение. Мой конь — это действительно часть меня, лучшая часть. Моя живинка, трепещущий уголёк существования. Как когда-то голуби для компаньона. Это отдельная грустная история.

В начале девяностых, когда наш бизнес сделал стартовый виток в гору, мы купили свои первые «иномарки». Сначала — «бэ-у». Ах, как нужно было их натирать до блеска, носиться под «сотню кэмэ» по городу, выходить из машины важно и чуть небрежно, куда бы ни подъехал! Стали хорошо одеваться, ремонтировали квартиры и обставляли их новой мебелью, бытовой техникой на все случаи жизни. Здорово было. Ощущение властелина мира — всё могу, имею, что хочу. Ух, как мне нужен был этот бизнес, эта фирма, *приходы* на работу, звонки и планы, рождаемые в горении и авантюризме!.. Что-то внутри меня нуждалось в бизнесе как таковом, а не только в деньгах, которые он приносил. Чтобы вставить в разговоре с приятелем где-то на людях, чуть усмиряя гордость напускным равнодушием: «У меня дело своё. Фирма». И добавить деловито: «Извини. Побежал. *Некогда*», талантливо, как *все в те годы*, изображая занятость и тогда, когда свободная минута зывала к безделью. Собственный бизнес соотносил меня с эпохой, с нашим

временем и доказывал мне, что я живу. И в первые несколько лет под кромку наполнил меня, едва ли не оттеснив на второй план Арку, моё ожидание и движение навстречу возвращению, маленькую мечту... Я дорожил делом и работал с упоением, хоть крылья подрезай. А уж как радовался, когда получалось, «выстреливало»...

Через несколько лет компаньон затеял строительство загородного дома (а я задумал купить коня, хоть и осуществится моя задумка много позже). Дом проектировался обстоятельно, с учётом всех последующих жизненных подъёмов и роста. Именно тогда компаньон продал своих голубей.

Жил он в то время в «сталинке» на Безымянке. Там же во дворах возле футбольного поля и гаражей важничала его голубятня. Ещё не женатый, всё своё свободное время компаньон проводил с птицами: кормил-поил, лечил по необходимости, выпускал со свистом в небо, обменивался с другими голубятниками или прикупал новых особей. Самым интересным для меня была охота на чужака, который вдруг отбил от своих и оказался поблизости. Компаньон тут же поднимал стаю и напряжённо вглядывался в небо. Шептал с дымом: «Давай, давай, ну, милые, шире круг... Берите правее!». Как правило, чужак входил в стаю и садился вместе со всеми голубями на шест. Далее его связывали или подрезали крылья, чтобы привык к новому месту и хозяину. Если, конечно, прежний владелец за это время не появлялся за потерянной собственностью. Голубятники отлично знали друг друга, выводывали, у кого какая птица, соперничали. Увлечение это нередко было сопряжено с воровством, когда взламывали голубятни и выгребали их подчистую — жестокая месть, как одно из неписаных правил, ждала обидчика. И, если заставляли вора с поличным, могли просто-напросто убить. Я помню один такой случай.

Будучи среди птиц, компаньон заметно менялся. Прямо-таки молодец на десяток годков, раскрывался в искренности выражения чувств и в то же время набирался степенности, мудрел, что ли. Сдержанная доброта появлялась в глазах, голосе и слова, и дела выходили заботливыми, даже нежными. Отступала в нём жёсткость, натянутая струна слабела. И он словно парил, кружил с ними в свободном беззаботном полёте. По крайней мере, именно это отражалось в его просветлевшем взоре.

Мы часто пили пиво у голубятни. Пока он не почистит у птиц, пока не накормит их, не осмотрит, все ли здоровы, к кругу не подойдёт. Из голубятни, не смолкая, невнятно доносится его голос — разговаривает с любимцами. Потом выпустит с посвистом да прихлопом — прикроет глаза от солнца рукой, прищурится, глядя в выси, и замрёт, словно забудется. Так, будто нити невидимые к стае протянет. Или тело своё оставит на земле, а сам парит в голубой небыли, парит... Докурит, наблюдая, сигарету, вот тогда и придёт к нам.

Я не очень хорошо разбираюсь в голубях. Не знаю, чем одна порода отличается от другой. Помню только, что встречались чудные и дикие птицы: у каких ноги мохнатые, у каких зоб огромный (вроде как «дутьшами» он их величал), у каких хвост веером, белые, красные, пегие и полёт разный у всех, как почерк у человека. Компаньон мог часами рассказывать о них или показывать их полёт. Он брал одного голубя или пару и запускал только их: «Вот смотри, сейчас зависнет и начнёт падать и кувыркаться... А эти совсем другие... Изящные, нежные и литые, как чайка... и окрас, и крыло, видишь, как лежит, а в небе...».

Когда он познакомится с Лидой, своей будущей женой, ему уже будет под тридцать. Я всё беспокоился, как он станет делить любимое увлечение с любимой женщиной. Но, как оказалось, переживал зря. По первости Лидуха, так называл её компаньон, вроде как с удовольствием пропадала с нами у голубятни.

Лидка была — найти бы верное сравнение — красива «по-шлюшьи»: чересчур яркий макияж, излишне броский цвет волос, которые она перекрашивала едва ли не каждую неделю. Большой рот, влажные игривые губы. Без наклеенных ресниц её рыже-зелёные глаза становились своими в доску, обыденно-верными, но, стоило ей посидеть перед зеркалом, они наполнялись флиртовым соком и наивной медленностью. Она присаживалась рядом на корточки с тем подчёркнутым целомудрием, которое невольно вызывало желание. Или вдруг запросто, как среди подруг, подтягивала непременно узорчатые колготки, чуть подмяв хитрющую до невероятности мини-юбку. Именно из-за дюже приметной внешности выбрал Лидуху изголодавшийся компаньон по возвращении — не женщину искал он, но самку, не чувств, но воплощения скудных представлений о них: какая-то ОНА должна быть где-то рядом всегда, как-то заботиться о нём и проявлять ненавязчивое внимание. Впрочем, Лидка будет счастлива, а компаньон, не знающий этого слова в принципе, останется довольным.

В ту пору Лиде уже стукнуло двадцать пять. И она, в прошлом, как и сам компаньон, детдомовская, всерьёз боялась, как я понял из её оговорок, остаться в старых девах. Сопротивлялась угрозе изо всех сил. А если добавить к тому некоторую неразвитость вкуса, то вызывающая внешность женщины вполне объяснима. Мне приходилось видеть её без косметики на лице — не красавица. Но и не страхолюдина. И, честно сказать, в её естественном облике было что-то притягательное.

Сейчас это совсем другая женщина — себя прежнюю она старательно вытравила напрочь, за что ей можно было бы поставить памятник Самосовершенствования. Стильная леди, владелица художественной галереи обрела чувство меры, раскопала в себе изюминку и прятать не стала, огранила манеры и привычки. И я не знаю, какой она мне нравится больше...

Лидке пришлось по душе быть чьей-то женой, хоть и «гражданской». Она окунулась в роль с головой и не переигрывала. И безоговорочно приняла компаньона таким, каким он был: с пугающим наследием прошлого, силой и жёсткостью, мужским царствованием в доме. И голубями.

Когда же растаяла медовая сладость первых лет совместной жизни, часть из которых протекала в уже законном браке, фундамент отношений, как полагается, просел. Само здание сохранилось без трещин, но штукатурка кое-где отлетела.

Лидка оказалась самой нормальной ненормальной бабой. В чём-то пустоватой, в чём-то мудрой и по-бабьи хитрой. Выходя в люди, она всё ещё обильно мазалась тушью, помадой, тенями, пудрой и блёстками и выглядела фривольной, доступной, однако оставалась исключительно преданной мужу. Более того, наверное, загрызла бы любого ухажёра как личного врага компаньона. Она любила чувствовать его любовь и вызывала её разными способами, в том числе и домашней стервозностью: то пилит его, то своевольничает нахраписто. Но ровно столько, сколько он сам ей позволит. До первого кинжального взгляда. А потом принимается реветь. И жаловаться (только мне! Ни одна из подруг, кроме восторгов «он самый, самый...» ни разу не услышала от неё о муже ничего иного). Или спрячется, как дитя малое. Или купит новые запонки и за праздничным ужином, который сама приготовит, с нежностью подарит в романтической обстановке.

Но шло время, жизнь набирала лоска и глянцевого, появлялись новые знакомые, важные или нужные люди, в будни стала входить некая этикетность. Тут и возник разговор о голубях. Лидуха взбунтовалась. Компаньон, если б захотел да взъерепенился, быстро нашёл бы доводы, чтобы успокоить жену. Но, видимо, не захотел. Мне же он сказал: «Сам видишь, времени нет, работа-стройка-работа... Да и несолидно как-то».

Я не понял его. Мне стало обидно. Это смахивало на предательство. Уж пару часов компаньон выгрыз бы у суток по-любому — плешивая «солидность» виновно маячила над бытованием семейной пары. В голове не укладывалось, как можно расстаться с любимым увлечением (не-ет! с самим собой!) — а компаньон обожал и жизни не мыслил без голубей — ради чьих-то взглядов или слов! Это было на него не похоже, однако случилось именно с ним.

Либо я совсем не знал его, либо — жизнь.

* * *

У нас с ним разные кабинеты. Компаньон вихрем влетел ко мне с распечаткой электронной почты и, выдыхая междометия, стал трясти ею перед моим носом. Я сразу догадался, в чём дело. И одновременно удивился: мой компаньон не заядлый футбольный болельщик, не

фанат рок-звезды, не волны в шторм, не лимонно-жёлтый, чуть приправленный краплением и овеванный вздохами ультрамарина, которые, в свою очередь, взвинчены цинковыми белилами. Это кусок гранита, а не человек. И вот, пожалуйста...

— Барон подписал договор о поставках! Пока один. На сносях — ещё три!!! Более того — мы открываем представительство! Европа — наша!

Мы занимаемся поставками медицинского оборудования. Это не «быстрые» деньги. Это упорный труд, связанный с разъездами, встречами, выставками и нервным временем, непролазная чаща страждущих чиновников и думы «на хрена козе баян». До той поры, пока не поднимешься. Дальше — чуть легче. До сих пор мы поставляли технику с Запада. Причём, понятно, что не в один наш регион. Вплоть до столицы нашей Родины. И прочно заняли свою нишу. Тут как-то так обнаружилось, что у нас в стране иногда делаются уникальнейшие образцы медоборудования, а заводы не в умении найти покупателя. Вот мы и решились: а пусть они друг друга найдут, покупатели и продавцы. С нашей доброй помощью. Из-за внушительных объёмов, нашей репутации на рынке и долгого сотрудничества производители давали нам приличные скидки, так что на выходе наш товар мог оказаться едва ли не дешевле, чем у самого изготовителя.

— А уж когда мы туда приедем!.. — продолжал он. — Смазывай лыжи, компаньон!

Нет, я, конечно, был рад. Очень рад. И не мог понять, почему не вскакиваю с места, не ору, не вижу перед глазами хрустящие «евро»...

А компаньон, он уже разливал по рюмкам коньяк, не унимался:

— Мы — супер! Мы — лучшие! Мы это сделали.

Я или нудный, или что-то точит меня. Да, я знаю людей. Знаю жизнь. Очень хорошо знаю жизнь. Но ничего в ней не понимаю. Не задумываясь в принципе о философском прочтении её поворотов, знаковых событий и символичности мелочей, воспринимая искусственные понятия «смысл» и, особенно, «след» в жизни не ярче весенних сосулек, а по большому счёту, именно *так, с таким мироощущением* жить мне казалось не только легче, но и правильно, в какой-то момент я тревожно ощутил милую бесполезность для самого себя в первую очередь, а следом тревожно — диссонанс собственного пребывания на земле. Вот так угрюмо-высокопарно! Просто вдруг понял, что я живу и вроде бы не живу. К чему мне прогулки по старому городу, сидения у Арки, мой Серый, моя работа, которая пёрла вверх семимильными шагами? Она мне зачем? Зачем любовь к моей цыганке? И этот самый вшивый диссонанс слышался в некоторой моей растерянности, которая наступила вроде бы без видимых причин: в бизнесе дела идут отлично, квартиру имею вполне пристойную, с потенцией и женщинами всё в порядке, на увлечения — путешествия и лошадей — времени хватает... Что же ещё нужно? Я состоялся и у меня было *всё*.

Всё, что в умозрительном представлении считается общепринятым идеалом полного благополучия. И так жил и чувствовал мой компаньон. И так думали наши партнёры и клиенты. И их жёны, сёстры и братья. И уж, тем более, как ни странно, дети.

Дети... Дети, по-моему, вообще сошли с ума! Они обезумели от слова «богатство». Я видел как-то в магазине такую сценку: малыш, которому мама не купила игрушку, потому что у неё не хватило денег, разрыдался и закричал, потрясая кулачками: «Ты бедная! Я ненавижу тебя! Вы с папой — бедные! Мне противно! Я, когда стану богатым, тоже ничего вам не куплю...».

Их лишили детства. Лишили культом гламурного богатства. Этот нольнольдин столичный процент, обсосанный до глянца избытком денег, и телевидение, которое за эти самые деньги усердно его облизывало. Лоск и неписанный устав гламура не предусматривают место душе и вечным ценностям — этому иммунитету, который веками спасал человечество от вырождения. Эпидемия шествовала в провинцию, где в некоем ущербном, пародийном виде поразила ещё меньший процент. Однако заноз в мозги навтыкалось бесчисленное множество. В том числе, и в детские. Дети остались бы без детства совсем, если бы не были детьми — а кто лучше умеет быть самим собой, забывать, мечтать, принимать?! Как-то я пришёл в гости к Петьке Немцу (вообще-то их семья была молдаванами и они говорили дома, перебегая с русского на родной). Мать тут же усадила меня за стол — они собирались обедать. Женщина была искренна — ребёнка не проведёшь. Да, она, конечно, застеснялась. Она сказала: «Сядь с нами. Будешь щи? Деревенские, без мяса. Вы, наверное, с мясом дома едите?». У них отец инвалид был. Очень весёлый и компанейский мужик. Свой. Когда сдох мой пулемёт, он что-то таинственно запаял и тот ожил! И мы с удовольствием тащили ему насовсем старые приёмники, платы из приборов с сонмом деталей, если те попадались в закромах Улицы. А щи оказались безумно вкусными. Просто обалденно! Я ел и по-детски просто и скупно выразил своё восхищение. Да. Петька по-тихому просил: а кто бы удержался?! И мать его улыбнулась, предложила добавки. Я другого не могу понять: если бы щи оказались невкусными (ведь без мяса!), я что, должен был возненавидеть Петьку и всю его молдавскую семью?! Кстати сказать, может быть, у Петьки и не было деревянного конструктора, из которого получается всё на свете и даже крепость военная старинная, не было и пулемёта (такого ни у кого во дворе не было!), который жужжит, а в диске и на конце ствола светятся, мигая, красные лампочки. Но у него, как у всех, были почтовые марки. В нормальных классерах. А аквариум с рыбками у него появился раньше, чем у меня. Да, я спекулировал этим, выпрашивая аквариум у родителей. Но... Да дураку понятно, что никаких «но» не было. Петька *был* в нашей троице вне зависимости от щей или пулемёта. Мысли иной не могло возникнуть!

Его мать — лучшая и самая добрая мать, как моя или мать Шавкета со своими лепёшками, в которые мудро вклеены во множестве кусочки баранины (их надо было отрывать руками, тогда в разумной доле в рот попадали и мясо, и хлебушек), и из которых я всю дорогу выщипывал букашек и муравьев, когда на самом деле это были специи. Как они всей семьёй надо мной по-доброму хохотали! Нормальные лепёшки. Нормальная добрая мать! Самые нормальные пацаны, весёлые и верные. Уж их *там* точно не было.

Успешность и гламур — дикие, бездарные новые слова, мерка системы ценностей — водили за нос целую нацию. Уводили, как сказочный Нильс, под звуки волшебной дудочки, пленительная мелодия которой — шелест купюр и досужее мнение. Ага, уводили, словно тех самых, что и обидно-то... И не интересно — «куда?» «От чего?..» — понять во сто крат нужнее. Впрочем, каждому — своё. Кому-то храмы строить или аэропланы, кому-то — реки вспять поворачивать, кому-то марку для коллекции найти недостающую, даже если на это вся жизнь и уйдёт, а кому-то...

Впрочем, Европа так Европа.

* * *

...и лампа не горит, и врут календари. И если ты давно хотела что-то мне сказать, то говори...

Всю дорогу в аэропорт я волновался. Не сказать, чтобы очень сильно, но всё же. Она была корнями из мажарских цыган. Богатая семья, отец — бизнесмен и политик. Она — молодая, потрясающая женщина. Необыкновенно красивая, умная и своенравная. Я до сих пор спорю с собой, что из перечисленных достоинств располагается на первом месте.

Мы познакомились в Италии, на море. Она была с родителями. Точнее — с отцом. И с женихом.

Никогда она не носила одежду, сочетающих в себе чёрный, жёлтый, алый и зелёный одновременно. Но связывалась в моём сознании именно с этой цветовой гаммой. И тогда, в Италии, и позже, в Венгрии, я дарил ей букет из двадцати одной розы: десять жёлтых, десять чёрных и одну алую. Принимая цветы, она начинала смеяться (могла, завидев меня прежде, чем я подойду к ней, даже при разговоре с кем-либо посторонним, залиться своим открытым смехом, не тем, который является выводом, а тем, который читает). И мне это нравилось.

По счастливому стечению обстоятельств, частью устроенных мной и компаньоном, частью подаренных нам провидением, у нас с отцом моей цыганки состоялись деловые переговоры. Настолько удачные, что барон пригласил «отличных русских бизнесменов» провести денёк-другой на вилле, которую арендовало благородное семейство. Мой компаньон, сославшись на занятость, вернулся на родину, а я остался и был представлен дочери. И, конечно же, жениху.

Но до того как мы познакомились, я сидел и тихо истекал счастьем. Контракт оказался настолько значительным и серьёзным, что нарисовалась перспектива в следующем году открыть европейское представительство. Я люблю свои улочки, Арку и Серого, однако возможность начисто сменить обстановку и пожить некоторое время в Европе меня просто-таки подняла на крыльях какой-то не взрослой радости — я буквально парил с нескрываемой ошалелой улыбкой и про себя повизгивал с восторгом чада, заполучившего долгожданную забаву. Да так, что думал я не о том, какую гору работы придётся своротить, а, собственно, наслаждался предвкушением перемены мест и аурой Старого Света.

Итак, я остался. И не ласковый средиземноморский климат, не русское желание через бутылку укрепить деловые связи и знакомство с новым выгодным партнёром заставили меня задержаться на чужбине. Просто мельком увидел мою цыганку. Увидел и тут же невидимые корни или якоря пустил в пространство.

Мы сидели с бароном и компаньоном в просторной зале, четыре огромных окна которой выходили на террасу. Там за ивовым столиком томился, вяло листая газету, молодой человек. К нему с подносом в руках подошла девушка, стройная и очень красивая. Из-за её причёски (смоляные волосы идеально стекали от ровного пробора к затылку, стянутые ленточкой в тугий узел) и синего в мелкий белый горошек платья я решил, что она горничная. Но девушка, расставив коктейли со льдом, села напротив него. И тут наши взгляды встретились.

Ни любопытства, ни кокетства, ни каких-либо других читаемых проявлений не мелькнуло в её коротком взоре. Большие яркие глаза на долю секунды сосредоточенно обволокли меня влажной чайной глубиной, изнутри подсвеченной золотистым лучом, и, как по ступеням, от предмета к предмету, ушли в неведомое.

Барон (я всегда говорил, что моя цыганка — не дочь своего отца!), поблёскивая лысиной, словно подавая мне знаки вернуться к разговору, тем временем подписал бумаги. Я пожал его крепкую руку, а он, вцепившись в мою, потащил меня на террасу знакомить с дочерью и её женихом. Но вмешался компаньон, сказав, что опаздывает на самолёт, и мы направились к другому выходу из залы. Я ловил спиной её взгляд и не чувствовал его. Мне так сильно хотелось обернуться и посмотреть на неё, что я остановился возле открытого бара и бесцеремонно схватился за стакан с бурбоном.

— О, да! — воскликнул барон. — Русский традиций!

Я воровато выглядывал из-под руки — она не смотрела на меня. Казалось бы, что с того: ни обязательств, ни намёков на них, ни расположения и симпатии с её стороны, ни даже знакомства пока ещё не состоялось, однако, почему-то мне стало вызывающе обидно.

Её жених был, наверное, не глуп и уж точно богат. Высокий молодой блондин с внешностью шведа и мимикой известного актёра, возможно,

любил мою цыганку. Но человеком был несколько рассеянным, поэтому и о проявлениях своей любви незатейливо забывал. Как-то не очень складно, как две неподходящих детали конструктора, выглядела эта пара. Они никак не сливались в моём воображении в нечто цельное, хотя почти не разлучались.

Пригласить меня барон пригласил, а сам через пару часов блеснул полированной головой в почтенном кивке и был таков. Когда мы остались втроем, я вдруг ощутил, как накалился воздух вокруг: чуть искры — рванёт космическим взрывом. Но, видимо, так чувствовал только я. Жених был погружён в себя, изредка красноречиво поводя глазами или руками, чтобы предложить, например, коктейль или сообщить о жаре, как будто в метре от него источал холод Северный полюс. А моя цыганка — теперь я мог рассмотреть её поближе — меня и вовсе не замечала. Нет, если приносила прохладительные напитки, то три, бутербродов и тарталеток тоже оказывалось для каждого. Она несуетливо, но как-то внезапно незаметно исчезала и появлялась. В очередной раз она возникла в белоснежном шёлковом халате, через плечо перекинута розовое махровое полотенце. Ещё два аккуратно сложенных, зеленоватое и голубое, раздала нам и пошла к бассейну. Жених равнодушно глянул на полотенце и устался в газету. Не думаю, что языковой барьер мог быть препятствием для элементарной любезности.

Мы сидели за белым столом на зелёной лужайке в тени не очень большого зонта. Пока тень от него скользила вокруг стола, жених регулярно передвигал свой стул следом. Я оставался на жаре и поэтому, и не только поэтому, решил воспользоваться предложением хозяйки. Пока я размышлял о том, где и как будет удобно раздеться, моя цыганка очаровательно скинула халат на траву и с ходу нырнула в лазурную гладь. Я успел увидеть белый раздельный купальник на загорелой восхитительной фигуре — моё воображение помутилось и идиотским нервическим шёпотом сообщило мне из района паха, что она в нижнем белье.

Наконец я направился к бассейну, на ходу расстёгивая рубашу. Моя цыганка уже пересекла бассейн и возвращалась — её силуэт причудливо менял формы в преломлении волны. Сбросив брюки, я не сразу кинулся в воду — оставил на берегу рельеф своих мышц и некоторую волосатость. На долю секунды. Мысли мои были уже там, в бирюзовой прохладе, рядом с моей цыганкой: вот так подплыву нечаянно близко, нечаянно коснусь тёплой кожи, нечаянно встречу с ней глазами, пофыркивая в сторону; она улыбнётся нежно и буквально оттуда, из воды, пошлёт своего жениха подальше, и как объявит мне, что хочет меня прямо здесь и сейчас, и чуть позже, и вечером, и перед сном, и на ранней заре, и после полудня, и на пососок у порога... Купальник, против затаённого ожидания, оказался непрозрачным, что немного отрезвило меня и очеловечило. Она вышла из воды — я не уловил на её лице даже полуулыбки. Сдержанность и рассудочность, собранность в движениях,

не скованность, а пластичная собранность были языком её души. Для меня. Что он означал? Я видел её глаза, наши взгляды пересекались, но чего-то не происходило, что, я уверен, должно было бы происходить.

В то время как я плескался в одиночестве, жених и моя цыганка пропали из-за стола. Я успел выйти и немного обсохнуть, предаваясь блаженному созерцанию побережья и усадьбы, что отвлекало от пристального взгляда в собственную всполошившуюся душу. Я разделился надвое. Одно существо обливалось потом совести от незадачливости и нескладности положения и уже почти бежало за билетами на самолёт, второе — дурачки приросло к креслу и настырно баловалось сигарами жениха.

Они вышли в ослепительно белых теннисных костюмах с ракетками в руках. Корт располагался за бассейном чуть ниже, ближе к морю. Эта короткая нимфеточная плиссированная юбочка, белая облегающая тенниска, эта ленточка с козырьком, из-под которой уже развевались, оказывается, выющиеся волосы, этот лёгкий, но уверенный шаг литых бронзовых ног — наверное, я буду любоваться кадрами романтического клипа до самой смерти и, на больничной койке чуя запах солнца, моря, зелёного газона и её духов, витающих в воздухе вкусом загаданного поцелуя.

Она протянула мне целлофановый пакет и жестом-штрихом чиркнула меня с головы до ног. Жених вдруг оттаял: красноречиво всеми частями лица показал, что они идут играть в теннис, потряс в воздухе ракеткой и тронулся в сторону корта. Моя цыганка указала на пакет и так близко от меня прошла следом за женихом, что я почувствовал её всем телом, дрогнувшими ресницами. Её тепло, запах, возмущённая упругая волна воздуха между нами... Её очерченные губы, плавный изгиб скулы, кончик уха с искренней детской мочкой, ниспадающая нежностью и женственностью шея, играющие краешки ключиц с ямочками за ними, родинка в истоке ворота поочередно пропечатывались на сердце с каждым его ударом, заставляя биться быстрее и быстрее.

Однако форма мне не пригодилась — я не умею играть в теннис. А они играли долго и упоённо, перебрасывались фразами, подзадоривали друг друга. Финн или швед владел ракеткой весьма сносно и немного подыгрывал, поддавался очаровательной сопернице. Я изредка помахивал им рукой, когда мне казалось, что кто-то из игроков обращал на меня внимание. Но ответа не следовало, потому что они, а как же иначе, были целиком заняты собой. Напряжение нарастало. Казалось, сам воздух вокруг воинственно игнорировал меня, напирал со всех сторон бездонным молчанием, намереваясь вытеснить из себя. И я всерьёз задумался об отъезде.

Я не силился понять, что высиживал на этой вилле с чужими людьми — просто мне почему-то никак не уходилось.

Они закончили играть и сразу направились к дому. Жених зашагал по дорожке, которая петляла вокруг фонтанчиков и цветочных клумб,

а моя цыганка — прямоком по газону. Дорожка, как бы того ни хотел молодой человек, привела его к столику. Проходя мимо меня, он бурно изобразил мытьё под проливным душем и откашлялся, глянув в спину убегающей девушки. Будто издевался надо мной, строя рожи. А мне захотелось смыть с себя душные противоречия и мимические усмешки нового знакомого, которые облепили тело и вызывали неприятные подрагивания на коже и в мышцах. Когда они скрылись за дверями, я снял трусы, чтобы после купания не сохнуть долго, а в случае надобности быстро одеться: не по мне обезьянничать мокрым задом. Нырнул. Вода приняла освежающей прохладой. Погрузился на дно и старался удержаться — как бы не всплыть кверху бледным двудольным поплавком, а главное — чтобы ни о чём не думать хоть какое-то время: я уже жалел, что остался.

Около пятнадцати минут я всласть плескался в прохладной воде, может быть, чуть больше. И не думал, что такая женщина принимает душ за столь короткое время. Словом, она стояла на крае бассейна и сверху смотрела на меня. Я прилип под водой к стене и зажмурился, якобы от солнца или попавшей в глаза воды. Логично было бы смачно высморкаться — тогда она бы точно отвернулась. Но ведь я этого не сделал. Поэтому холкой чувствовал, как дамочка возвышается надо мной всевидящим оком сарказма и презрения. Открыв глаза, по тени на воде я понял, что подоспел и общительный норвежец, то есть жених. Естественно, я помахал ему рукой и улыбнулся так выразительно, как если бы разговаривал с ним на одном мимическом языке. Он по-детски непосредственно испугался и ретировался. Я посмотрел на неё — она упорно оставалась на месте, а в глазах леди едва брезжил вопрос, очевидно, уместный. За её спиной снова робко вырос говорливый датчанин и очень доступно объяснил, что они отправляются перекусить в кафе и будут безумно рады, если я составлю им компанию. И что потом они поедут в гольф-клуб, а он уверен, что в гольф я играю гораздо лучше, чем в теннис! Я не умею играть в гольф...

Зато вполне вразумительно говорю по-английски. К удивлению ваярга. Впрочем, чему тут удивляться: я же не проронил ни слова, кроме, пожалуй, сенькс.

Немой говорун хитро, с умыслом, как мне невольно подумалось, предложил гольф, зная, что это не президентский вид спорта в нашей стране. Взамен я хотел, было, вызвать его на спор: выпить из горла бутылку водки, а потом забраться по выступам в стене дома на второй этаж, но милосердно пожалел прошедшего безжизненную школу рафинада-жениха.

Она смотрела на меня. Скандинав протянул мне руку. Что было глупее: остаться в воде барельефом, когда двое в ожидании таращат на тебя глаза, или... Сами напросились — я выбрал «или». И принял руку помощи. Выпорхнул ловко из воды, посмотрел поочерёдно в глаза ка-

ждому, улыбаясь уголками губ, и прошёл между ними уверенно — мол, дело привычное.

Северянин обомлел и присвистнул. Тут же похлопал меня по плечу, но так, будто подбадривал сам себя. На лице моей цыганки не дрогнул ни один мускул. Однако в непроницаемых, но говорящих глазах, которые она так и не отвела от моей особы, словно воды сошлись над ушедшим ко дну камнем.

Я неспешно обтёрся полотенцем и одевался, напевно матерясь под мелодию «Солнечного круга». А потом нервически перешёл на давнишнюю из «блатняка»: «Она была красючка центровая, и тра-та-та-та со скоком скокорей. И восемь лет, законная блатная, — никто не мог назвать её своей. Но как-то раз на хате стог сметаны, Какой-то чёрт с жиганом воевал, и две...»

Они уже сидели за столиком, моя цыганка не смотрела на меня. Жених, видимо, нервничал и барабанил ухоженными ноготками по столу. Они о чём-то спорили, тихо переговариваясь.

Тень моя всё ещё колыхалась на водной глади бассейна, словно не желая расставаться с приятной свежестью. Или в тайном предчувствии старалась держать тело на привязи, дабы уберечь от грозящей дурной случайности. Тут зазвонил телефон, знакомый голос торопился, напоённый энергией:

— Я к тебе сейчас приеду. Ты где?

Гуня возникал на просторах моего мира непредсказуемо и крайне редко — раз в полгода-год — и всегда возмущал его необъяснимыми завихрениями и воронками, в которые попадали мои мысли и побуждения. И тогда те уносились из плоскости привычного, принимая причудливые формы. И иногда настолько ярко видоизменялись, что задумаешься, а твоё ли? Или отдалялись до бесконечности: ни разглядеть, ни угадать — оставались странное опустошение, беспричинная, на первый взгляд, тяжесть. И жалость. Но жалость всегда находила дорогу к какому-то свечению, конечно же, связанному с образом Гуни, и сама постепенно становилась прозрачной и светлой. Или превращалась во взрыв энергии, вызывающий у меня кипучую деятельность. И тогда Гуня преспокойно выпадал из моей памяти. До следующей встречи.

— Приезжай, я в Италии. Шутка. По поводу «приезжай». Я, в самом деле, там. То есть, тут. Что-то срочное?

— Не срочнее срочного. Но повидаться надо бы. Короче, я запел.

— В смысле? — Я не оторопел, не ошарашился, знал: придут объяснения и, хоть на свои места ровным счётом ничего не встанет, некоторая ясность, как включённый свет в комнате подвергшейся погрому, обнаружит положение вещей.

— Запел, понимаешь.

Сказано это было ровно, без эмоциональной встряски, но слышалось как новость о том, что в земной коре образовался огромный раз-

лом и в него угодила Луна, а творцом события является он, Гуня. На самом деле он просто информировал меня, взывал к моему участию и делился тихой радостью.

— Не совсем. Не совсем понимаю.

— Ну... Сейчас, погоди... — послышались гортанные звуки и откашливание, но вдруг снова раздался голос. — Не знаю, по телефону, наверное, непонятно будет, уникамы не почувствуешь. Драйва. Ладно, сейчас попробую.

— Гуня, — я опередил его. — Я буду дома или сегодня вечером, или завтра утром. И перезвоню. По телефону, точно, всё трещит, связь никакая... Давай, до дому.

Перед глазами стоял облик Гуни и в нём — вся его престранная жизнь. Вроде бы, всего-то: смотришь на лицо, а видишь и угловатое тело, видишь одновременно, но отчётливо и мелкий, корявый, как птичьи следы на снегу, почерк, и стопку из пяти белых кирпичей, на которые сверху капает тёмно-алая кровь и которые до бессмысленности вытянули его пальцы, и ночную аварию, и дух загадочных исчезновений, свойственных разве что существам из параллельного мира или другого измерения; слышишь его рваную речь, каждое слово из сотен разговоров, смех, округлявшийся под небом и резонирующий в носовых перегородках, и молву о нём, пёструю до скуки и внутримышечно-го желания броситься в спортзал.

Я почувствовал: звонок Гуни, который не случайно прорвался сквозь забытые время и пространство, отрезвил меня. Напомнил мне о моём городе, об улочках, Арке и Сером... Словно бы я вдруг лбом стукнулся о стену воспоминаний и картинки того, что творится сейчас, потеряли всякий смысл, цвет, звук, запахи, привлекательность, показались жалкими и убогими, как слабое бесталанное кино, как реальность, которая перестала быть реальностью, потому что её готовили к приезду президента... Вновь проснулась решимость скорее покинуть поместье, даже в том случае, если в расписании рейсов на Родину уже не будет.

Решимость крепла с каждой застёгиваемой пуговицей, наполняла меня гордостью и самоуважением. Но, когда я наклонился, чтобы завязать шнурки на ботинках, мир накренился. Здешний усадебный пейзаж: белый дом с колоннами, небо над ним линияло-голубое, прилипшее к крыше и кое-как перебинтованный тропинками зелёный газон, и моя цыганка со столом и напитками на нём, и её ухажер — всё встало перпендикулярно. И чувствовало себя при этом комфортно. Не случилось обвала, не раздался грохот, не раскроил воздух треск обрушения, не послышалось воплей отчаяния моей цыганки, её мольбы о помощи. Да, она не взывала ко мне. Мир перевернулся, а продолжал изображать, что существует в прежнем виде. Это было изменой. Изменой здешнего мира, который сначала убаюкал меня, затем раззадорил, подтолкнул в нелепое положение и вдруг надумал отвернуться хитрым, подлень-

ким способом, спрятаться под маской невинного наваждения или даже помешательства. А за предательство получают заточку в бочину! И я подумал, что звонок Гуни, звонок Гуниной жизни (все его взгляды на что-либо и деяния, сам Гуня всегда имели второй и третий, возможно, — отрицающий первый, планы прочтения!), так вот этот звонок мне сказал совершенно о другом. На поверхности, да, о Сером...

Расправившись со шнурками, я выпрямился. А мир сделал вид, что принял обычное положение. Ну-ну... Ещё соточку бурбона и тогда мы посмотрим, кто кого. Вдруг викинг поднялся и устремился в сторону дома. А я, под пристальным взглядом моей цыганки, к её некоторому изумлению, прошёл мимо, к выходу из усадьбы. Она не окликнула меня, не бросилась догонять, что меня, с одной стороны, удивило, с другой — обрадовало.

У меня родился план. Станный и — даже дикий! И мне удалось его осуществить: через сорок минут я вернулся. Верхом на великолепном коне. И с огромной корзиной роз. Цыганка — я это отчётливо заметил — привстала от неожиданности со своего места. Жениха нигде не было видно.

Я вполне продуманный и основательный человек. Однако иногда совершаю безрассудные поступки. Но очень выверенные и для дела. А тут — полное мальчишество!

Не слезая с коня, чуть пригарцовывая, я опустил у ног моей цыганки корзину с цветами и... То ли укусил кто-то животное, то ли испугался арабца, но вдруг всхрапнул, поднялся на дыбы. Заржал неистово, перебирая ногами. Я натянул поводья и глянул на девушку — она уже была на безопасном расстоянии. Конь опустился на землю, при этом зацепил крупом стол — раздался хруст, две ножки стола подкосились. Стаканы и тарелки съехали, как саночки с горы, со звоном хрястнули оземь. Животное, видимо, вновь испугавшись пронзительного грохота, на мгновение присело или вздрогнуло и бросилось прочь. Я почти мгновенно остановил коня и обернулся: на краешке белоснежного стола, ушедшего в траву, и груде битой посуды красовалась зелёно-коричневая кучка свежего навоза.

Вместо меня сконфузился выбежавший из дома жених. А она — рассмехалась. Как она умеет. Жених отчаянно взмахнул рукой и исчез с глаз долой. Я же отправился к воротам, где меня поджидал хозяин жеребца — издевательская невозмутимость его смуглого лица вызывающе требовала оплеухи.

Когда я вернулся, прислуга убирала последние следы разрушения. Я прошествовал к дому — бурбон, конечно, куда хуже водки, но и он бы принёс мне спасительное утешение. Мы столкнулись в дверях. Так внезапно и так близко она вновь оказалась рядом, что я тронул её за руку.

— Леди... — робко начал я.

Она вдруг шумно вздохнула.

— Наконец-то, — по-русски перебила она меня, взяв моё лицо в трепещущие ладони, и горячо прильнула к моим губам.

Затем, схватив меня за руку, стремительно потащила за собой куда-то на второй этаж. Дважды мы останавливались и бросались неистово целоваться. И каждый раз, переводя дух, она приговаривала со вкусом лёгким акцентом, нежно пробегая пальцами по моим губам:

— Сумасшедший русский... Я знала, что ты будешь ко мне нагло приставать.

Теперь-то уж я могу вспоминать итальянские приключения, приирая и с иронией. А тогда у меня для этого просто не было головы. И нестати — жених моей цыганки оказался англичанином. Что ровным счётом не имеет ни малейшего значения.

...и врут календари.

Корзина с цветами стоит у моих ног, а я всё не поверю никак, что моя цыганка не прилетела. Или всерьёз вмешался отец — я ему никогда не нравился в качестве зятя, или случилось нечто из ряда вон выходящее. Конечно, я расстроился. Я был уверен, что увижу её, будто она дожидалась меня в прихожей.

В моём воображении рисовалось, как мы ходим по городу — я с гордостью показываю ей самые интересные места (Арку, Волгу и набережную, «вертолётную площадку», вид с которой затмит любые пейзажи планеты, кроме того места, где Сок впадает в Волгу), как она с восхищением снимает виды на фото- и видеокамеры, целует меня с восторгом, будто не кто иной, а именно я создал всё это великолепие по случаю её приезда; как обедаем в кафе — я сам заказываю ей блюда и напитки, зная пристрастия моей цыганки и радуя её тем, что помню о них; ужинаем дома (и это главный сюрприз, ведь мне ещё ни разу не удалось поразить её своими кулинарными достижениями, а готовлю я хорошо, даже отменно); и, конечно же, как нас настигает дымное безумство страсти, жадное — не напиться, не надышаться...

Привет! Мы будем счастливы теперь и навсегда...

Мы не видимся месяцами и находимся на расстоянии размером с родные места и привязанности, дела, списки планов на будущее, ежедневность и, в конце концов, странные собственные жизни. И всё же любим друг друга. Без обязательств и признаний. С глубинной, как тайные океанические течения, умопомрачительной тягой друг к другу. Почти без писем и звонков. С редкими воспоминаниями, дымной и талой болью на доньшке сердца. И почему-то ничего не меняем.

Я такой, какой есть: не умею любить пылко и романтично. А умею, как умею: если не хмуро и холодно, то скрытно, уж точно. Даже от самого себя. Мой компаньон — мы иногда по пьяни можем заговорить об этом — тот вообще не впускает любовь в сердце: боится ненужных со-

трясений, траты времени, перемен в устоявшемся. Я же в любви боюсь совсем другого...

Тем не менее, давняя привычка скрывать свои чувства от самого себя и та не спасла меня от стыда за свою *вроде любовь*. Уж больно она у меня какая-то слегка примороженная, что ли. Пребывающая в состоянии между бодрствованием и спячкой. И есть парализующие ощущения, что я сам её усыпляю — боюсь, что она стряхнёт дрему и, как обезумевший «шатун», пойдёт ломать чашу привычного, крушить всё на свете, и меня самого разорвёт, как случайное препятствие на пути. Боюсь и люблю. И хочу любить.

На площади полки. Темно в конце строки. И в телефонной трубке хоть и много лет спустя одни гудки...

Да, я испытал опустошающее потрясение: сквозь стены аэровокзала вдруг отчётливо увидел, что моя цыганка не прилетела на *том* самолёте и не спускается в толпе пассажиров по трапу. Чувство потери пронеслось по мне от кончиков волос на голове до мозоли на стопе мириадами мелких молний, холодных и колючих. На душе сделалось горько и холодно. Я пошевелил пальцами ног, будто этим действием мог изменить ход истории. Оставалось лишь принять случившееся, что я научился делать вполне профессионально. В августе я поеду в Лихтенштейн, затем в Париж — моя цыганка обязательно туда придет.

Как это странно, проживать не самоё жизнь, а интуицию, которая растянулась во времени и пространстве. Проще, если она выражается в смутных ощущениях. Сложнее, когда приходит чёткое *знание*. Как, например, курица — это курица, а переехавший её автобус — это автобус, но не петух, переборщивший с топтанием. Наверное, есть люди, которые просто живут: просыпаются по будильнику или с восходом солнца, завтракают, далее — работа, дом; ругался ли с начальником, вылечил ли ребёнка, посмотрел ли футбол, напился ли на свадьбе, всё одно — только *хорошо* или *плохо*, ведь завтра будет *завтра*. То есть — надежда всегда сопутствует не знающим. А когда ты всё знаешь наперёд, какая тут, к чёрту, надежда?! Не успел помечтать или спланировать, как на тебе: узнаёшь ниоткуда, зря мозги потревожил. Планы рождаются в мозгу где-то перед глазами, интуитивные знания возникают откуда-то из глубины. Интуитивные загадывания и предвосхищения, хорошие ли, плохие ли, заменяют собой сами события. Потому что, когда последние приходят, ты уже прожил их со всем подобающим эмоциональным сопровождением. Успокаивает то, что остаются между ними разного рода ситуации, мимолётные, как тень птицы, или продолжительные, схожие по характеру с работой асфальтоукладчика, но значащие в нашей жизни иногда едва ли не более, чем судьбоносные повороты. Совсем другое дело — своенравная глупость человеческая, подкормленная амбициями, чаяниями, жаждой остренького, пренебрегающая интуицией: тогда либо тратишься впустую, либо расхлёбываешь горестные последствия...

И вдруг... Я как будто застал себя на месте преступления: я к чему-то прислушивался. И уже знал: *она теперь* появится в людском потоке, который волной вынесет её, как сосуд с пергаменом, на фьордовый берег моего ожидания; мы молча сядем в машину и поедем ко мне. Значит моя цыганка не прилетела далеко не случайно.

Боже, как я затосковал!..

Простая истина: пока любишь одну женщину — никакую другую не хочешь. Но *она* — не была *другой женщиной*, соперницей моей цыганке. Отношения с каждой из них — как две параллельные жизни, которые по определению никогда не должны пересечься, соприкоснуться, с различным развитием событий и собственной реальностью. И очевидность эту было бы наивно и поспешно оспаривать морально-бытовым видением.

Она заметила меня и отвернулась с полуулыбкой. Потом опустила глаза, скользнула взглядом по корзине с цветами, стоящей у моих ног, и остановилась.

— Привет, — сказала *она*, едва заметно подставляя щеку для поцелуя.

— Привет, — откликнулся я, взяв из *её* рук походную сумку и коснувшись губами кончика уха и шеи.

Я уловил *тёплый запах*, который, слившись с ощущениями, оставшимися от прикосновения на губах, убежал куда-то внутрь тела, оставляя за собой вспенившуюся волну, как моторная лодка на речной глади. И я на сотую долю постиг мистическую женскую тайну. А, как известно, частичка малого знания пробуждает большой интерес к постижению целого.

Возможно, я нечаянно устроил сюрприз. Представляю, как всполошилась служба безопасности аэропорта, обнаружив бесхозную корзину с цветами. Если её, конечно, не прихватил какой-нибудь особо хозый тип.

За окном справа открылся мой любимый пейзаж — мы как раз скользили по нитке моста, протянувшегося через реку Сок. Здесь широкий Сок впадает в ещё более широкую Волгу — две огромные водяные массы сливаются тихо и величественно. Как два вселенских тела, теряющих оболочку при проникновении друг в друга. Мифическое сочетание простора, животворящей мощной воды, с нависающими тёмной громадой Жигулёвскими горами, которые не только не ограничивают пространство, а напротив — переводят его из плоскости в космическую объёмность, вызывало где-то внутри первобытный трепет. И там же, внутри, начинал звучать священный обрядовый рассказ, как могучее откровение и поучение — не словами, а образной кажимостью, втягивая твоё сознание, саму сущность в действо сотворения этого зашифрованного, но открытого для меня мифа.

Мне показалось, что *она* чувствует нечто схожее — так потаённо всматривалась в загадочные дали. Я понял, что мне это приятно. Я всегда знал: нас объединяет гораздо больше, чем мы об этом знаем.

Дома, побросав не распакованные сумки, мы сразу кинулись делать ужин. Голод обуревал какой-то необыкновенно художественный, как детально прописанная картина маслом. Спроси меня, что именно хочется съесть, перечислил бы с десяток блюд с сотнями оттенков полярных вкусов. Можно было по пути заехать в ресторан, но совместному приготовлению еды и самому ужину предстояло играть эротическую прелюдию к безумству наших любовных утех. Когда ты знаешь, что *близость неизбежна* и именно с этой женщиной, ты словно невольно заряжаешь каждый листик или дольку, каждую капельку соуса, каждую пылинку специй бродящим желанием. И тогда два желания сливаются, смешиваются, подогреваются пламенем стихии и крепких напитков, томятся до критической точки наивысшего предела и взрываются терпкой бомбой тикающих в бездне воздержания инстинктов. Я жарил мясо и сервировал стол, *она* резала салат и готовила десерт.

Утром, когда я проснулся, то сразу щемяще-сладко ощутил пушистую тоску от *её* милого отсутствия. *Она* лежала рядом и читала какую-то книжку. Лежала, опираясь на локти и болтая ногами. Солнце прилипло к *её* телу от плеч до ступней, как-то особенно высветив острые лопатки, похожие на сложенные крылышки, готовые в любой момент расправиться для полёта. Я знал, пройдёт пятнадцать минут и у этого ангелочка достроится золотистая голова, но он не улетит в ближайшее время.

— Интересно? — спросил я.

Она шевельнула крылышками — послышалось шуршание, видимо, упаковки с чипсами. Через секунду два из них были насильственно водворены в мой рот, а рецепторы получили удар катарсисной остроты. «Кайф...» — не знаю о чём благодно подумал я и поцеловал солнце, выбрав самый вкусный, самый лакомый его кусочек на сияющей попе.

* * *

Я привёл *её* к Арке. Ещё не доходя до места, но, увидев его, *она* чуть замедлила шаг и сказала:

— Я здесь бывала. Давно. Когда совсем маленькая была. На месте магазина стоял дом, в котором жил мой двоюродный брат. Я приезжала к ним гостить и проводила в этом дворе целое лето. Каждый год. Последний раз — в шесть с половиной.

— Да? — сказал я, совсем не удивившись.

— Я дружила с мальчишкой из соседнего дома.

Я указал рукой на бывший свой дом и спросил:

— Из того?

— Ага, — согласилась *она*.

Обрывки сюжетов, сменяя друг друга, роились перед глазами, вызывая какие-то далёкие запахи и вкусы. Самый яркий — вкус солёной кильки с жареным хлебом, запиваемых лимонадом.

— В том доме жило много мальчишек, — вздохнул я.

— Нас дразнили женихом и невестой. Он кидался драться, но от меня не отступился. И втягивал меня во все мальчишечьи игры. А если оставались вдвоём, то игры выбирала я, а он соглашался. Даже в «дочки-матери» и в «больницу». Я мечтала быть балериной или парикмахером. И однажды оболванила его так, что сначала он меня поколотил, вернее, толкнул, а потом ещё и тётка добавила. Он вышел на улицу совсем лысый и долго показывал мне язык и грозил кулаками. Чудная детская любовь...

Мы постояли, я предложил ей сесть на мою доску и сел. Едва улыбнувшись, она пристроилась рядом. Я закурил.

— Родители уехали на Север. И мы прожили там до моих пятнадцати лет. И вернулись сюда. Первым делом я примчалась к брату. Такая сдержанная поначалу встреча. Потом так здорово, так тепло и дружно мы провели день. Но я вдруг поняла, что хочу увидеть того мальчишку. И сказала об этом брату. Он куда-то исчез и вернулся загадочный. Вон, видишь арочный проход между деревянными домами?

Она не подняла руки, лишь едва повела головой.

Тёмное место. Оба дома были построены не на одной линии с другими, а чуть в углублении. Перед ними росли кустарник и деревья. Ещё тогда, в детстве, домики казались ветхими, скособоженными, а сейчас и подавно. Маленькие окна мутными раскосыми глазками подслеповато взирали из укрытия. Конечно же, там жили ведьмы и колдуны. А она тем временем продолжала.

— За домами, если пройти по узкому проходу, был заброшенный домишко. Приземистая мазанка с заколоченными окошками. Его сразу и не заметишь за джунглями из кустов и высокой густой травы. Там-то мне и было назначено свидание. Уже затемно брат повёл меня в тот дом. У порога я остановилась — испугалась. Но он подтолкнул меня в живую темень.

Она замолчала. Мимо нас прошла беременная женщина и вошла в мою Арку. Кстати, арки, в отличие от обычных проулков, втягивают в себя взгляд, пространство да и вообще всякую материю.

Я прикурил и глубоко затянулся.

— Там часто насиловали, — сокрушённо согласился я, окутывая каждое новое слово густым облаком дыма, и это было похоже на далекие выстрелы пушек, оповещающих о начале казни. — Даже трупы находили. Раза три. То самоубийц, то убиенных...

— Знаю. Одним из них был мой брат...

Мы помолчали немного. Я затоптал брошенный окурок и спросил:

— А мальчишку того... увидела всё ж таки или..?

Она повернула ко мне лицо и пристально посмотрела в глаза. Потом вновь отвернулась и ответила:

— Не знаю...

* * *

Умер Гуня. Вот такая новость. Один из общих знакомых при встрече сказал мне об этом на улице. Умер трагично. В том же стиле, в каком жил: эксцентрично, эпатажно, экстравагантно... По-чёрному блистательно. Блистательно мрачно. И показательно глупо. Только на сей раз дело довёл до конца, не ограничился, как выходило по обыкновению, парой-тройкой телефонных звонков, стихийными встречами с избранными людьми, участниками очередного начинания, и *воплощением Проекта в уме*.

Не может быть — что-то внутри надломилось, охнуло — к тому же, таким образом!.. Не может быть. Нелепо и жутко. В нос ударил сильный запах клубники и свежеструганых сосновых досок. А окружающий мир побледнел и замедлил движение, затаил дыхание и на мгновение онемел.

Я только что отобедал в небольшом ресторанчике, где вполне прилично кормят, и направлялся обратно на работу. Путь до офиса пролегал через набережную — мой, исключительно сезонный, летний маршрут — пятнадцать-двадцать минут постоять у Волги, вдохнуть свежести и утонуть в просторах бездумностью созерцания... Главное, не переборщить: лень коварная подкрадывается, пивом соблазняет дымным, поддразнивает беззаботным женским смехом, который, как загар на открытом теле, очень к лицу своим хозяйкам. В этом царстве неги, шумной радости жизни и отдыха и свалилось на меня известие о кончине приятеля. Оно никак не могло остановиться во мне — летало туда-сюда волейбольным мячом, то ускользало, то возвращалось.

Лучше бы это случилось в озабоченном городе, невтопад остеклённом троллейбусами. В тесном шумном троллейбусе. «№16». Где-нибудь подальше: между Домом печати и ЦАВом. В час пик. Я давно уже еду на машине или хожу пешком.

...Мы столкнулись с Гуней недалеко от Паниковского-бросьтептицу. Выходной день, жара. Что может быть лучше тёплой водки? Холодное пиво. После той самой водки. Мы зашли в бар. Тёплой водки не оказалось. Мы выпили рюмки по четыре холодной. Закусили горячей пиццей. И решили двинуться на пляж. Оказалось, что за всё лето ни он, ни я ни разу не были на Волге. На пляже.

— У меня плавок нет, — сказал между делом Гуня.

У меня их тоже не было. Зато хмеля в голове, после шлифовки пивом, бродило достаточно.

Обшаривая взглядом пляж, я выбирал местечко посвободнее, чтоб не наткнуться носом на чужие вещи или ноги. И заметил, что кто-то помахал мне рукой. Это была женщина и я не признал её сразу. Но смотрела она именно на меня. Когда мы подошли ближе, я узнал живот. Над пупком парила в изящном прыжке пластичная пантера. Бесспор-

но, тату делал мастер высокого класса. А принадлежал живот с наколкой продавщице из табачного киоска, что стоит на углу неподалёку от дома. Там я беру сигареты. С продавщицей мы иногда перебрасываемся двумя-тремя словами, но мне всегда казалось, что это не основание для столь выразительных, даже интимных приветствий.

Женщине было несколько за тридцать. Но в её облике сквозила странная мешанина возраста, стилей, образа жизни, желаний. В ней будто заблудилось, как петляют по лесу, и растерялось время. Причёска и макияж были безупречны и делали её солидной. Элегантность в движениях и статность фигуры, осанка бывшей танцовщицы подчёркивали зрелую, чувственную даму. Пальцы украшали кольцо и несколько крупных перстней, один из которых, занимавший всю фалангу, сверкал огромным ромбовидным рубином. Золотые серьги и кулон на цепочке, также сияющие красными отсветами, завершали ансамбль из украшений. На мой взгляд, человек — не витрина для ювелирных изделий. Но — кому как нравится, дело вкуса и состояния души, как говорится.

Окно киоска располагалось низко, примерно на уровне груди. Чтобы сделать заказ приходилось сгибаться. А в самом киоске, естественно, имелись полы, поэтому взор всегда упирался в заголённый прехорошенький животик. Подтянутый, загорелый, он аппетитно красовался между джинсами и коротким топом. Джинсы имели такой низкий пояс, что висели на бедрах и едва прикрывали лобок. Стоило бросить взгляд, глаза тут же чернильным штампом припечатывала наколка и привязывала к себе невидимыми нитями. А тонкая талия играла безупречными линиями. Под топом никогда не было лифчика, грудь снизу выглядела сочной, а хорошая её форма подчёркивалась игривой подвижностью. Но вот увидеть лицо, сколько бы ни хотелось, выходило затруднительным: надо было голову засунуть внутрь киоска или чтобы склонился в пояс тот, кто находился по ту сторону. И поэтому я некоторое время считал, что продавец — молодая девушка. Конечно, лицо её я всё-таки увидел.

Многие женщины молодятся, но тут сквозило какое-то предательское несоответствие. Или — мистическое. Запредельное для понимания с первой попытки. Нет, лицо её не было одутловатым или обезображено морщинами, но и назвать его юным язык бы не повернулся. Да, мраморно-гладкая кожа, да миловидное, приятное. Однако и оно, а в особенности — глаза красноречиво проговаривались прежде, чем в голове возникал вопрос. Воображаемое разошлось с действительным, но не потеряло, как ни странно, естественности. Как сказка и жизнь, которые замысловато переплетены в постигаемом нами мире.

Хищная кошка на животе запомнилась с первого раза и, не скрою, как-то вспоминался ни с того, ни с сего эротичный живот, который она охраняла. Но лицо... Сколько я ни силился, никак не мог воспроизвести его в памяти: оно ускользало, оно неуловимо меняло очертания

(размер и форму бровей, глаз, носа, губ, скул, подбородка). Всякое мгновение возникал новый портрет совсем другой женщины, будто передо мной их шла вереница, бесконечная колонна, сотни, тысячи.... И сам ход изменений я был не в силах остановить, чтобы хоть на какое-то время движение замерло для распознавания.

Она поздоровалась с нами, поинтересовалась, как дела. «Вот, решили позагорать». «И мы тут с дочкой отдыхаем». Я хотел, было, сказать что-то про замечательный день, но она уже повернулась к нам спиной. На ней были плавки-стринги, у которых сзади только тоненькие полоски, одна из них юркнула между ягодицами, оставив попу абсолютно свободной от предубеждений.

— У вас не на чем сидеть? — она оглянулась, не меняя положения. — Располагайтесь с нами. Места всем хватит.

Мы ответили, что это как посмотреть, что и на песке нормально и не хотелось бы её обременять. Тогда она поднялась и позвала нас купаться, а когда мы отказались — надо привыкнуть, оклематься малость, — попросила последить за её вещами и вильнула бёдрами. Мой и Гунин взгляды объединились в один, срослись, образовав нечто густое и направленное, и какое-то время срисовывали в деталях удаляющуюся и по мере удаления всё более обнажающуюся фигуру.

Раздевшись, мы уселись на горячий песок. Бутылки пива, в которых оставалось меньше половины, чтобы оно не грелось, держали в руках.

— У меня сейчас такой подъём, паря!.. — стукнул меня по коленке Гуня. — Мне кажется, я самый счастливый на свете человек.

— Завидую.

— Пойдём Волгу переплывём!

— Может, лучше пива ещё? Чем не подвиг... в мирное время.

— Меня уже с него тошнит.

Я допил остатки пива, перевернулся и лёг на живот, Гуня последовал моему примеру.

— Как на сковородке! — воскликнул он, побрякивая и ящерицей зарываясь глубже, в те слои, до которых не добрался жар жгучего солнца. — Может, купнёмся?

Но Гуня тут же забыл про Волгу и затараторил, продолжая начатый ещё в баре разговор, о том, что он сейчас готов горы свернуть, что написал кучу стихов, что на нём сейчас заживают, как на собаке, всякие болячки, что благодаря новой, разработанной им системе голодания и сосредоточения, которое заключается в рассеивании себя в пространстве и последующем собирании в сгусток, достигает теперь круче прежнего небывалого просветления и видит куски будущего, и что в нём, в будущем — ни хрена хорошего, а так — всё будет здоровски замечательно, что он в конце лета уезжает в Германию — там какой-то его проект поддержали друзья и теперь они будут вместе представлять разработку на каком-то то ли форуме, то ли фестивале, что ему недавно

подарили велосипед и он умотал на нём в деревню, за семьдесят километров, к «своей», которая уезжала навестить тётку и что по дороге у него свело ногу и он грохнулся, но благодаря той же методике и пацанам, проезжавшим на «Урале» с коляской, вновь продолжил путешествие, чем поразил девушку до вознесения. Своего. На седьмое небо. От счастья и всеобщей радости.

— Скажи что-нибудь... — с трудом выдавил я из себя.

— Что сказать?

— Про будущее. Конкретнее, с фактами... с цифрами...

— Я сейчас пьяный. Ничего не вижу, кроме баб беременных.

— Где? Каких?

— А фиг их знает...

— Пора идти купаться.

Меня с головой накрыла чья-то тень и замерла. Я поднял глаза. Надо мной, словно соединяя две стихии, две тверди, уходила в небо продавщица сигарет. Солнечный отсвет застенчиво пробивался между её ног. Мой взгляд ухватил то, что было представлено ему, но я посчитал неприличным долго смотреть и снова сел.

— Вода — просто райская. Почему вы не купаетесь? — от женщины струилась свежесть и прохлада.

— Как раз собрались окунуться, — отозвался я.

— Не пожалеете.

Она снова повернулась к нам спиной и принялась поправлять подстилку. Потом полезла в сумочку, чтобы достать, как выяснилось, сигареты. Одно скажу, она находилась слишком близко. Слишком. Взяв сигареты, она прикурила и выпрямилась: пол-оборота досталось солнцу, пол — мне и Гуне.

«Что ты так на меня смотришь? — зашептал Гуня, правильно прочитавший мой взгляд. — Она всего лишь танцует обрядово-ритуальный любовный танец. Как глухари или дельфины. И не говори мне, пожалуйста, про разницу в мозгах животных и людей! Про всякие личностные и социальные штучки. Ни хрена мы не знаем про их мозги! И законы природы, над которой якобы царствуем, ни хрена не знаем! Однозначно лишь одно: живое — функционально, обусловлено — и ни с того, ни с сего спросил: — Ты знаешь, почему киты выбрасываются на берег? Или мустанги сбрасываются в каньоны?»

— А дочку не вытащишь из воды. — Щебетала продавщица. — Уже синяя вся, дрожит, а всё туда же.

Купальник от воды почти совсем потерял защитную сочность цвета: волосы на лобке пострижены и выбриты, лишь темная дорожка шириной до сантиметра устремлялась к мясистому раздвоению. У самой кромки плавок между ногой и пахом на побуревшей коже высыпало несколько мизерных прыщиков: три тёмно-малиновых, розовый, салатный и два совсем белых. Незабудки... Они своим никчёмным существ-

ванием, самым своим видом приземляли жизнь и цветущее, уравнивая их со смертью и обезображенным, как равноединственные и равноважные ипостаси бытия, как негромкое обещание природы: подобные «они» когда-нибудь совсем победят, разрушат свою колыбель, своего носителя. Поэтому — к такому великому выводу я пришёл перепохмелёнными мозгами, — человек помимо пребывания в собственном теле, если он не прыщ, должен отдать что-то ещё. Отдать или сотворить тонкое, духовное или материальное, ведущее к этому духовному, к новой ипостаси — к жизни на новом уровне. Надо творить и питать тау-лептоны и «очарованные» кварки! Например, добросердечным поступком, помощью, прощением от души, светлыми мыслями, молитвой и нежностью. Это я о философской пользе злобных «обаяшек»-прыщечков...

Взгляд женщины скользил по пляжу, изредка задевая нас, чтобы удостовериться в соответствии, мы с Гуней чумно созерцали заповедное. Гуня склонился ко мне и шепнул: «Как некрофилы это делают?». «Хочешь попробовать?» — вполголоса откликнулся я. — Ты что, её заживо похоронил или собираешься убить?» «На самом деле, это фольклористическая проекция. Глядя на её гениталии, я хочу остаться живым. Или боюсь остаться?»

Мы были пьяными. Гуня посмотрел в пустую бутылку, как в подзорную трубу, дунул в неё, вытянув художественный звук, и вновь забубнил, воровато поглядывая на женщину. Но та не прислушивалась к нашему шёпоту. Я во внимании склонил голову. «Помнишь фольклорный мотив «укрощение строптивой»? Корни его архаичны и тянутся из матриархата, когда женщина властвовала беспредельно и являлась одной из самых необъяснимых, самых страшных загадок, отнюдь не романтических. Точнее, переходный период от матриархата к патриархату. — Гуня описал круги руками, пальцы его, как колонковое оперение по холсту, мягко прошлись по воздуху. — В сибирских сказках есть отражение этих представлений. Семь охотников или рыбаков заблудились в тайге и наткнулись на одинокий дом, в котором жили семь женщин, эдакие сибирские амазонки! И попросились на ночлег. Женщины их впустили с условием, что они будут спать парами. Утром встают — все мужики мёртвые, кроме одного. Помнишь, почему он выжил? Он выжил потому, что подобрал на реке продолговатый голыш. А когда дошло до «дела», вместо пениса сунул во влагалище камень. И зубы-то у неё там обломались! Что это? Преодоление страха перед женским естеством, когда вдруг, откуда ни возьмись, растёт живот, затем рождается человечек, новый член племени или стада, фиг его знает? Беременность, продолжение рода, то есть обеспечение круга вечности... Опять же кровь, кровь менструальная, с запахом смерти. Да, если кровь, то значит и смерть. Архаическая причинность очень логична». «Ищи голыш», — сказал я. «Слышал анекдот: он и она хотят, но почему-то стесняются. Женщина говорит, давай играть в «прятки», если

меня найдёшь — поимеешь. А если не найдёшь, то я за шкафом. Предки бы перефразировали его концовку так: если не найдёшь, то покусая. Не смешно, зато поведенчески стопроцентно верно». «Ты боишься женщин?» «Я боюсь любви, настоящей любви. Самые сильные, значимые, самые величайшие проявления жизни зачастую несут в себе смерть. И здесь причинность алогична, почти безумна. При бытовом, а не бытийном взгляде, конечно».

Прибежала девчушка лет пяти-шести и, дрожа от холода, плюхнулась на подстилку. Продавщица повернулась к ней, опустилась на колени, накрыла дочь полотенцем и стала что-то ворковать ей на ушко, поглаживая и растирая. Мы оба посмотрели на лишённую предубеждений попу. «Детородные органы для тебя есть символ, олицетворение любви?» — спросил я. «Физиологический женский признак, не более. А уж где женщина, там... И ты же не будешь утверждать, что одно отрицает другое, как ни поверни? Просто я этой зимой лежал в больнице и...» — «И что?» — «Так, всякая чушь в голову лезет...»

Ох уж эта жуткая автономная жизнь подсознания!.. Уверен, Гуня думал об утренней девушке с остановки, о которой я узнаю лишь через год, то есть в эти самые дни, накануне страшной смерти приятеля. Я встал. Следом поднялся и Гуня.

Гуню несло: «Вот мы сидим с тобой и любимся полуголой чужой тёткой, которая только этого и добивается активной демонстрацией. Человечество прошло огромный путь к нравственности и морали, ценности которых сформулированы давным-давно и вроде бы востребованы в наши дни. От полигамии до промискуитета. Пробегись по цепочке: Рабле — древние мифы... Культ материально-телесного низа заключал в себе возрожденческое начало, суть продолжения жизни — и ни малейшего цинизма, ни грамма пошлости. Однако, когда представления о жизни поменялись, свободные проявления стихии Дионисия стали не более чем развратом. Писанные и неписанные законы межполовых отношений человек создавал, чтобы обрести и сохранить физическое и духовное здоровье, социальную стабильность и упорядоченность. Защищённость. Здесь новая религия, пришедшая на смену язычеству, сыграла большое дело. Но как долго это длилось и не завершилось по сей день! И завершится ли? Пока существуют мужчина и женщина, будет любовь, страсти, измены, возжелания, эротизм в отношениях, и разочарования, обиды, разбитые судьбы и семьи, горе и смерти. Можно только чуть снизить их массовость и ничего более. Я лично выхода не вижу».

Я прицелился в бутылку камушком, который крутил всё это время в руке, бросил, но не попал. И спросил Гуню, доставая сигареты: «Ты же вроде бы в Бога верил?». Гуня меня не слышал: «Что такое чистота души? Сколько человек на планете чисты и светлы? Молчание было ему ответом. А теперь зайдём с другой стороны. Думаешь, это я смотрю на её зад?! Это моя физиология, рудименты инстинктов откликаются

на призыв природы. Мне по барабану её беременная задница! У меня никаких позывов нет, потому что у меня есть человек, которого я люблю. И весь мир мне до лампочки!».

К нам под ноги докатился мяч — кто-то из волейболистов перестарался, а кто-то оказался с дырявыми руками. Я подал мяч в игру, зажимая сигарету зубами, и уставился на Гуню: «Вот и договорились! Ты как «функциональное» животное, как самец должен был бы нефилтрованно отреагировать на призывный танец этой самки. Однако ты отвернулся, вспомнил про свою единственную, про Любовь как таковую и тем самым выделил себя из мира чистых инстинктов и физиологической обусловленности. Братец, мы повторяемся...». «Я не отрицаю некоей отдельной эволюционной ступени, на которой стоит человек со своим мышлением и тому подобным. Я говорю, что мы не знаем и сотой доли тайн мироздания, мы не знаем, сколько в нас самих осталось природного и насколько мы от природы зависимы, наше состояние, побуждения, например, от разломов в земной коре, вспышек на солнце...» «Так, Гамункулу больше не наливать, — прервал я разговор фразой из анекдота про инопланетянина и двух землян-алкоголиков. — Ку-пац-ца!»

Я чувствовал, что меня здорово развозит на жаре — ещё чуть-чуть и совсем потеряюсь в астрономическом пространстве, за край которого, как за податливую скатерть, мы грубо уцепились с Гуней, чтобы не свалиться с пьяных земных ног. И почему подвыпивших мужиков обязательно тянет поговорить либо о политике, либо о бабах и вечном?

— А я всегда почему-то думала, что вы холостой. Вы выглядите как неженатый мужчина, — услышал я почти у самого уха и чуть не отпрянул.

— Что, неопрятно выгляжу?

— Нет, Вы что! С этим у Вас всё нормально. В облике холостяков, возрастных холостяков, читается какая-то незавершённость. Плечи как будто плачут, даже если это плечи накачанного мачо.

— Плечи мачо громко плачут... Не давали ночью мачо!

Она засмеялась, а я хмыкнул и удивился лёгкости глупой стихотворной импровизации на тему детского стишка. Мне стало сально и неприятно, и я без лишних слов поплёлся к воде. «Что изменилось? Ага... Теперь она думает, что я женат на Гуне», — перевалилась с боку на бок мысль в одурманенных мозгах.

— Я имела в виду не только сексуальные отношения. Я думала о семейных ценностях, о детях, о радости и гордости за них, о микромире, который обустроен и подпитывает человека, — уже за спиной услышал торопливое.

Я обернулся:

— Мне об этом ничего не известно...

Наверное, что-то происходило с моим лицом, если она вдруг хохотнула и прикрыла рукой рот. А мне безумно захотелось освежиться.

В воде негде было упасть яблоку: на мели, визжа непрерывно и рассыпая веером брызги, плескалась малышня и усердно изображала бывалых пловцов; тут же резвились пацаны, скрываясь под водой и появляясь на поверхности, но уже в отдалении — играли в «салки»; то тут, то там подбрасывали со сплетённых рук отважных ныряльщиков и ныряльщиц — хорошо, если дуга исчезала в воде красиво, брякнувшееся же нелепо тело вызывало море брызг и смеха; молочно-белый парень нёс на плечах загорелую, до черноты на сгибах рук, девицу, и они вместе медленно исчезали под гладью реки, а кому-то интереснее казалось на просторах — те заплывали к буйкам...

Удар в спину чуть не свалил меня с ног, а я — едва не разрушил чей-то фантастический песчаный замок с витиеватыми башнями, точёными стенами и арочными входами. Гуня счастливо улыбался:

— Паря, Волгу осилишь? Хоть в одну сторону? Или слабо?

— Не знал, что в тебе силищи столько. Плечо отшиб.

— Плывёшь, что ли? Я тогда один...

— Гуня, она не смотрит в нашу сторону, — я махнул рукой за спину.

— А я не ради неё. Блин, танцора токующего нашёл... Над генофондом работать надо!

Я промолчал. Гуня, не дождавшись вопроса, пояснил:

— Учёные выяснили, что именно мужчина создаёт новые гены — гены видовой приспособляемости человеческого организма к изменяющимся условиям. Это революция! Женщина — потомство, мы — выживаемость. Гениально. А ген этот и формируется-шлифуется как раз в стрессах и испытаниях, в умениях находить решения и преодолевать трудности. А я в себе столько духа и сил чувствую...

— Это — водка...

Но приятель уже не услышал моих слов.

...Я ухватил его за руку, когда он ещё не достиг дна. Мне с трудом удалось поднять тяжёлое вялое тело до поверхности. Хорошо, что Гуня не успел заплыть далеко от берега. Он быстро пришёл в себя — поджарый, боевого вида мужичок с кустистыми усами ловко сделал искусственное дыхание, пока я налегал на согнутые в коленях ноги.

Теперь Гуня хлопал склеенными в снежинки ресничками, как у ребёнка после обильного плача, и взирал удивлённо воспалёнными глазами на пляж, на Волгу, на небо, на щётку усов бывшего эмчезника... А через двадцать минут всё в том же баре он потребует такой водки, которую можно откусывать и жевать, а ещё чуть позже признается:

— Я только что понял, как я боюсь умереть, как сильно я хочу жить! Эти поэтические игрушки со смертью... О, кретины мы с тобой! Хочу жить сейчас, сию секунду! Я даже водки не хочу! Хотя за воскресение или рождение... И за новый ген, купирующий глупость человеческую!

Смерть Гуни, преждевременная и *от самого себя*, читалась, как мне теперь кажется, ещё с детства во всём его облике, поступках, самом существовании. Она буквально напрашивалась логичной точкой в конце предложения. Более того, я поймал себя на том, что подспудно всегда ждал трагического конца и спрашивал себя: «Когда же?». И всякий раз удивлялся, что Гуня ещё жив. Ожидание звучало внутри меня неявно, в едва уловимых колебаниях ощущений, но навязчиво и устойчиво. Нет, конечно же, я не желал ему смерти! Вопросы о сроках его кончины в моей душе всплывали обыденно-ровно, как если бы, зная, что время течёт в принципе и лишь для простоты восприятия обрамлено человечеством в систему координат, я, будучи мертвецки пьяным или на рыбалке, без *видимой* надобности спрашивал бы случайного прохожего: «Который час?».

Тем не менее, страшное самоубийство Гуни явилось неожиданностью и повергло меня в ужас. Это при всём том, что для меня Гуня существовал, жил только в моём присутствии, с приходом — начинался, уходя — заканчивался. И всякий раз я будто заново вылепливал его в воображении: пальчики, ручки, плечи сумоиста, тело, лицо, исполненное умными карими глазами, звонкий, чуть резковатый от стекла и металла голос... Я не знал, чем наполнены его дни вне меня, как общается и о чём разговаривает с друзьями, коллегами, женщинами. И самое необъяснимое — не мог себе этого представить. Будто человек и не жил вовсе. Я не видел его зрением воспоминаний, жизненного опыта, кое-какого знания Гуниного характера и пристрастий. Однако самоубийство мне представилось очень реалистично, жёстко, в мельчайших деталях, с жуткими кровавыми подробностями.

Придя на работу, я окунулся в дела. Хватался за телефонную трубку, требовал от подчинённых каких-то данных, которые, как выяснилось, мне уже предоставили ещё вчера. Пытался сосредоточиться — не получалось: то и дело перед глазами возникал труп Гуни и полупрозрачным наложением всплывал Гуня живой то из детства, то из дней последних. Я взял пульт и отключил кондиционер: «Выкл.», «Выкл.», «Выкл.»... — холод по-прежнему подбирался к сердцу, а картинки в воображении не гасли.

На самом деле Гуня умер тогда, когда родился. И то ли тень его, то ли душа по нелепой роковой ошибке осталась бродить среди людей, искать своё бречное тело в каких-то странных делах и интересах, которые также уже являлись тенями, призрачным эхом замечательного или драматичного прошлого. Видимо, как ни цинично это прозвучит, само рождение его, само зачатие было ошибкой — той странностью природы, опровергнувшей появлением Гуни на свет известные постулаты и собственные законы.

Гуне было бы своевременно родиться где-то году в тридцать третьем, чтобы во времена «оттепели» вместе с другими «шестидесятниками»

вещать в Политехническом о духе и соразмерности, нравственном нерве, гражданстве (именно так!) и активности искусства, вещать поэтическим колоколом... Впрочем, колокол бы из него вышел бумажный. Но великолепный! Ажурный, мудрёный, со своим особенным тембром и внутренним светом. В самый раз для совершенно другой эпохи: в Серебряном веке рядом с Андреем Белым, Соллогубом, Мережковским и Бальмонтом Гуня смотрелся бы превосходно!

Я бы не смог написать некролог по поводу именно Гуниной кончины. Не знаю, что можно сказать о нём, пусть скорбными, но обыденными словами, словами из нашего времени. Наверное, что бы ни сказал — всё будет неправдой и не о нём. А если по-другому, образами его эпохи — не прозвучит ли насмешкой? Над людьми с понурыми головами, над той же обыденностью и погребальным ритуалом, над скорбью, горем близких и самой смертью?

Не могу себе представить его фотографию с уголком, отсечённым траурной лентой. Как-то не вязались облик Гуни и вымученная замшевым соцветием или совсем чёрная диагональная полоска: привязанная насильно чужими руками, тряпица оставалась отдельной от его смерти, от *идеи* его смерти. Я не вижу традиционного памятника, плиты или креста на могиле Гуни, как упорно не встаёт перед глазами и пресловутый холмик земли в ограде. Разве что его Ледовая Вечность, Память и Скорбь?

Ему была к лицу смерть, но не её легкомысленные атрибуты: смерть в представлениях Гуни цвела вечной свежестью одухотворённости и творческой энергичности. Печально? Да.

И, как водится, мне глупо загорелось оказаться в числе тех, кто видел Гуню одним из последних, слышал от него *накануне* про какие-то земные хлопоты или вдруг ставшие вещими, предначертательными, простые слова, захотелось быть *причисленным* к нему, к его прошлой жизни и трагической кончине. Вот только не знал, с кем поделиться своей сопричастностью, ведь сама по себе она важна лишь среди окружающих.

С течением дней я понял, что с реальной смертью Гуни началась его бурная жизнь в моей памяти, в моём мире.

* * *

У меня есть хороший дорогой автомобиль, но по старому городу я люблю ходить пешком. Медленно и со вкусом. Бешеный ритм современной жизни, спланированно-импульсивный, как заказанный нервный тик, выдуман и поддерживается людьми от жадности, глупости и внутренней несоразмерности. Лично у меня при добротном положении дел в бизнесе, наличии некоторых увлечений, требующих времени, вполне хватает энного количества минут для прогулок по морщинистым улицам, милым, как лицо любимой бабушки. Хватает, потому

что я так хочу. Потому, что мне это очень нужно. Единственное грустно: старый город исчезает — остались лишь малые, затерянные в новостройках островки с арками, подворотнями и подпирающими друг друга, словно усталые путники, невысокими домиками.

Я пришёл, сел возле Арки и закурил. Солнце распалилось так, что мне пришлось снять пиджак. Кожаный пиджак. Отличный тёмно-зелёный кожаный пиджак. Почти чёрно-зелёный, с лёгким светлым отливом. Очень дорогой. Я его люблю и почти не снимаю. Имеется в виду, не меняю на другую одежду, выходя в свет.

Он снял шляпу и поклонился, когда проходил мимо. Потом остановился, достал из кармана мой кошелек и улыбнулся. Я молчал и курил. Он потряс кошельком над головой и крикнул:

— Я обещал.

Я затянулся последний раз, бросил окурочку и притоптал его носком ботинка. Заметив мои движения, он встрепенулся и бросился бежать. Двух шагов ему хватило, чтобы осознать: я не двинулся с места. К тому же, отвернулся и смотрю в другую сторону.

Он разолился и закричал:

— Что ты этим хочешь сказать?!

— Открой, — мой голос был бесстрастным.

Он открывал не кошелек, а свой выбор. Достав свёрнутый лист, он прочитал написанное. Потом бегло окинул взглядом ещё раз и с силой швырнул в меня кошельком. Уходил он, не оглядываясь, быстрым широким шагом, а шляпу надел лишь за перекрёстком.

На бумаге было написано:

«Я дал тебе украсть мой кошелек. Больше не воруй, раз не умеешь».

Я долго себе не признавался (потому что не видел рационального объяснения), что его появление на *моей* улице ещё в первый раз отозвалось в душе трепетной радостью. Тихой, как рассвет. И одновременно — тревожным предвосхищением беды. И без моего ведома паренёк сразу поселился в сердце, занял своё место, будто оно уже было приготовлено именно для этого вихрастого шалопутного жильца.

Так бывает. Из окружающего нас многообразия мира тщательно, хотя и на подсознательном уровне, отбирается единственное нечто. Или ряд «единственных нечто». Какие-то, на первый взгляд, ничем не примечательные предметы (любимая «крестовая» отвёртка, фиалка, стильная авторучка, вилка с длинными зубцами); названия фирм вместе со всем списком их продукции и имиджем; местечки для отдыха на природе или в городских кварталах; книги, песни, фильмы, блюда, рисунки из звёзд на ночном небе... Ко всем этим вещам и явлениям возникает необъяснимая личностная, почти интимная привязанность (или любовь?). И тогда ты желаешь им процветания, приплодов, мысленно участвуешь в их существовании, обустройстваешь их микро-микромир. Попадают в этот ряд и люди. Одни из них становятся возлюбленными, другие — друзьями.

Получается *твоя* микропланета, со своим миропорядком, иерархией... Конечно, Пижон — не плюшевый мишка и не *Barbus Sumatranus*. И пока ещё не друг. Но теперь я зову его ласково — Пижон.

Однако в отголосках нашей с ним встречи, в том, что он мне оказался симпатичен, в том, что я хотел его увидеть снова, пусть даже для того, чтобы подтрунить, разыграть, победить, наконец, в той азартной игре, которую я себе придумал и первый раунд которой вырвал вчистую — было нечто большее. Но мой мозг бастующе отказывался думать над затерянным «большим», запретив при этом сердцу подсказывать.

* * *

От стопки бумаг, которую секретарша положила на край стола, повеяло холодом. Это была свежая почта. Ежедневно, как случается рассвет, мне приносят поступившие в офис письма — ничего сверхъестественного: предложения, просьбы, уведомления, приглашения, поздравления... Эта не самая пухлая пачка вытянула из меня взгляд и удерживала его на тревожной привязи.

Какие-то листы, видимо, из больших конвертов, с фирменными шапками, словно отутюженные, как дорогие костюмы их владельцев, выглядели вполне респектабельно. Какие-то, дважды перегнутые, расправлялись на глазах, точно люди, вылезшие из маленького автомобиля. Сверху лежал нераспечатанный конверт, вполне обычный, не имевший отношения к деловой переписке. Сложив недочитанную газету, я водрузил её на стопку, будто решил заняться более важными делами, при этом, безотчётно мечтая стать фокусником. Однако тревожность не растаяла, а письмо, когда я приподнял газету, так и осталось на прежнем месте. Но обманываться и тянуть резину было наивно и смешно.

Я взглянул на обратный адрес. Ни имя отправителя, ни адрес хозяйна, а точнее — хозяйки письма мне ровным счётом ни о чём не говорили. Хотя адресовано оно было именно мне, а не кому-то другому. Замятые углы и потёртость краски, устойчивый «жилой» запах подсказывали, что конверт долго валялся в ящике среди открыток, рецептов и вырезок о лекарственных травах невостребованным.

Вот так случается. Не дай Бог, кто пройдёт под окнами или ещё хуже, ещё страшнее — постучится в дверь, а ты один-одинёшенек в пустом тёмном доме: то в шкаф, то под одеяло. И падаешь во время перебежек, наступая на языки сползших колготок. Сопли пузырятся под носом: «Ма-а-моч-а-ка», но руки до белизны в пальцах сжимают игрушечную двустволку — пусть только попробуют... И обязательно шорох и шаги за дверью отзовутся в сердце дробным гулом. Но, прежде чем откроется дверь, радость нервной дрожью прогонит страх и поднимет с места: «Мама пришла!» Хорошо, если так... Так хорошо в детстве.

А сейчас? А сейчас — только настоящее оружие в руках. И знание того, что мама никогда не придёт. Ни страха, но и ни радости и облег-

чения. Лишь неприятная коробь от случайного вторжения: как бы не пришлось менять привычное.

Нет, есть страх. Другой, не детский. Не за себя. Я как будто *ждал вести*, всю свою взрослую жизнь ждал вести о чём-то, что касалось людей, бывших когда-то со мной, или о тех, которые вот-вот повстречаются мне, и что я опять должен буду встать и идти. Куда-то в обратную сторону. И опять *без них*. Я посмотрел на уничтожитель бумаг. Где-то под окном суетливо и пронзительно заухала противоугонная автомобильная сигнализация. Я пририсовал звуку большое тело, голову с клювом — получилась странная птица, которая почему-то никак не могла улететь: развитый голос лишил её крыльев.

В конверте оказались двойной тетрадный лист в клетку, размашисто и крупно исписанный скачущими буквами, и пожелтевшая, в трещинах фотография. Я взглянул на снимок. Две молодые женщины с лицами и причёсками из другой эпохи улыбались и жмурились от солнца. Одна из них сидела возле... моей Арки, на коленях у неё пристроился мальчонка лет пяти-шести. Рядом, вцепившись в подол, с зарёванным лицом страдала девчужка, видимо, продолжая ревнивую борьбу за тёплое место. Другая женщина держала за руку ещё одного мальчика. Все дети были примерно одного возраста, разве что мальчуганы выглядели немного старше.

Очень медленно, как если бы глядя вдаль на дорогу, и по мере приближения вдруг распознаёшь тот самый колодец, который должен был быть на том самом месте, я узнал маму. Но за руку она держала не меня. А я — тут я и себя узнал — почему-то сидел на коленях у второй женщины — как вспомнилось, тётки Веры. Показалась мне знакомой и та девчужка.

Нет ничего удивительного в том, что взгляд мой срисовал с фотографии этого другого мальчишку: здесь он был маленьким. Здесь он был совсем маленьким и не воспринимался мною, не связывался в сознании с *тем, из юности*, который заварил горькую кашу — ох, и досыта нахлебались её тогда многие. Сердце моё не дрогнуло, словно имело стенки из стальной скорлупы. Я не заметил, как и когда он пропал из моих воспоминаний и фотографий, будто его и не было никогда. Может быть, и шёл он рядом с Петькой Немцем, Шавкетом, приставал к Гуне, дурачил Бердяя, делился мороженым с Федолом, спрашивал меня о чём-то в лицо — нет теперь ни лица, ни силуэта, ни голоса... И сейчас, когда приходят на память ушедшие дни, в деталях и красках, наши шумные игры, споры, весёлые походы, в которых у каждого из дворовых пацанов было и осталось своё место в мизансцене, своя роль, свои слова, вместо этого человека нет даже тени, даже сгустка воздуха. И картинки не рассыпаются, живут, как так и надо. Моё сознание стёрло его из жизни, из игр и историй. В эту секунду, когда я понял, что связь между мальцом и парнем всё ж таки (отдалённо, где-то на задворках ощущений) установилась, я посмотрел на фотографию: да, мальчишки на ней больше не было.

...Простите старуху, что обращаюсь к Вам «сын»». Но ведь я нянчила тебя. И рос ты с моим сыном как брат ему. И в первый класс тебя провожала я, потому что мать твоя, Зинаида, лежала в больнице.

Не удивляйтесь, что письмо пришло на работу, а не по домашнему адресу. Я писала туда, где мы раньше жили, но письма всегда возвращались. А нового адреса я не знаю. То, что Зина умерла, я узнала через шесть лет после её кончины. Если бы ты знал, каково это думать о человеке как о живом, писать ему письма, проговаривать про себя, что расскажешь, когда увидишь, обнимать в мыслях, слышать, как в яви, голос и смех, а его уже давно нет. И больно, и жутко, будто глумился над мёртвым или сам на том свете побывал. Остался в памяти запах «Красной Москвы» и то, как мы с Зинаидой сидим и лепим пельмени вечер перед Первомайской демонстрацией. И хохочем, две дуры, над Кузьмичём, который за деревом с перепоя по нужде пристроился, а нас в окне не заметил. Нет, помню-то, конечно, всё, но не об этом хотела написать.

Бог помог мне на старости лет найти хоть одного родного человека. Я хожу на всякие выставки и, полоумная дурёха, собираю красивые книжицы, журнальчики, листочки с яркими картинками, как дети копят цветные фантики от конфет. И как-то мне попала такая штучка-вина, в которой была твоя фотография, а под ней — имя и фамилия. Я тебя сразу узнала, аж сердечко ёкнуло. И адрес я нашла в той же бумажке. Теперь ты директор. Значит, не сломался, поднялся. И я очень горжусь тобой. Соседкам показывала — охали, языками прищёлкивали.

Сынок, я очень сильно болею. И скоро умру. Не знаю, сколько мне осталось, неделя или дожить до утра. Страшно и тоскливо умирать в одиночестве — душа словно мается, плачет и просит, чтобы её обогрели, приглубили тёплым последним словом. Нехорошо одной умирать. Да и похоронить-то меня некому, а племянницу, ты её должен помнить, я не могу видеть. Хотя нам обоим просить не перепросить друг у друга прощения. Наверное, я её простила. Раз плачу. И тебя... Вот тебе и написала. Приезжай, сынок. Я не денег прошу. Кое-какие сбережения у меня есть. Я прошу чуть-чуть ясной и светлой былой жизни перед смертью. И чтоб в последний путь родные тёплые руки мне закрыли глаза. Когда так — будто и не совсем уходишь. Легче так.

И сказать мне надо тебе очень много, очень важное сказать. Не могу я такой груз в могилу унести, хотя и не пойму, лучше тебе от этого будет или хуже. Это всё по поводу той самой злой истории, которая всем нам переломала жизнь, кому поделом, а кому и незаслуженно. Но ведь как на нашей земле — все мы грешные, у каждого вина есть в той истории, только у кого-то она без умысла, у кого-то в горячке справедливой, а у кого-то от мести рассчитанной, втрое тяжёлая и смертная. Ведь там мой сынок был, родимый... И как же я могла, чтоб за кровиночку мою... Совсем путанное пишу — сердечко вперёд меня говорит. Он, сынок мой, конечно, виноват, царствие ему небесное. Плохо поступил. Плохо — не

то слово! Болею-то я от того как! За что мне такое наказание, думала. А наказание потом пришло... Да такое, что лучше б самой помереть. И от кого?! Так как же я могла поступить иначе?! И когда после тебе вытала нелёгкая, что всё наперекосяк пошло, люди говорили: «Это тётя Вера». Нет, сынок, это не я. Но я знаю, кто. Однако важно не просто «кто», а... А обо всём этом в письме не напишешь.

Хотя письмо такое я на всякий случай написала. Ещё много лет назад. И если ты меня не застанешь в живых, то письмо и те фотографии найдёшь в правом верхнем ящике комода на самом дне. Сними грех с души.

А всё-таки вру. Вру, старая. До сих пор и стыдно, и страшно. Я, я тоже перед вами виновата, и перед Зиной, и перед тобой, сынок. Так виновата, хоть голову секи. Зиночки нет — кто меня простит? Ах, больно, тяжело-то как, Боженьки мои. Ни на ком-то из нас креста не было! Ты выслушай и, может, простишь старую.

Прости меня, сумасшедшую. Но уж очень горько мне.

Приезжай. Целую, тётя Вера.

Догадываюсь, что дел у тебя очень много. И жизнь другая. И воды много с той поры утекло, так что ты меня, может, и помнить не помнишь толком. Да только есть в жизни то, перед чем она сама голову склоняет, на что оглядывается, с чем меряется. И помни, не смерть душу забирает, а жизнь. Ещё раз целую. Храни тебя Бог.

Я отложил письмо и подумал, что прочитал его очень легко. Попросил у секретарши кофе, а сам налил рюмку водки. Мне казалось, что ничего не вспоминал, ни о чём не переживал и ничего не чувствовал. Просто стоял, смотрел в окно и держал в руке рюмку.

* * *

Улица была пустынной. Даже этот странный человек своим присутствием будто и не оживлял её — слился с ней, растворился в штрихах, линиях, тенях. Может, поэтому и заметил его я не сразу. Он стоял возле деревянного дома и что-то зарисовывал в блокнот, то и дело сверяя взглядом рисунок с оригиналом. На нашей улице, богатой зданиями разных времён, архитектурных стилей и достоинств от каменных в стиле модерн до деревянных, украшенных резьбой, художники не редкость. Но он не был художником. Так почему-то мне показалось.

Я уже почти забыл о нём, но он неожиданно подошёл ко мне: умная лысина и седые усы, выступившие из улицы первыми, наконец, пропустили вперёд содержательные глаза — в них ещё пульсировало виденное, обволакивалось мыслями и радостью находки. Он хотел было что-то мне сказать, но вдруг заметил Арку: брови его поднялись, глаза блеснули. Он смотрел на неё, не стесняясь, восторженно, но и не показушно: с весёлым странным восхищением. Его силуэт застыл на

асфальте, обрамлённый тенью арочного свода — эта солнечная графика что-то мне напомнила. Но вместо свободных одежд, которые были подсказаны воображением, на нём были зелёная майка «Босс», джинсы, белые кроссовки... С его лёгкой руки я зачем-то тоже заведу себе дурацкую тетрадку, но не для зарисовок, а для цифр.

— Потом зарисую, — обронил человек. — Или лучше сфотографирую.

Он вежливо поздоровался и поинтересовался, здесь ли я живу. Я ответил, что жил. При моём ответе он оживился и принялся расспрашивать, когда построен тот дом, резьбу которого он зарисовывал, кто его построил и жил в нём, есть ли у дома своя история. Ничего внятного я ответить ему не смог. Я не понимал, что ему от меня надо, зачем эти привиденческие бредни. Но он не был похож на сумасшедшего.

Блокнот его был всё ещё в руках, словно ждал, что хозяин что-то забыл записать и сейчас снова воспользуется им. Я увидел на открытой странице какие-то картинки, сделанные карандашом. Но так и не распознал, что же именно изображено.

Он слегка (скромно!) озадачился от того, что я не удовлетворил его интереса, будто я непременно должен был знать про этот дом всё, будто не знать — глупо и досадно-легкомысленно.

Разговаривать с ним мне было совсем не интересно, но он стал рассказывать о себе, хотя я его об этом не просил. Оказалось, он работает охранником в аптеке, а вообще по профессии — слесарь. В блокнотик он зарисовывает резьбу, кронштейны, наличники, отделку крыльца и другие детали дома. Да, он не профессиональный художник, делает это как может.

Он протянул блокнот: карандашные рисунки были обведены в рамку, под которой приписан адрес дома. Примерно половина страниц содержала в себе таинственные знаки и символы, а возле некоторых выведено, например, «снесли в июне 2004» или «сгорел, март 2003». Видимо, пометка говорила о потерянном здании, фрагменты которого когда-то зарисовал Антон со странной фамилией Тувита.

— Это не всё. У меня дома есть ещё тетради и блокноты. И много фотографий — сам снимаю. Старые дома красивые. Я родился в старом городе. На Куйбышевской-Дворянской. Рядом с «Зорким» во дворе жили. Исчезает город. Жалко как-то...

В конце концов, он пригласил меня в гости (такая удивительная редкостная открытость!). Чиркнул в блокноте адрес, вырвал лист и отдал его мне. Это было уж слишком. Однако я взял.

Когда странный человек ушёл, у меня появилось нелепое ощущение выполненной миссии, хотя я ровным счётом ничего не сделал. Захотелось домой.

Я вымыл и протёр насухо большую пепельницу, которая напоминала остекленную медвежью кровь, в огромной капле которой лопнул

пузырь, налил в стакан охлаждённого яблочного сока, открыл новую пачку сигарет. Все мои приготовления были связаны с одним простым намерением: я собирался сесть за компьютер. И виной тому был всё тот же краелюб. Я ещё не знал, что именно хочу от Интернета, знал одно: хочу уж как-то напряжённо, спокойно, правда, вида самому себе не подаю. Да, всё странно и нелепо.

Набрал в поиске первое, что пришло в голову: «горит старый город». Страница показала целое море сообщений разных лет. От обилия цитат с едкими словами *пожар, огонь, пламя, горит* стало как-то горячо внутри. Открыл наугад одну из ссылок и принялся читать статью.

«Огню дорога.... Старый город горит быстрыми темпами

Сегодня в старой части города горел ещё один дом. На ул. Никитинская, 5... Обгорела внешняя стена, крыша и чердак. Сгорели две квартиры — №5 и №6. Как говорят очевидцы, возгорание произошло около 12 часов дня. Пожарные приехали быстро, в течение 5 минут. Однако деревянное строение вовсю уже пылало. Возгорание произошло с внешней стороны здания. Как говорят жильцы дома, наиболее вероятная причина возгорания — поджог. Пожарный эксперт эту версию тоже не опровергает...

Немаловажно, что с одной стороны дома находится уже заселённая многоэтажная новостройка. Её заказчиком выступила фирма «4-Плюс», принадлежащая, по сведениям жильца, Александру Шигуну. Кстати, в подобных ситуациях «4-Плюс» уже успела «засветиться». Например, эта компания строит свои дома на месте нескольких сгоревших домов по улице Буянова. В частности, дома №4..., жильцы которого уже год живут, что называется, «под забором» возле стройплощадки. Погорельцы склонны думать, что место под их домом застройщикам бы не помешало.

С другой стороны от только что горевшего дома находится стройплощадка. Здесь возводится ещё один многоэтажный дом, заказчиком которого выступает компания «Проектмонтажсервис», подрядчиком ООО «Строй-агат».

Удивительно то, что, как сообщают компетентные источники, в каждой из названных компаний имеют долю структуры, подконтрольные известному в городе Филиппу Бердю.

СПРАВКА: По статистике, больше всего пожаров происходит именно в жилом секторе. Только за 6 месяцев 2007 в области зарегистрировано почти 2,5 тысячи, 70% которых приходится именно на частное жильё...

Я зашёл в поиск и написал: «исчезают памятники архитектуры». И вновь в глазах зарябило: *ключевые* слова, в различных вариациях выплунутые Сетью на монитор, словно мне в лицо, обманчиво внушали мне, что они, тематически отобранные по моему заказу, — единственное содержание жизни.

«Снесут ли старый град?»

При строительстве в городе разрушают здания, имеющие историческую и культурную ценность. В минувший четверг около полусотни жителей вышли к музею им. Алабина с плакатами: «Старому городу жить», «Нет — застройке сквера», «Памятникам архитектуры — защите государства». Поводом для митинга стала попытка начать строительные работы в сквере у музея. Неделю назад их удалось предотвратить. После шума, который подняла общественность, стройматериалы и рабочие с площадки улетучились. Но, по неофициальным данным, землю под 10-этажный офис кому-то из застройщиков всё-таки передали.

«А официальных комментариев никто не дожждётся! — говорит депутат городской думы Анна Лемина. — В городе стало традицией ломать и строить, не советуясь с народом». По словам депутата, при застройке продолжают разрушать здания, имеющие историческую и культурную ценность. Доходит до дикости: на территории кремля-крепости 1586 года решили строить многоэтажный гараж.

Филипп Бердьяй, прибывший на место, когда телевизионщики уже разъехались, что расстроило депутата, заявил газете, что лично не допустит варварского посягательства на культурно-историческое достояние нынешних и будущих поколений. — Город превращается в груды железобетонных монстров, — говорит Полина Сохина, представитель культурного центра «Афон». — И с каждым разрушенным памятником старины город теряет свою туристическую привлекательность. В пресс-службе областного министерства культуры и молодёжной политики газете сказали: — В ноябре 2005 года мы получили запрос городского департамента о возможности строительства в сквере у музея Алабина. Министерство официально ответило, что это недопустимо. По Закону «Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации», на территории архитектурного памятника или ансамбля любые строительные работы запрещены. Разрешены только реставрационные и ремонтные. В 1983 году Алабинский музейный комплекс получил статус мемориальной охраняемой зоны.

СПРАВКА газеты: Памятники старины, которые уничтожены: дом с мезонином, ул. Фрунзе, 128; дома в стиле модерн конца XIX века, ул. Венцека, 17 и 19; дом 1645 года постройки, ул. Ленинградская, 2а; архитектурный ансамбль начала XIX века, ул. Водников, 60–62; квартал архитектора Машкова (конец XIX века), ул. Самарская, 165; дом с русской деревянной резьбой времён Александра III, ул. Самарская, 172; дом под деревянным балдахином, ул. Садовая (возле Ульяновской); усадьба купчихи Синягиной, ул. Водников, 49; — здание начала XIX века, обитель монахинь, основавших Иверский монастырь, ул. Водников, 47; шедевр деревянного зодчества, ул. Алексея Толстого, 54...

«Ситистройтранс» помешали снести дом.

30 этажей на месте памятника

6 сентября в исторической части города строители начали снос дома, являющегося памятником архитектуры регионального значения. Здание находится по адресу: ул. Вилоновская, 4... (пересечение с улицей Садовой). Сносу помешала группа активистов во главе с депутатом городской думы Анной Леминой. Этот объект представляет собой усадьбу, построенную в конце XIX—начале XX века. В марте 2006 года здание было приватизировано через архитектурно-планировочное бюро компаний «Ситистройтранс», выступившей впоследствии заказчиком—застройщиком площадки, на которой расположена усадьба. С 1993 года это здание включено в реестр памятников архитектуры регионального значения. Как рассказала депутат городской думы Анна Лемина, администрация Ленинского района (в ведении которой находится памятник) не информирована о возможном строительстве. По словам представителей компании-застройщика, на месте усадьбы планируется возвести 30-этажное жилое здание. «Однако это район малоэтажной застройки и любое высотное строительство должно пройти специальное согласование, но, по моим данным, объект ООО «Ситистройтранс» такой экспертизы не проходил», — объясняет Анна Лемина. Согласно информации депутата, компания «Ситистройтранс» не имеет разрешительной документации на ведение строительных работ. Комментариев от представителей «Ситистройтранс» получить не удалось. У компании уже имеется опыт сноса зданий, представляющих архитектурную ценность. В настоящее время компания ведёт строительство офисного здания с переменной этажностью по адресу: ул. Фрунзе, 12... Ранее на этом месте располагался особняк купца Аржанова, одноэтажный дом с мезонином, который был снесён застройщиком.

СПРАВКА: ООО «Ситистройтранс» — основана в 199...г. Эта промышленно-строительная компания вела строительство гаражно-офисного здания по ул. Водников (одна из старейших, первых улиц старого города (прим. — ред.), общая площадь застройки 21 000 кв.м...

Я вышел из Интернета со странными смешанными чувствами. Где-то в душе что-то бушевало, посылало проклятия, метало громы и молнии... В то же время буря разыгралась уж как-то слишком глубоко, будто была спрятана даже от меня самого. Озлобленность усиливалась тем больше, чем больше я признавал детское бессилие как своё, так и властей. Паче, не исключено, что отцы города, или их чиновничье войско, видимо, плечом к плечу с коммерсантами грелось от костра горящей резьбы. Из оупения меня вывел тот самый Тувита, который вспомнился вдруг сам по себе. Я мстительно улыбнулся.

Сначала на верёвке в ванной появились её трусы и лифчики. Потом в той же самой ванной — флакончики, пузырьки, кисточки-щётки. Затем на одной из книжных полок Боргена, Сартра, Картасара, Булгакова, Оэ и Мураками потеснили «Бурда», «Караван историй», книга «300 рецептов постной кухни», томик Шмелёва и Бунина, маленький фотоальбом и деревянная шкатулочка. А уж после, когда двое помятых мужиков, не разуваясь, под её руководством протащили в мою спальню трельяж, я заметил, что *она* приходит в мой дом *сама*. В наш дом, потому что теперь мы, оказывается, жили вместе. Иногда *она* пропадала на сутки-двое, потом благополучно объявлялась, даруя мне сладкую тоску по её отсутствию.

В субботу, часов в восемь утра, мы удумали выбраться на пляж. *Она* собрала нехитрую снедь. Я перелил коньяк в деревянную фляжку (дубовую, из цельного дерева! — подарок моей цыганки; надо же, вспомнил — и...). Затем в её рюкзачок перекочевали «Караван историй» и невесть откуда появившийся в квартире бадминтон. Очень странно находить в своей квартире, в своей микровселенной чужие вещи, настолько странно, что нарушается логика и последовательность познания-опознавания. Так, почему-то сначала в душе гремит: «Что это здесь делает?», а уж потом совершенно бесполезное: «Что это?». В свою сумку я уложил подстилку, бросил сигареты, фотоаппарат и недочитанный детектив. Плавать я люблю почти так же, как сыр и секс. Загорать — куда меньше. Играть во что бы то ни было под палящим солнцем на песке — увольте. Поэтому я глазел то в книжку, то по сторонам, изредка прихлебывая из фляжки. И поэтому же в бадминтон *она* играла с каким-то тощим доходягой-молокососом.

Изящно так (но не кокетливо!) брала волан, высоко подбрасывала его, плавно выгибалась — очень вкусно читались при этом без исключения все части тела, а в целом картина и вовсе была жутко аппетитная — и со звоном отправляла его партнёру.

Они бегали, падали на колени и плашмя, вздымая песчаные смерчи, подпрыгивали, пытаясь достать волан... Как нежно она смеётся! Я никогда в жизни не слышал такого бархатного, сексапильного смеха! В то же время настолько чистого и естественного, как воздух в сосновом бору! А молокосос-то — выставил свои гнилушки, похожие на глинистый обрыв в чёрных оспинах ласточкиных гнёзд!

Такой я видел её впервые. Смотрел как на нового человека в привычном кругу. Совершенно другая. С азартом папарацци я несколько раз сфотографировал её. А развесистое небо всё видело, всё знало, но благородно и надёжно хранило секреты в своей радужной прозрачности.

Я положил голову на горячую руку, прикрыл глаза. Два бело-жёлтых пятна в чёрных обводах на какое-то время стали единственной картиной мира. Затем внутри них зародились и стали разрастаться тёмно-бурые

клубы. Ширилась и проникая друг в друга, пятна слились. На их желтовато-красном фоне проступил тёмный женский силуэт. Фигурка словно застыла в том последнем движении, в котором застал её взгляд. Через мгновение тело начало светлеть и одновременно обретать объёмность, а окружающее — прорисовываться в своих привычных формах и цвете. Я думал о ней. Неожиданно для себя — нежно и сладко. *Она* с кем-то играла в бадминтон и была со мной. Я это чувствовал, но пока не признавался себе. Просто жарился на солнце и большой птицей невесомо парил по своему состоянию. Как если бы бессмысленно дул время от времени против шёрстки спящей белой кошки и тупо наблюдал за изменениями.

Мне подумалось, что её надо бы свозить на конюшню и познакомиться с Серым.

Она сама утащила меня с пляжа. Закончив играть, подбежала, раскрасневшаяся, довольная, на лице испарина:

— Наскакалась, как дитя! О Боже, как я давно не играла!..

— А я подумал, ты выступаешь в «профи».

— Лыстец. Нет, правда, хорошо-то как, — *она* потянулась, заложила руки за голову и, зажмурясь, подставила лицо солнцу, насладилась секунду-другую и встряхнулась. — Пойдём искупаемся. И... У меня есть идея. Потом я тебя отведу в одно место. Нет, я приглашаю тебя туда на свидание, а поскольку ты там ни разу не был, то отведу тебя сама.

— И куда же, если не секрет.

— Не секрет. Туда, где привидения катаются на слонах.

— Доступно объясняешь, внятно. Я сразу понял.

— Ну-у, какой ты у меня бестолковенький... Я про усадьбу купца Головкина. Слышал? Жутковатое место. Тень страшных историй стелется от него! Слышал об этом что-нибудь?

— Так, краем уха. Не вникал особо.

Мы пошли к воде, а *она* стала рассказывать. Выходило, что свою загородную дачу купец-художник построил якобы для своей тайной возлюбленной. Или для тайных же встреч с нею. Именно её запечатлела установленная возле дома скульптура девушки, которую народная молва нарекла «панночкой», видимо, восходя к образу гоголевской ведьмы из «Вия». Любовь была пылкой, полной страсти и с трагической развязкой: так, статуя стала надгробием для погибшей девушки. С тех пор её привидение ночами бродит по дому и усадьбе, слышатся странные звуки, шёпот, плач и пение, вызывающее восхищение и ужас.

— Мне кажется, эту легенду выдумали люди, — завершила *она* свой рассказ, — потому что дом выглядит необычно. Особенно как-то. И эта легенда ему к лицу. Ну и пусть, что выдумки, зато как интересно, жутковато, аж дух захватывает, особенно, когда рядом окажешься...

К усадьбе мы решили отправиться на речном трамвайчике — дом купца-художника располагался на Волжском обрыве, в который неподалёку с виражом срылась улица Советской Армии.

Осьминожки щупальца причала речного вокзала доставляли людей на белобокий красавчик дизель-электроход. Новенький и элегантный, он смахивал на причёсанного и «упакованного» «от кутюр» денди и, несмотря на внушительные размеры, казалось, парил над водой множеством своих палуб и изящностью линий. Скоро «Прощаньи славянки» волшебным образом осчастливит людей более открытыми улыбками, лайнер затрепещет сотнями куцых крылышек и оставит на берегу немного зависти, вздохи облегчения, родившуюся до времён ревность и заботы о дне насущном.

Наша «Москва» уходила от причала скромнее. Но и у нас в душе сочно трепетали свои крылышки: настроение приподнятое, игривое, по-над Волгой в клубах выхлопов и криках чаек — затаённый восторг отъезда и путешествия, облетающий далёкие дали, прежде нас самих и нашей посуды, прежде наших пытливо-умиротворённых взглядов.

Буфет порадовал её холодным пивом, меня — коньяком, часть которого я перелил в свою уже пустую фляжку. Мы поднялись на верхнюю палубу, откуда открывались оба берега — два царства, две стихии: природы и человека.

Основание одной из бетонных опор, поддерживающих чудо-мосты к верхним палубам больших кораблей, зажгла алая надпись:

Выборы — обман.

Бердяй поднимет город. ЗА!

Её почти перекрывали разухабистые буквы, начертанные сверху чёрной краской:

Бердяй — не стреляй!!!

НЕТ криминалу во власти!

На секунды представились два человека, стоящие на противоположных берегах реки: они молча разевают рот, демонстрируя, словно дети, как жуют ветер. Взгляд мой скользнул по народному волеизъявлению, отлетел, вернулся вновь, безотчётно собирая мозаику смысла, но лишь я отвернулся, как лозунги вылетели из головы. На какое-то мгновение перед глазами зависло *сочетание* пляшущих цветов и развевалось без следа; я сплюнул привкус стоматологического вмешательства — погода хорошая. Мелькнуло только: смешная же у него всё-таки фамилия, странная, как уличное прозвище или воровское погоняло; и — ведь нашла же своего хозяина...

Я люблю смотреть на город с Волги. Завораживающая симфония. Как нотная строка (музыку пишут справа налево?), если за витиеватый скрипичный ключ принять архитектурный ансамбль гостиницы «Россия», речного вокзала и причалов и отправиться вверх по течению. Холмы, подточенные реками дорог, устремлённых к Волге, приютили разнокалиберные дома и сооружения. То и дело пространство расчёркивают то шпили костёла, то трубы ГРЭС, то стела (тот самый, по-народному, Паниковский). Сразу за монументом — снежно-не-

жный храм, вобравший в купола солнечный ветер. А снизу, от бассейна ЦСК ВВС (бывший СКА) поднимается волна, движется к Госцирку и застывает... Что ищет взгляд на берегу, прорезая линии и оттачивая формы? Лики, тайнопись Времени? Пророчества истории? Плоды просвещённости? Зачем дорисовывает, наполняет своим, достраивает?

Вспомнил про фотоаппарат (камера не профессиональная, конечно, но попробовать можно). И вдруг, заметив, как *она* заплетает маленькую забавную косичку, сделал пару кадров. *Она* тут же показала мне язык. Только самый розовый кончик! Так мило! А я удивился, в каком глумом, в каком пустяковом умилении я могу пребывать...

— Как ты странно на меня смотришь... — услышал я. — Не странно, а как-то по-новому... Ты меня смущаешь.

Я пожал плечами, а *она* сказала тихо, в шум вспененной воды и работающего двигателя, одними губами:

— Мне приятно. И вообще ты сегодня какой-то другой.

Другой была *она*. Другой. Новой.

— Не думал, что ты замечаешь мои взгляды...

Она отвернулась и застыла, казалось, что у *неё* под кожей ударили сотни мелких молний.

Разговор остановился и тем самым поглотил ненужный промежуток времени, но последние слова, интонации жили в сознании, вращались, вспыхивали и окрашивались в разные цвета до той поры, пока «Москва» не подошла к пристани. Я обнимал её, чуть поглаживая по плечу, и смотрел на воду. Даже её восклицание «Гляди, гляди! Вон она!» и моё ответное «Ух, ты... Сто раз видел. И не знал» ничуть не прервало внутренней игры прежних слов, не завязало нового разговора, не увело его случайной тропкой в топи лукавого забвения. То, что мы скажем сегодня друг другу, будет трепетными открытиями, но не вскроет *того знания, той заданности*, которые предопределили и берегли нашу близость — не время ещё. Не вскроет, не обнаружит и не опровергнет. Эти признания — как нужны они, как желанны: и сказать с переполненным сердцем, и услышать, чтоб наполнилось... Они, как кровь, насыщенная живительным кислородом, подпитывают, будоражат и приводят в равновесие, не дают отмереть и зашелушиться... Шум двигателей стих, люди устремились к трапу, а мы не двигались с места. Поведя плечом и склонив голову, *она* скользнула губами по моей руке:

— Да, в наших отношениях много странного. Но они устраивали меня именно такими. Потому что... Потому что устраивали. Бывает, нужно, чтобы тебя ни о чём не спрашивали, ничего тебе не навязывали. Беда в том, что нормальные чувства впелись в клубок спутанных старых отношений, обязательств и новых ожиданий, новых желаний... Всё непросто. И я благодарна тебе, что ты принял меня такую, какая я есть. — *Она* помолчала немного, обратила взгляд к зелёному берегу и заговорила, словно с лесом, с деревьями. — Я знаю, что так не может длиться вечно. По-

том, когда-нибудь потом мы с тобой обо всём поговорим. Обо всём, обо всём!.. Хорошо? Зато сейчас у нас есть тайна. Ведь, правда?

Последние слова *она* произнесла, глядя мне в глаза. Сколько же в них было тоски, мольбы и надежды! Никогда прежде я не замечал ничего подобного: усталость сменялась отрешённостью, когда много-жильная тягловая сосредоточенность вдруг раскалялась, а затем серела до небытия. Я терпеливо, старательно ждал от *неё* беззаботности. Обычной беззаботности. И дожидался. Изредка. Да и виделись мы прежде нечасто. А уж когда та самая беззаботность всё же овеивала *её* рассветным бризом — тогда всё, что окружало *её*, включая меня, наполнялось светом, игрой, ликованием...

Сейчас *она* романтизировала свою нескладную жизнь-житуху и новое притяжение, взметнувшее ветром пыль в развалинах странных связей из цепкого полупрошлого (кто-то у *неё* точно был!), а слово «тайна» в звучании заключало наивность и двойное дно. Это было защитное стремление и женское право не столько оправдать, сколько насытить хотя бы тенью смысла, тоном здорового бытового содержания то, что творилось с *ней* последние годы. Да, подсветить, приукрасить сериальным ореолом: если чуть с романтикой — значит, *как у всех, по земному*... Значит можно терпеть и ждать. Однако это вовсе не скрывало той силы глубоких переживаний, тревог, которые *она* так старательно прятала за маской сдержанности.

Она прильнула ко мне и склонила голову на плечо. Беззащитная шея с проступившими бугорками, один из которых выделялся особенно, верила в неизбежность и будто бы вверяла мне Жизнь. Я чувствовал, как *она* смотрит, не видя, обратившись взором памяти в зыбкую мглистость. Но вот — короткий вздох, *она* закрывает глаза (я точно увидел это как бы извне), ещё крепче обнимает меня и замирает, потеряв дыхание.

— Я всё время чего-то ждала. Может быть, этого взгляда. Может быть, чего-то ещё такого, что сама не загадывала, о чём не задумывалась, в чём не признавалась, — прошептала *она*.

Я поцеловал *её* в бугорок неизбежности, что мистически вернуло *ей* дыхание. Я увидел просветлённое лицо, в спокойных глазах — уверенность. *Она* сказала:

— Но ты — рядом. И я не хочу больше ни о чём думать.

По пьяному понтонному мостку мы сошли на дымчатый берег. Пружинящий жар туго обтянул кожу, выжимая капельки пота. Вкусно пахнуло шашлычным духом. *Она* взяла меня за руку, как ребёнка, который в себе и не знает, куда идти, и уверенно повела. Это было забавно.

Тропа своевольно, не в шаг, точила в гору ступени и исчезала в пышногрудой зелени. Однако с берега подобраться к усадьбе не удалось: почти отвесной стеной стоял обрыв. Решили подняться в обход. Теперь я устремился вперёд, подтягивая *её* за собой. *Она* что-то напевала сквозь порывы дыхания — у *неё* совсем не было слуха. Я развеселился.

Дом и впрямь выглядел странным (ещё на пляже *она* сказала, что построен он в стиле модерн и у него все фасады разные) — так и хотелось населить его всяческой жутью и татю. Послышались лёгкие шаги, затылка коснулись один за другим тёплые облачка дыхания, а спина прорисовала знакомые линии *её* тела. Мне стало легко и уютно, я обернулся. Не знаю, о чём говорили мои глаза, но *она* вдруг сказала:

— Мне с тобой хорошо. Что-то внутри отпускает и я забываю быть сдержанной.

Я искренне удивился:

— А зачем тебе быть сдержанной? Зачем помнить о том, чтобы быть... сдержанной?

— Тело помнит. Само по себе. За меня. А с тобой... С тобой легко.

— И ты находила меня, когда тебе было совсем невмоготу?

— Не знаю. Не задумывалась. И почти всё забыла. С тобой.

Она привычно отвернулась, а я заметил в *её* руке какой-то жёлтый игрушечно-крохотный цветок, с круглыми глянцевыми лепестками. *Она* поднесла его к лицу, вдохнула аромат, отвела руку в сторону и заговорила, как бы с удивлением рассматривая что-то неведомое:

— Вот, с тобой даже цветы стала замечать... Такие вот маленькие, невзрачные. Хотя мне роскошные букеты роз приносили... Чуть ли не каждый день. Я ненавижу тёмно-алые розы — тяжёлый у них взгляд. Подавляющий. Они словно раньше их дарителя глухо и бесцеремонно загибают тебя для тупого совокупления.

Мы обошли усадьбу и углубились в зелёные заросли. Кто назвал девушку «панночкой»?! — стоит она себе в соцветии (цветки большие, по колено), грустно склонив голову, и смотрит то ли под ноги, на цветы, то ли с обрыва на волжскую воду... Когда листва скрыла нас в уютном своде, который тут и там пробивали мерцающие снопы млечно-золотистого света, я остановился и обернулся. Где-то в конце тоннеля за решёткой маячил слон. Отсюда не было видно всего высокого забора и особняка, поэтому слон, обшарпанный и бледный, будто был заключён в клетку.

Взгляд *её* устремился к небу, но сплетение ветвей и листьев встало преградой и отразило его в землю. Я достал фляжку, скрипнула пробка, вызволив округлый лёгкий хлопок.

— Есть тост. За лето. За невзрачные цветы. За солнечный свет, притушенный лесом, такой заговорщицки интимный. За то, чтобы купцу и «панночке» было счастливо в любви на том свете, а нам — на этом... За нас с тобой.

Она приняла из моих рук фляжку, но вместо того, чтобы выпить за мои романтические пожелания, как бы не услышав их, с тенью застенчивости призналась:

— Я очень люблю слонов. Они большие и при этом — элегантные. Умные, красивые и добрые. С ними — надёжно. Ведь они были и боевыми, в них столько скрытой мощи! А ты... Ты напоминаешь мне слона.

Она смущённо улыбнулась, показывая, что понимает: со стороны сравнение выглядит слегка неуклюжим, и вместе с тем подчёркивая глубокую искренность того, что сказала...

Вроде бы я был на кухне и готовил скорый ужин (она что-то мурлыкала в душе), но вдруг заметил в руке карандаш. На самом деле я, как оказалось, искал листок бумаги. Мне попалась платёжная квитанция за квартиру. И на оборотной стороне я записал то, что меня переполняло:

*ты — как апрельская небель:
тоньше акварельной капли
прозрачней стихшего дождя
звонче воздушной радуги
безоблачнее аромата подснежника
мягче солнечного ветерка...
Только я знаю тебя
такой
настоящей.
Привет...*

Возбуждение, которое меня охватило, спало лишь после того, как я пятый раз перечитал своё творение. Потом вдруг устыдился романтических слюней, скомкал лист и швырнул его в форточку — как-то не по мне все эти восторженные ахи-вздохи, писульки разлирические. Блажь, да и только. Однако, вспомнив, что квитанция не оплачена, пулей бросился на улицу.

А на душе было возвышенно и звонко. Я обернулся махом (квитанцию прилежно расправил и в отделение для документов водворил) и не задохнулся. Мышцы, несмотря на усталость, хмельно налитые под завязку, с зудом требовали сокращений, требовали бесконечного движения, работы, усилий, а душа — просилась наружу то глуповатой улыбкой, замеченной мною в зеркале, то залиvistым фигурным свистом, который носился по комнатам вместе со мной. И очень кстати пригодилась её скакалка: я запрыгал в зале, сначала неуклюже, но приноровился, поймал ритм, всё ускоряя и ускоряя вращение рук. Пока её счастливый свежий смех, который неожиданно пролился за спиной, не охладил моего пыла.

* * *

На следующий день я снова встретил Гуню. В который раз за короткое последнее время. Словно в Гунином существовании сбились фазы жизни, что-то спуталось, сместилось. И я, вовлечённый этими встречами в карусель странных изменений, ошарашенно и робко проверял осязанием души, не рухнет ли порядок вещей.

Мы случайно столкнулись на нашей улице детства. Удивился я искренне, чего и не пытался скрыть, а выражение моего лица, видно, сильно развеселило приятеля — он вдруг принялся показывать на меня пальцем и, смеясь, похрюкивать. Тёмные, как подгоревшие оладьи, пятна на коленях светлых брюк Гуни на мгновение окунули меня в серое утро, которое сохранило в себе автобусную остановку из совершенно другой части города.

— Гуня?! Привет. Ты чего здесь?

— Не знаю. Ноги принесли. Хотя, вру. Вру. Захотелось взглянуть, как тут. Теперь...

— Тут теперь...

— А ты какими судьбами?

— Да вот, сию. Приземляйся рядом.

Гуня длинно, как сквозь жизнь, оглядел улицу до следующего перекрестка, остановил взор на своём бывшем доме — угадать это не составило труда — и, ничего не сказав, грузно опустился на доску. И снова, только теперь отстранённо, будто какое-то дело было уже сделано и вычеркнуто из списка, бросил беглый взгляд вдоль улицы. Я услышал:

— Все пути ведут оттуда, но туда дороги нет... Я ведь тут лет восемнадцать-двадцать не был! У тебя курить есть?

Гуня не курил.

— Держи, — я протянул пачку сигарет и зажигалку.

Я старался не смотреть, как прикуривает и курит Гуня. Но перископ моего бокового зрения чутко ловил его движения, мельчайшие изменения на лице, как он держит сигарету, как вдыхает и выпускает дым. Гуня сплюнул. Плевок шлёпнулся о нос модного белого ботинка и завис на краешке, так и не дотянувшись до земли. Я убрал перископ.

Внезапно налетел ветер. Он пронёсся и стих также быстро, как и захватил улицу. Только кроны деревьев дружно, словно не поспевая за ним, всё ещё аплодировали множеством листьев и, наконец, угомонились.

Вообще я как-то обнаружил, что всю стараюсь не замечать Гуниных противоречий, заворотов, в общем-то, живых проявлений, в чём бы они ни выражались. Я не задавал ему вопросов там, где они явно напрашивались, не требовал объяснений, необходимость в которых очевидно подразумевалась. И вовсе не от безразличия — закваска моего последовательного нелюбопытства бродила в каком-то глубоком жульническом чане: может быть, я чего-то пугался? Может быть, щадил Гуню, изображая, что все его необычности вполне естественны, даже тривиальны, легко вписываются в рифмы обыденности?

У меня внутри образовалась какая-то кисло-приторная пустота, в которой обозначилось: Гуня ждал на свои живые проявления моего живого отклика, не важно, принял ли я, осудил ли их; он нуждался в моих вопросах, в удивлении, восхищении или негодующем отрицании, как в паутинке — в той спасительной паутинке, которая есть во все вре-

мена и для каждого должна быть! Ему до одури, до помешательства хотелось быть таким, как все! В чём, конечно, он ни себе, ни кому другому никогда не признавался. Я произвольно (или всё же преднамеренно?) лишил Гуню жизненного самоутверждения. По крайней мере, в общении со мной. Я сторонился в нём жизни, которая агонически боролась со смертью. Тем самым не помог ему в той борьбе. И, образно считая его умершим до рождения, сам оказался мертвее мёртвого. Вот так. Вот так ходят себе по земле два трупа, сопли жуют.

Улица накренилась и зримо опрокинулась в темноту. Где-то грохотнуло. Сизо-лиловая туча фиалковой бархатности и нежности мгновенно надломила застывшую стремительность неба и полонила пространство, множась клубящимися соцветиями. Но в просветы вдруг ударило солнце, заиграло на крышах, в зелени листвы и на асфальте янтарными пятнами, позолотило Арку, вспыхнуло в окнах и лужицах. И внезапно хлынул дождь.

Мы тут же встали, озираясь и думая, куда бы спрятаться. Дождь был слепой. Редкие огромные капли, подсвеченные солнцем, приметно, расчерчивая, рассекая взгляд, понеслись с неба. Они шлёпались об асфальт, лопались, как глаза, оборачивались тёмным и мокрым. Вскоре на дороге не осталось сухого островка, кроме как под кронами деревьев, что росли возле дома колдунов и ведьм.

Я и хотел, было, бежать туда, чтобы укрыться. А Гуня, я это заметил только сейчас, стоял, зажмурившись, сладко улыбался и пофыркивал, пуская в брызги стекавшую по лицу воду. Светлый пиджак его вымок на плечах. Мокрое пятно, как живое существо, расплзлось по рукавам, и груди: «Я буду петь... Я буду петь о солнце!» — едва слышно прошептал Гуня. А мне слышался трубный мощный крик приятеля, пронзивший небеса, потрясший их до основания и вызвавший гром. Я не знал, почему слышал именно так. Видимо, телу Гуни не хватало сил прятать и сдерживать то, что творилось в его душе.

Гуня, неожиданно развернувшись, побежал. Он неуклюже приплясывал и подпрыгивал презабавно, портфель в руке взлетал волнами и кружил вокруг Гуни. А ноги словно бы выстукивали — так отчётливо и узнаваемо! — ритм песни Шевчука, которая тут же отозвалась у меня в голове и поглотила всего, наполнила собою улицу, все её закоулки и подворотни, так громко и явственно, будто давным-давно лилась вместе с ливнем с неба.

*...грянул майский гром и веселье бурною пьянящею волной
окатило. Эй, вставай-ка! И попрыгай вслед за мной!*

И теперь уже Гуня, подвластный ритму и гармонии музыки, подхваченный ею, выводил пируэты, подхихикивал в такт, вопил первобытно, подчиняясь её воле. И логике.

*Выходи во двор и по лужам бегай хоть до самого утра —
посмотри, как носится смешная и святая детвора...*

Музыка была белой, Гуня — тёмным. Отблески млечных крылышек Гуниной души пробивались сквозь торфяную воду глаз.

*...капли на лице — это просто дождь, а может, плачу это я.
Дождь очистил всё и душа, захлопав, вдруг размокла у меня,
потекла ручьём прочь из дома к солнечным некошенным лугам,
превратившись в пар, с ветром полетела к неизведанным мирам...*

Дождь сверкал солнцем, то, чего он касался, наполнялось тенью. Танец Гуни закрутил пространство так, что, казалось, дома и деревья поплыли-понеслись и захватили угнездившиеся между ними рваные куски грозового неба, струи дождя и отдельно взметнувшийся над приятелем его кураж.

*И представил я: город наводнился вдруг весёлыми людьми,
вышли все под дождь, хором что-то пели и плясали, чёрт возьми!..
Позабыв про стыд и опасность после с осложненьем заболеть,
люди под дождём, как салют, встречали гром, весенний первый
гром...*

На душе сделалось необыкновенно солнечно. Непроизвольная улыбка до стылости в щеках отражала ликование, а впереди открывались чистые, ясные горизонты. Детство вспоминалось без грусти, оно просто настраивало и подзаряжало, задавало интонацию жизни. И сбрасывало со счёта десятков-другой годков. Гуня резко остановился и повернулся ко мне. Лицо его было счастливым и одухотворённым:

— Мы с тобой — два старых дурака. Два счастливых старых дурака. Лично я — балдею. Хорошо. Легко, как в детстве! А помнишь, как мы здесь бегали босиком? Вот так же под дождём по лужам! Ты выбежал из арки, а мы с Бердяем скакали в той низинке! Подпрыгивали и с силой приземлялись обеими ногами, спорили, у кого брызги сильнее, дальше летят.

— У тебя круче получалось, — тихо сказал я и внимательно посмотрел на Гуню.

— Ага. А потом, когда дождь кончился, мы вытащили корабли и пускали их по ручьям вдоль тротуара. — Гуня говорил так громко, будто пыжился кого-то перекричать. — А в низине вода скапливалась, и получалось огромное море. У тебя был белый корабль. Самодельный. Деревянный. С белыми же парусами. А у меня — пластмассовый заводской. С чёрным корпусом и алой экипировкой. Я сам парусник перекрашивал, ведь он изначально был серым.

— Да, гонки были те ещё... Сначала твой был впереди, а перед финишем, перед морем, мой обогнал, вырвался...

Гуня перебил:

— Не выдумывай! Мой корабль первым в море вошёл...

— Нет, мой.

— Не спорь! Это была моя «Судьба»! А помнишь, мы тогда также спорили и подрались даже. Только не помню, кто из нас тогда кому наkostenял?

Я удивлённо оглянулся на Арку и упёрся взглядом в глаза приятеля. Но лишь на краткое мгновение — в его зоре маслянисто плавись укор и вопрос: «Забыл, что ли?» Я примирительно махнул рукой:

— Ничья получилась... Так, чуть-чуть бока друг другу намяли.

— А помнишь, как мы здесь, на дороге, играли в футбол, ваш конец улицы против нашего. У нас Бердяй был в нападении, я в полузащите. Я как ударю сразу по воротам — а мяч срезался и улетел ведьмам в окно. Хорошо, что удар не сильным был — стекло не разбилось, а то бы...

— Гуня, ты забыл. Ты — стоял на воротах. И просто отбил мяч так, что он отлетел в сторону.

— Да? Блин, память дырявая. Точно! А ведь какой сильный удар был. Ты, по-моему, бил? Или Петька Немец? Ты! Я вспомнил, ты! Как лупанул, а я — взял. Трудный мяч такой взял. Я вообще неплохо на воротах стоял.

— Ага.

— А потом я с Федькой поменялся, он — в ворота, я в поле. И такой гол забил! Прямо в «девятку»! Вон в то место. — Гуня указал рукой на Арку.

— Гуня, окстись! В мою Арку никто никогда не забивал гола. Потому что она не служила футбольными воротами. Мы играли вдоль дороги, а не поперёк и не буквой «Г»!

— Ну, да, что это я... А буквой «Г» — представь, это оригинально, это возбуждает! — Он засмеялся, похрюкивая. — А помнишь, я на твоей арке сначала фашистскую свастику нарисовал, а потом словцо «заборное». В первый раз ты меня стирать заставил, а во второй мы подрались. Крепко подрались.

Мы не заметили, как кончился дождь, ещё долго вспоминали события детства, смеялись и спорили. При этом Гуня два раза повторил как бы между делом: «Мы были с тобой хорошими друзьями». И я всю осторожненько лгал ему. Тем, что поддакивал. Почему-то я был уверен, что так надо и я поступаю правильно.

Мы с ним не были друзьями в детстве. Не выпало нам счастья и студенческой дружбы, потому что, когда я направил стопы на вечернее отделение университета, Гуня, хоть и был младше меня, уже обмывал красный диплом. Да, мы встретились и были рады тёплой волне и искренности наших объятий. И стали иногда видиться, разговаривать, пить пиво, примерно раз в «пятилетку». А в детстве Гуня дружил с Бердяем, который, так же, как и Гуня, жил на другом конце улицы, точнее — нашего беспредельного мира, обозначенного двумя перекрёстками родительских опасений (сама же улица бежала по руслу своего названия далеко в обе стороны от нашего квартала). Я же большей частью время проводил в компании Петьки Немца и Шавкетта. Конечно, бывали у нас общие игры. Случалось и такое, что мы вдвоём с Гуней,

когда моих по каким-то причинам не оказывалось рядом, ходили в кино или болтались по улице. Но чтоб дружить...

Однако самое странное во всей сегодняшней встрече звучало в другом и серьёзно настораживало. Гуня никогда в детстве не бегал по лужам босиком под дождём. Стоило упасть первым каплям — он прятался под козырёк того, четвёртого от Арки, деревянного дома и надменно отворачивался от нас, и, пока мы ловили ртом ливневые струи, носились, вздымая фонтаны брызг и стремились промокнуть наперегонки, Гуня с высоко поднятым подбородком что-то шелестел губами и озира л окрестности, будто видел улицу впервые.

А кораблики? У меня были разные парусники: торговые суда и военные корабли, целый флот — боты, барки, бригантины, шхуны, корветы... — от маленьких, со спичечный коробок, до полуметровых. В том числе и самодельные. И — как забудешь белый фрегат?! Который я всего раз спускал на воду, на Волге в присутствии мамы. Но у Гуни парусников не было никогда! Он вообще не любил игрушки, хотя ему, как и всем мальчишкам, родители покупали и машины, и оловянных солдатиков, и пистолеты с пистонами... Что уж говорить про футбол! А про свастику на Арке и драки — вообще отдельная песня!

Больше всего он любил бродить в одиночестве вдоль домов из конца в конец улицы и что-то нашёптывать себе под нос. Так могло продолжаться бесконечно долго. По нашим мальчишечьим меркам — дикость! Но *почему-то* мы не обсмеяли Гуню, не выжили его в четыре стены домоседства, не сделали его козлом отпущения и изгоем, что просто-таки напрашивалось. И то сказать, всё одно над этой странностью приятеля подтрунивали. Но иногда, особенно первое время по переезду, он неожиданно подходил к нам, увлечённым игрой, и долго молча наблюдал за происходящим. Или вдруг ни с того ни с сего предлагал умотать на Волгу, что было под запретом родителей, нарушить который считалось до одури вольнодумным и страшно-сладким. Или дерзко соблазнял нас на промысел за город на дачи воровать яблоки или клубнику, а ещё лучше — прямиком в Одессу, посмотреть море, места, где снималось многое множество детских и приключенческих фильмов, где...

Я не совсем понимал, что происходит: либо у него что-то действительно смазлось, стёрлось в памяти и теперь подкрашивалось желаемым, либо... И тут меня осенило: Гуня не придумывал, не лгал (это было бы для него оскорбительно-гнусно перед самим собой!), он наживал себе прошлое, нормальное детство наживал, словно нанизывал на нить ожерелья недостающие жемчужины, восстанавливал целостность и справедливость, споря с природой и судьбой. Совершенствовал чудакотатыми воспоминаниями свою и без того совершенную незавершённость.

Мы медленно прошли по улице до перекрёстка (территория жизни, государство снов, потеря и обретений детства) и теперь возвратились к Арке.

— Дураки эти символисты! Скажи?! — как всегда неожиданно, на первый взгляд, Гуня сменил тему. — И я дурак тот ещё был. Тоже мне, «дети ночи». Призраки! Нет, стихи-то очень интересные есть. Просто замечательные. И на литературу влияние оказали огромное. А вот идея жизненности в философско-бытовом преломлении — труха. Снеговик, который тает по весне. Полное «гэ».

Он увлёкся поэзией ещё на исходе отрочества. И тщательно скрывал это от всех. Однако в его руках частенько витали маленькие книжечки, а в бормотании, если Гуня вдруг забывался, вспыхивали рифмы.

Позже, перед тем как наши дороги разойдутся на некоторое время, Гуня однажды прочитает мне своё стихотворение. Спросит меня: «Ну, как?». И сам ответит: «Классная фигня». А потом глаза его озарятся и он добрый час будет читать на память строки, которые неожиданной сочностью узнаваемого отрывали от земли, чтобы вновь вернуть на неё — уже яркую, прорисованную, по-новому настоящую, будет рассказывать об Андрее Белом, Брюсове, Бальмонте, открывать судьбы, мечты, устремления иного времени.

Как-то само собой услышанное сопоставилось с образом Гуни — тут же очертилась его отрешённость, некая возвышенность и одухотворённость, странности такого рода, когда о человеке говорят «не от мира сего». И тогда мне удалось различить лишь внешнее сходство приятеля с совокупным портретом поэтов той эпохи. Возможно, манера поведения была всего-навсего подражанием. Однако обыденность показала, что Гуня жил их временем, мечтами, оценкой действительности и поступки его прорастали откуда-то из начала прошлого века. Если только я не убедил себя в этом.

Теперь Гуня отрешивался от юношеских взглядов. И от прообраза собственной жизни. Он отрешивался от самого себя. И это было предательство. Предательство выживания.

Вру. Надо было знать Гуню. Гуня не умел предавать в принципе — ни других, ни самого себя. А там, где он появлялся, чего касался и о чём говорил, — всё обретало новый смысл, ещё одно измерение, вторую жизнь. Да, Гуня лукавил. А если так, то в многослойности его признания о том, что он теперь презирует символизм, увиделось презрение к самому себе. Оно сгущалось и становилось раскаянием. Качественно новым раскаянием и словом исповедальным за всю прожитую им жизнь.

— Плачу о дне... Столько всякой херни нагородил в жизни. Не нравится мне тут жить. Нет, конечно, нра-ви-цца. А что с хернёй прикаже-

те делать? Что? «Что, что...» А ничего с ней делать не надо. Классная херня. Пусть себе будет. А?

— Пусть. Куда без неё...

— Дураки не символисты. А советские идеологи от литературоведения, которые целеустремлённо не заметили в их творчестве солнца, любви, торжества борьбы и пира бытийности. Декаданс разглядели: кельи, ночь, поэтизацию смерти и трагической слабости одиночества. А откуда он, со страхом и мистикой? Корни-то его — в мареве зреющих кровавых переворотов. Помнишь? «Вблизи святых руин недавнего былого, спеша, устроили мы суетный базар. Где смолк предсмертный стон, там жизнь взыграла снова; где умирал герой, там тешится фигляр...» Какая смена ценностей вспорола вены России... Культурные традиции, духовность, честь, элементарный этикет — всё под топор, всё на вылы... А символисты увидели: наступающую ночь и грядущие пожары, цепи, ограды и зорких часовых... И забытого Бога. Великое пророчество адовой бесовской бойни, устроенной на деньги Запада кучкой полоумных террористов, оправдалось. У-у, какие! Не поддержали измены, разглядели в ней апокалиптический ужас и предсказали катастрофу. Казнить немедленно! Уродливый выбор уродливо сделанной истории, уродливо поданное искусство для формирования уродливых мозгов и душ. И получили... Символизм был неоднороден, как сама жизнь. «Люблю свой острый мозг, огонь своих очей, стук сердца своего и кровь своих артерий, люблю себя и мир, хочу природе всей и человечеству отдаться в полной мере!» А собственно ремеслу сколько нового, сколько свежего и смелого дали?! Сегодня воскресенье?

— Воскресенье.

— Ненавижу воскресенье. С недавних пор... Но сегодня — хороший день. Замечательный.

Солнца было много. Асфальт почти весь высох, посветлел. Омытая дождём улица посвежела, зелень листьев обрела упругую сочность, а дома будто расправились, стали чуть выше прежнего и делились друг с другом игривым настроением. В годы моего детства здесь бы сейчас такой гомон стоял невообразимый — куда подевалась с улицы ребятня?

— Философа помнишь?

— Ну... — вспоминать философа мне было кисло (во рту у меня появился такой привкус, как после глотка прокисшего молока).

— Козёл. Туда же пошёл. Какой из него таксист? Или официант? Кому он там на хрен нужен? Я говорю, в Америку эмигрировал. К брату. Устраивать новодолларовую жизнь, блин. А ведь из него хороший философ получился. Бы. Русский философ.

— Не получился. «Бы». У него мышление трубопровода. Какую жидкость залили, ту и гоняет по известному кругу. Просто трубопровод очень витиеватый, с отводами, коленами... Настоящий философ не

презирает жизнь: любое презрение — от скудомыслия и ущербности души. От фатальной обиженности.

— Может, и не получился бы. А мы с ним собирались книжку писать. Предатель. Мало ты ему врезал тогда.

Я не разгадывал, а Гуня ничем не выдавал, насколько сильны его чувства: он не выглядел огорчённым — говорил, как всегда, роняя слова между прочим, торопливо создавая их как бы отдельно от души.

— Гунь, а граната была настоящая? — осторожно спросил я о том, что меня интересовало куда больше, чем судьба странного «фило-софа».

Гуня хмыкнул, перекрестил меня и без всякого любопытства выпалил:

— А ты откуда знаешь? Хотя, какая разница...

Я пытался уловить в выражении его лица, в интонации голоса, в движениях тела хоть что-то, что раскрыло бы мне его внутреннее состояние, хоть как-то намекнуло бы, чем сейчас полна душа Гуни. А в отголосках утренней сцены это было особенно интересно.

— Настоящий... чёрный... горький шоколад! С формой гранаты... — сказал Гуня счастливо и обречённо. — И как им только его делать решили: на дворе терроризм махровый цветёт, планета, видишь ли, с ним борется, а они, понимаешь ли, этакую сладость смертоносную открыто в киоске продают...

Я украдкой осмотрел его лицо и руки: ни малейших следов от ожогов — Гуня как всегда честно лукавил.

На языке у меня трепетали вопросы, однако я проглотил их: моё любопытство было слишком человеческим, слишком обыденным — я решил, что если Гуня захочет, то расскажет историю сам. Гуня не рассказал. И не потому что это было слишком личное, интимное. У Гуни не было ничего личного и интимного. Вернее, было, конечно, но таким им самим не воспринималось: если в признании на первый план выходила логика и необходимость пошаговых объяснений, он разложил бы по полочкам и самую глубинную душевную тайну. На время разговора она поменяла бы статус и перестала быть секретом, потому что этого требовала логика объяснений. А после сказанного он мог бы признаться, что говорит о сокровенном впервые и доверяет слушателю «без передачи», затем вновь облечь высказанное в тело тайны и навсегда запрятать в укромном уголке внутреннего мира.

Но именно потому, что Гуня прямодушно открывался, становился таким прозрачным, выговоренным, у меня возникало неодолимое ощущение, что тебе ровным счётом ничего не открыли, что главное — ещё там, глубоко внутри. Поэтому Гуня, при всей своей выговоренности, всегда оставался для меня недосказанным.

— Мир — рва-ный, разо-одранный... Он продолжает трещать, но не там, где скроен... — я не могу собрать куски, чтобы получить целое.

Гуня сказал первое предложение протяжно, второе так быстро, будто пытался ухватить эти самые ускользающие куски. Я усмехнулся, но не поверил себе: нужно было в чём-то убедиться, отогнать наваждение — я огляделся. Улица стояла целой и невредимой, дома и деревья по обе её стороны прочно вросли в землю, чётное и нечётное, левое и правое воедино стягивало асфальтовое покрытие. Окончательно придавали цельности и законченности миру знакомая музыка, тихо заливавшая воздух из открытого окна, одетая в плащ и с платком на голове и кое-как облачённая в собственную кожу старушка, которая горбилась над табуретом прямо на тротуаре, и воробьи, что лезли в драку за крошки у её ног и то и дело прочерчивали между домами и деревьями связующие нити. Но во всём этом мне вдруг послышался едва различимый треск... Верно, где-то шли строительные работы.

— И не соберёшь. Ты стремишься к неосуществимому. Мир рванный в принципе. Гармонию и целостность мы вылепливаем разного рода физическими законами и прочими научными теориями, творениями искусства и упорядоченностью социальных отношений. Чтобы в нашем восприятии сложилась хоть сколько-нибудь стройная, объяснённая картинка, а жить было удобно. Однако собственно для мира — это хлам. Нам дают куски мира — не выбирай подгнивший, бери сахарный.

— Я не о прагматизме, — буркнул Гуня.

— И я не про меню на ужин. Я о выборе и создании микромира. Твоего собственного мира. Но даже из него выпадают звенья. Такие, как, например, «предатель» философ или украденная зажигалка-подарок. Главное, как к этому отнестись. Вот, возьмут учёные и перестанут считать Плутон планетой Солнечной системы? Что будешь делать? — беззлбно съехидничал я.

— Ты правильно понял. Но не всё. Есть ещё чувства и мысли, есть зов сердца и потребность души. Ты — и планета. Есть призвание и жизненные цели — то, что наполняет содержанием и осмысленностью человеческое существование в принципе. И если из кучи этих кусков не хватает львиной доли, чтобы увидеть...

— Что увидеть...?

— Чтобы быть...

Я ответил не сразу. Уж больно мне, тупому трепангу, не по нраву столь опрометчивые радикально жидкие, с хлипотцой, жизненные установки. Полки, батальоны и роты моих чувств стали разворачиваться в боевые порядки:

— Это какой же должен быть страх, чтобы он стал поводом «не быть»?

— Или ум, — жёстко сказал приятель, — чтобы всё понять. Или желание быть. Слишком огромное. И пронзительное. Которое никуда и ни во что не вмещается! Целого мира мало... А тебе лишь крошечка от него даётся... Но иногда вдруг случается нечто, что по-настоящему от-

крывает тебе глаза. Ты оглядываешься назад — ничего, одна суета. Где был? Что делал? Смотришь вперёд — хоть матерись: так глаза открылись, что ничего не видно. Куда идти, за что браться? К кому пристроиться? Получается, что твоя жизнь — миф. Любая жизнь — миф.

— Изначально миф воспринимался как часть реальной жизни... Живи! Прокатись на метро, заведи собаку, издай стихи...

— Погреть самолюбие и гордыню? Кому они сейчас нужны?

— Построй свой Памятник Вечности, Скорби и Покаяния.

Гуня махнул рукой. Он меня не слышал. Каждый из нас разговаривал сам с собой, в чём-то себе признавался, в чём-то себя обвинял, убеждал, настраивал...

— Не хочешь великого и вселенски-социального — придай очарования мелочам. — В моём голосе появились нотки, за которыми маячила жалость к Гуне, это было отвратительно, я подобрал голос. — Нет, правда! Вот компаньон мой — я им восхищаюсь: у него багажник джипа набит до отказа походно-пикниковыми безделушками. Приезжает на поляну или необорудованную турбазу, где только «скворечнички» — а у него всё под рукой: и столик со стульчиками, и горелка, и барбекюшница, ножики, топорики, фонарики и рукомойник на дереве. Двадцать минут приготовлений — и он, с комфортом восседавая, нальёт себе первую рюмку... Так живёт во всём.

— Ты вот мне советы даёшь, как жить, а сам тоже маешься. Мается сердечко?! Мается... Думаешь, не вижу? Ещё как вижу... Но у тебя всё будет хорошо. Я сказал. А хочешь, скажу, чем мы друг от друга отличаемся? Ты знаешь код этой жизни, а я — нет.

Меня как током ударило, но пока я приходил в себя, Гуня снова заговорил:

— Есть ещё одна малость... тот самый «сахарный кусок»... Малость, которая перевешивает все пустоты прошлого и будущего и могла бы заполнить их. А если недоступна и эта малость? Я её люблю. Понимаешь? Сильно. Очень сильно. По-настоящему. А она меня — нет. Мы познакомились в больнице. Она мне сразу понравилась. Несколько дней я просто тайно любовался ею. Сейчас, когда я вижу её голой, я чуть ли не в обморок падаю. Она знаешь какая? При всей своей обалденной плотской красоте (взгляд, да, глаза, лицо, тело — для страсти и обожествления, в этом противоречии — гармоничное тело, возжигающее совершенством, кожа светится, запах нежный и тёплый: пить её, пить, пить, и не напиться, утонуть в ней и раствориться — счастье тёмное, счастье светлое и потаённое), так вот при всей своей плотской красоте она — бестелесная, эфирная. Душа у неё тонкая, красивая. Трепетная. И чистая. Беречь её хочется. Это чувство меня всего наполнило, как маленькое солнышко внутри засияло и пускает, пускает свои лучики, я стал другим, новым. Беречь... Да... Потом она поселилась во мне: ни во сне, ни в мыслях не выходила из головы.

Как-то иду по коридору — вижу: в процедурной дверь открыта. Она. Если бы ты знал, какая она красивая!.. Даже в больничном халате...

Я не упомянул, что уже видел её сегодня рано утром, а Гуня продолжал, не глядя на меня:

— Она там была. Вдруг у неё глаза закатываются и она медленно оседает. Думаю — обморок! Или ещё хуже — умирает! Влетаю туда — медсестры нет. Я её поднял, перенёс на кушетку и собрался уже бежать за помощью. Вдруг мне глаз резануло, как обожгло: несколько верхних пуговиц халата расстёгнуто — грудь увидел. Грудь... М-м... Нечеловеческая...

— Как у собаки или коровы?

— Чокнутый... Нечеловечески красивая! А так — в общем-то, обычная женская грудь. А я, придурок, голову потерял! Я растянул ещё одну пуговицу. И поцеловал грудь. Не так, не воздушно и бестелесно... А... Чуть сосок не проглотил! Потом увидел — облизывал сильно. Обтёр рукой и на цыпочках вышел. Даже забыл, что она без сознания. Я чуть не умер, не знаю, от чего — то ли от стыда и страха, то ли от восторга... Гадко, да?! Я извращенец? Она — эфирная, а я её — в земную грязь. В грязь. Чем оскорбил безмерно, унизил. Сука. Но я совершил это в состоянии аффекта, если данное определение можно отнести к той ситуации! После всяческих перипетий мы всё-таки сошлись. А-ах, какое было время... Я никогда в жизни не был так счастлив. Но у нас так всё неровно, так негладко. Нас штормит и будоражит. И я не понимаю, что происходит. Я её люблю. А она меня, как сейчас мне кажется, — нет. А... Всё фигня. Разберёмся... Паря, мы с тобой главного не сделали. В Одессу так и не съездили. Помнишь, как мечтали?

— Ещё бы... — внутри у меня в предвосхищении, сквозь мерцание услышанной истории, стала подниматься волна протеста.

— А сейчас слабо? Знаю, что слабо. Знаю. Кишка тонка. «Дела, работа...» — с полуулыбкой, глядя под ноги, пробубнил Гуня и хлопнул ладонью по портфелю.

Мною таким образом манипулировать бесполезно. Но я вдруг взбеленился и, несмотря на то, что планинг на понедельник действительно исчеркан «галочками» и густо испещрён фамилиями, названиями фирм едва ли не на каждой получасовой отметке, в ответ порывисто поднялся и навалился на Гуню:

— Вставай. Вставай, чего расселся. — (Я уже звонил знакомому в туристическое агентство узнать, как можно лучше добраться до города Гуниной мечты, нужна ли виза, чего это стоит и можно ли вернуться обратно к сегодняшнему-завтрашнему утру). Я рассердился — мне нечего было делать в Одессе, но безумно надоели эти полупроекты, гунинский Долгострой. И ещё эти его любовные страсти... Говорят, что мы недовольны в людях тем, что именно в нас и преобладает. — Я не понял, ты едешь или нет?!

Гуня опешил. Растерялся, заморгал с виноватой полуулыбкой, поведя, как филин, головой.

— Прямо сейчас?

— Перенесём в следующее столетие или оставим заветом потомкам?

Гуня спарился. Чему, в общем-то, я обрадовался. По словам приятеля из турфирмы, получалось, что отправиться в шальное путешествие сегодня проще простого, а вот чтобы вернуться к понедельнику, понадобится волшебство. И если бы Гуня вдруг согласился, пасануть пришлось бы мне: ради Гуниных причуд срывать график встреч и совещания? (Кто же знал, что мы виделись в последний раз?!) А Гуня внезапно засобирался, заторопился и, по-моему, на что-то обиделся. Но мне было уже всё равно, более того, раздражение закипело настоящей злостью: Гуни стало уже слишком много. А Гуня не солнце в воскресный день.

Дело в том, что Гуня в последние дни просто-напросто обрушился на меня: приходил вчера, попался на глаза сегодня утром, случайно встретился сейчас... Утром — вообще...

Ходили громучие слухи, что у Гуни с самой юности не прекращались любовные романы. Не какие-то постельные связи, а именно ро-ма-ны... Говорят, протекали они бурно: пылкие романтические признания озарялись завихрениями скандалов, иногда — публичных. Разоблачённые измены, жёсткие выяснения отношений, драматичные расставания и счастливые возвращения вызывали грязноватое любопытство общих знакомых и с нарастающим эхом разносились по городу.

А героинями всегда оказывались молодые девушки. Даже когда Гуне подвалило к сорока (впрочем, Гуня не старел: голос, кожа, глаза и походка, сама неказистость — всё сочились энергией и звучанием молодости; только мне одному мерещился возле него неясный отзвук возрастного невзрачного пука).

Такой успех, в особенности у поспевшей юности, мне казался странным, удивлял до досады (чуть приметной) и спрятанной зависти, но в него необъяснимо легко верилось.

Я ни разу не видел его женщин. Они представлялись мне какими-то маленькими-плюгавенькими. Лица имели сморщенные, как сухофрукт. Молчаливые и тихие (до поры до времени), женщины Гуни должны были обладать затаённой порывистостью устремлений от романтического парения до низменной готовности к извращениям. И секс у него с ними должен быть как за печкой: стыдливый, скомканный, как носовой платок простуженного, и при этом отгороженный от ближнего лишь ситцевой, застиранной до прозрачности занавеской — беззастенчиво-прилюдный.

Нет, не только «серые мышки» искали в Гуне сотворца увечных поэтизацией идеалов. Почему бы, например, среди охотниц не оказаться

активной спортсменке? Или тусовочной любительнице бардовских песен? Причём они — вполне миловидные барышни. Которых объединяет вовлечённость в собственный статус и образ, настолько сильная, что обыкновенный мужской «кобелизм» видит в ней неприступность, теряет уверенность, фантазию и форму. И отступает. Или не замечает вовсе. Да некая странная неприступность. Или ненужность. При полной нормальной (бабей) готовности отдаться хоть сегодня же вечером. Только беседа сначала должна быть обязательно немасляной, без единого «оскорбительного» намёка на постель: о высоком ли, обыденном, с критикой ли, смехом, но непременно отстранённой от самой возможности физической близости подчёркнутым платонизмом общения.

А вообще, по большей части, как мне ощущалось, Гуня должен пребывать в жутком и нетленном воздержании, изредка, крайне изредка и очень одухотворённо онанируя. Регтайм книжника. Синкопическая элегия райских яблок. Рок-баллада первородного моря, пронзённого и вспененного волнорезом. Вслушиваться в нежный трепет слов рембрандтовской «Данаи», ловить томный мерцающий взгляд чуть раскосых глаз Венеры Милосской, вдыхать ароматы «духов и туманов», клубящихся подле Незнакомки и оплодотворять Вселенную, для будущих рождений низвергая её в краткосрочное небытие импульсами восторженного откровения. В дощатом нужнике на даче у родителей очередной своей пассивности. Под далёкий гул электрички, насадившей на себя станцию «Вишнёвая» вместе с перроном шумным народом, корзинами, гитарами, субботным настроением и домишками, которые вот уже и утонули в белёсом мареве весеннего первоцвета...

Сегодня ни свет, ни заря я пошёл за тридевять земель, чтобы срочно забрать с турбазы одну знакомую, которой не смог отказать: то ли вожжа ей под хвост попала, то ли случилось что — подняли меня сонного телефонным звонком и призвали на берега не знающего сна Жигулёвского моря.

Серый предзакатный город был почти пустым: зевали или пасмурно прятались в себе редкие прохожие, а те, что бодро вышагивали с ношей за спиной и в руках, были по большей части рыбаками; три автомобиля случайными чайниками вдруг возникли из мгlistости автотора и, недокружив по воронке кольца, растворились в полудрёме распутья. Уже отключили фонари, погас огонь рекламных вывесок, а солнце ещё не поднялось над домами. Зажётся красный сигнал светофора и я остановился.

На автобусной остановке напротив ночного клуба было неожиданно многолюдно — возможно, закончилась программа: слипшаяся парочка стояла, покачиваясь, и то ли досыпала, то ли засыпала, трое ребят у дороги бурно проголосовали таксисту, который стрелой пролетел

на красный свет, а от здания, где находилось увеселительное заведение, не спеша брела стайками молодёжь.

Не знаю, что именно: какое-то движение на остановке или знакомая фигура в нелепом, необычном для улицы положении, привлекло моё внимание — я увидел Гуню. Он был совсем близко, шагах в двадцати. Гуня, молитвенно сложив руки, стоял на коленях. Перед девушкой. На нём был тот самый светлый льняной костюм, который мы купили вчера.

Девушка, со вкусом одетая и с современностью в глазах, в лице, жестах, явно не знала, как себя вести под взглядами окружающих. Тем более, наверное, что в основном из ночного клуба вышли молодые люди примерно её лет. Она терялась, отворачивалась, отступала и возвращалась, порывалась поднять его, вновь уходила за стеклянную стену. Пока, наконец, не подбежала порывисто и не дала Гуне пощёчину.

Оплеуха оказалась увесистой — Гуню встряхнуло и повело в сторону. Кое-как удержавшись, он удивлённо посмотрел на спутницу и вдруг обмазался усталой полуулыбкой. Кивнул, будто бы в знак согласия, и принялся хлестать себя по лицу обеими руками так, что волосы взлетали и метались из стороны в сторону. Девушка испуганно вздрогнула и, отвернувшись, заплакала.

Гуня, не вставая с колен, двинулся к ней. Сливочная нежность томилась в глазах его, а плюшевость плеч обещала тепло и беззаветную преданность. Потом взгляд наполнился мольбой о прощении, обильные слёзы потекли по бледному лицу. Он что-то быстро говорил, но девушка не обращала на него ни малейшего внимания, так и осталась стоять к нему спиной.

Гуня выглядел жалким, потерянным. Я же в первые секунды, вместо жалости, разозлился и уже презирал его всем своим существом. И будто увидел со стороны, как брезгливая гримаса исказила моё лицо.

Жёлтый. Я опомнился. Но тронуться мне помешал новый взгляд Гуня. Поистине адское раскаяние бесновалось в глазах — он уже был на костре, он жёг себя, раздувая языки пламени, страдая от явственной душевной и физической боли. Мне подумалось, что у него на теле непременно должны будут остаться ожоги... И тут взор приятеля потух и на смену огню пришла убийственно отрешённая решимость. Откуда-то в руках заплесал его смешной старый портфель (на кой ляд он ему нужен был в ночном клубе?!). Гуня что-то быстро вытащил — блестящий свёрток, перевязанный, как подарок, алой лентой. Он водрузил его на ладонь и развязал бант. «Никак голыш?!» — ядовито подумал я. Когда обёрточная бумага раскрылась неведомым цветком и её края обвисли, город затаился — в Гуниной руке покоилась граната.

Вокруг разом стихло. Рассветное небо побледнело в недоумении и страхе.

Неожиданно Гуня высунул язык и стал подносить орудие смерти к лицу. Я всерьёз испугался и едва ли не возненавидел приятеля за мах-

ровую глупость, глупость гормонально одарённого малолетки. Псих. Но что-то в происходящем не стыковалось — я лихорадочно искал ответ. И тут увидел: граната выглядела странной, словно политой шоколадом. Открытие совсем сбило меня с толку.

Вспышка озарила салон автомобиля, резанула белым огнём по глазам, отразившись в зеркале заднего вида. Одновременно по ушам ударил пронзительный гудок клаксона: мне сигналили. Сзади вырос нетерпеливый «жигулёнок», а светофор сочно-зелёным кругляшом уже отворил врата заветного пути.

С визгом колёс я перемахнул через перекрёсток, но остановиться сразу за ним помешал экскаватор, замерший, как музейное ископаемое, около той ямы, из которой зверя извлекли накануне. Место аварии было огорожено турникетом, а круглый знак со стрелкой напоминал о необходимости манёвра. Объехав ограждение, я резко прижался к тротуарному бордюру. Бросил машину не закрытой и кинулся к остановке в клейком страшном предчувствии: каждая клеточка напряжённо ждала взрыва, грохота, крика, огня и клубов дыма.

Однако остановка пустынно усмехнулась жалким жёлтым задом «маршрутки», подмигивая «поворотником» и оскалившись пивными бутылками на асфальте. Я готов был сам взорвать Гуню. Разнести в клочья. А потом прочитывать нотацию. На будущее. Я обозвал его по-разному раз пять, заговаривая гнев, и дверь в машину закрывал уже спокойно, не хлопая. И вскоре забыл о случившемся — дорога по-настоящему успокаивает меня, упорядочивает думы, остужает чувства, особенно дальняя, за город...

Сегодня утром я видел Гунину девушку. Как я это сказал? Что вложил в признание, равное откровению? Иронию к самому — себе — как минимум.

Девушка внешностью чуть-чуть не дотягивала до обложки глянцевого журнала. Значит живая. Очень симпатичная блондинка. Несмотря на некоторую панику и замешательство во время передрыги на остановке, в ней читалась уверенность. А ещё — ум и самодостаточность. Тогда почему именно Гуня? Загадка...

Зато стало ясно — нет, я, конечно, ещё вчера догадывался, и в то время, когда мы примеряли, когда Гуня только обмолвился о модной одежде и... Это запомнилось потому, что Гуня безразличен к тому, как и во что он одет.

Вчера, до того как мы отправились по магазинам, Гуня ворвался ко мне домой — нетерпение управляло его жестами и мимикой, делая их геометрически порывистыми и угловатыми, завершёнными ранее, чем подразумевалось целью движения.

— Слушай, а давай памятник жертвам репрессий и терактов установим!

Он плюхнулся на диван и бросил тут же потёртый рыжий портфель. Сам Гуня изображал уверенное равнодушие — это со светящимся-то взором и предовольной улыбкой (сама гениальность!..), которую приятель время от времени сворачивал и ужимал в солидность. Я направился на кухню.

— Их же полным-полно уже... Кофе или чай?

— Мало. Мало! Но суть в другом. Это будет особенный памятник.

— Тогда водку. Поясни.

— В Антарктиде. Мы его установим в Ан-тарк-ти-де! Как тебе?! Слабо? Из чистейшего льда! Слабо?! У меня и макет уже есть.

Я не успел представить всё великолепие и торжество гениальной дизайнерской или скульпторской мысли, как Гуня взлетел с дивана, догнал меня, достал из внутреннего кармана пиджака тетрадный лист в клеточку, свёрнутый вчетверо. Развернул неряшливо — то ли неуклюжий крест беременный, то ли капля, стекающая, то ли человекотрапедия, обросшая странными символами и знаками, коряво выведенная шариковой ручкой... Я не ведаю, на что это было похоже, но, как обычно, не спросил. А Гуня не пояснил. Сказал: «Я знаю, что здорово. Хотя я не художник, но ведь видится, видится ведь?! Нет, на самом деле я уже подключил дизайнера — классный «спец», хороший мужик. Он мне бесплатно сделает». Я ещё раз посмотрел на рисунок и, вернув его хозяину, открыл холодильник.

Гуня был верен себе. Всякое его появление на моём горизонте сдёргивало меня с материковой твёрдости будней и устроенности мира в пучину удивления и жалости. Я трепанационно начинал сомневаться, например, в целесообразности целесообразности.

— А почему ты объединил теракты и репрессии?

— Репрессии — это государственный терроризм, терроризм власти. По-моему, всё понятно.

— Угу. Но твой памятник никто, кроме двух-трёх полярников, там не увидит. Вяленые бараньи рёбра или копчёные куриные крылышки?

— И не надо.

— Тогда не вижу в нём смысла.

Я достал и то и другое, передал путавшемуся под ногами приятелю, а сам полез за помидорами.

— Тускло мыслишь, бизнесмен. Роль у монумента другая. Хотя в новостях его покажут по всей планете обязательно. В справочники и буклеты всякие попадёт, в журналах и каталогах — разместят сто процентов. А это почти вечность. И пред ясны очи власть предержащих естественным образом предстанет.

— Им от этого ни жарко, ни холодно... Отнеси в комнату.

— Не скажи... Памятники — они как буи по курсу новой истории, по разработке государством линии развития и внутренней политики. Приблизился к Дзержинскому-Ленину-Сталину — вокруг него про-

грессивная общественность: «Стоять! Бермудский треугольник!». Жалко снесли дяденьку... Подходишь к Пушкину, а там чтения памятные публичные: «Верной дорогой культуры идёте, товарищи!». Выходишь к ВДНХ — в вечном трудовом танго сошлись Рабочий и Колхозница: «Громче играй, Интеллигенция! На свои гуляем!». То есть «Нет словословным перекосам!»

Голос Гуни чуть подтаял в глубине комнаты и вновь окреп на подходах к кухне.

— Я сам плохо в этом разбираюсь, но слышал, что наш памятник Куйбышеву с точки зрения искусства неправильный какой-то: то ли непропорциональный, то ли пустоты под лапами пальто на то причины, то ли ещё что, а может, и всё сразу. Это ж какой кайф, а! Это ж как ирония над эпохой, как невольная оценка! Я так мыслю: нельзя сносить памятники, какую бы эпоху или личность они ни олицетворяли. В таких поступках — этика жизни. Только сильная культурная нация, только мудрый и великий народ, живущий в ладу с головой, душой, сердцем и внешним миром может себе позволить беречь прошлое, как своих родителей, которых, известно, не выбирают. В противном случае, то есть в случае сноса, я вижу в поступке либо истерику слабых и тупоголовых, либо иудово предательство. Нация, поднявшая руку на памятник великих ошибок и потрясений, с лёгкостью повторит оные, дай случай.

— Уж ты резанул...

— А ты как думал?! Памятники — это хребет, позвоночник истории: тут болит — значит помнишь, значит лечишь, остерегаешься рецидива... А сносить памятники всё равно что переписывать историю. Безнравственно, подленько. Себе же во вред. Памятники надо прощать. На самом деле сам по себе акт прощения памятников являет собою исповедь, покаяние или примирение Божеское...

— Ты, что, кого-то куда-то упрятал?!

— Типун тебе на язык... (Он перекрестился, но как-то непонятно, как если бы река текла против собственного течения — вроде бы не приметно, лишь памятью привычного уловишь) — Не только за свои грехи, за грехи человечества каяться надо.

— Не знаю такого. Чужого греха и знать не хочу. За свои бы ответить... Может, уже выпьем?

На мой вопрос Гуня неопределённо взмахнул рукой и продолжил говорить. Я его слушал, а сам хозяйничал: водку из холодильника — на стол, виноград — под струю воды и на блюдо, лимон — под нож, лафитницы (гордость моя, старинные! их отставил, взял новые) с полок — дзинь-дон...

— Я говорю, такой памятник в таком месте и при самом одиозном режиме не уничтожат!

— Наивный. Власть, если захочет, и в Антарктиде что угодно взорвёт, раздолбит, снесёт, сметёт, пылинки не оставит.

Пока я был трезв, меня бесило, как пьёт Гуня. Он стремительно возносил рюмку и тут же отставлял её уже пустую, содержимое, будто без глотка, просто исчезало между двумя звуками слова так, что они почти не успевали разлепиться, и то, что действительно текло непрерывным потоком, так это речь. А закусить? Ни радости, ни удовлетворения, ни обрядовости, тьфу. А когда приятель изрядно набирался — выпивал нарочито грубо, так, что часть влаги разлеталась по щекам и шее, забрызгивая одежду и стену за спиной.

— Ты наивный! Там паритетная земля и станции разных стран находятся. Это тебе не внутри страны, где руки мировой общественности коротки! А этику власти формирует политически активная общественность и здоровая зубастая оппозиция.

Я махнул недоверчиво рукой. О чём мы спорили?! Как в детстве о полёте на Марс, в красочных деталях и оживлении умозрительных прореалистичных сценок.

— Но к нему караула не приставить! Разве что белых медведей обучить! Так и те, я слышал, плохо дрессировке поддаются! Или они живут в Арктике?

— И не нужна там никакая охрана! Там одни учёные! Если что-то с памятником произойдёт — на хулиганов-вандалов не спишешь! Сразу будет ясно, чьих рук дело!

Не знаю, почему, но я не сдавался. Что-то меня веселило и будоражило в этом разговоре. Я наполнил лафитницы (лет семь искал, а то старинных пара осталась: повезло, купил их на днях; ничего более удобного и эстетичного для питья водки — какой там лафит! — никем и нигде в мире не придумано!) — стекло подёрнулось морозной дымкой. Одной рукой я взял сосуд — ножка заиграла в пальцах приятной тяжестью и живыми гранями стекла, другой — ухватил ребро с приличным куском мяса. Гуня тут же, не чокаясь, метнул водку в рот.

— Закуси. Возьми крылышко. В конце концов, его просто заметёт, он обрастёт инеем, запорошится, превратится в огромную снежную бабу, в ужасную, нелепую, жалкую и смешную пародию на памятник, на саму идею!

— Ты объединил необъединяемое, здесь контрапункт очевидный! Отвечаю по порядку. Первое про «запорошится». Вот здесь, здесь, здесь ты прав — кто ж его увидит, если, как ты сам говорил, там народу — раз-два и обчёлся! Впрочем, я твёрдо уверен, что найдутся люди, которые обязательно его почистят, обновят и если надо — восстановят. Так устроен мир.

Гуня свято верил в добротворящее начало человечества.

— Второе, по поводу трансформации идеи в жалкую пародию. Терминологическая ошибка. От непонимания сути. Следствие, о котором ты говоришь, просто лишний раз доказывает то, что «А» — красота — не вечна, «Б» — что является порождением нашего сознания и существует

как формула или оценка действительности лишь в человеческом восприятии. А вот то, что исказит идею — па-азвольте-е! Ничто так не доказывает хрупкость Жизни, как Смерть Прекрасного! Ведь это сбивает спесь гордыни и через скорбь учит мудрости жизни. Ничто так не поражает нашего воображения, как обезображивание красоты, ничто так не удесатеряет веру и любовь в Прекрасное, как надругательство над ним. Эта смерть даёт Красоте самую яркую вспышку жизни! Естественно, в восприятии и памяти. Бурной, активной, наиболее действенной! С вулканическим сопереживанием. На что, собственно, и направлено Творение. А если это Прекрасное, прости за каламбур, Памятник Памяти?! Как символичны единовременная смерть человечества и его сконцентрированной памяти! Прошлого, настоящего и будущего, его времени и надежды, амбиций. Его нравственности и духовности! Когда умирает один человек или даже группа — этого не заметно. Это воспринимается, да, с сожалением или участием, отдалённым, как эхо, воспринимается, как прекращение конкретных жизней вполне определённых Иванов, Смирта, какого-нибудь Джи Сунь Вэя. Человеческие ценности же суть остаются непоколебимыми. Отсюда нелогичный, опрометчивый, самоуспокаивающий вывод — человечество вечно, я вечен...

Стены, пол и потолок медленно утрачивали углы соединений между собой и закруглялись, как в Photoshpe. В центре неизменным маячил Гуня, окружённый матовым светом. Комната вместе с диванами, книжными полками, зеркалом, обрамлёнными в багет картинами поплыла, удлиняясь и сворачиваясь в спиралевидный панцирь улитки. Чтобы меня не всосало в пространствоворот, я пририсовал приятелю милые рожи и «в одну харю» выпил водки. Получилось. А под Гуней, который продолжал говорить, ничуть не чуя опасности, вновь появилось кресло.

— Именно наличие общечеловеческих ценностей, их живучесть приносят некий покой и уверенность в незыблемости и вечности бытия, хотя как на научном, так и на метафизическом уровне мы знаем о неизбежности конца конкретной жизни, конкретной планеты. И именно эти ценности, а не жестокость нравов, не окаменелость сердца и души позволяют нам воспринимать чужую индивидуальную смерть в той или иной степени отстранённо. Потому что главным и подспудным в мифологии подсознания был и остаётся страх за весь род. Иначе почему в древности всякие шаманы, старейшины, волхвы так хранили предания и традиции предков? Хранили не просто как методички и практикумы, в которых заключены знания, опыт, разного рода правила и табу, а как запечатлённую в стародавности Вечность, эпическую часть Бесконечности — эти ценности позволяли народу выжить и продолжаться. Мол, вон сколько было «вчера» — «завтра» ещё больше будет. Представь на миг: ничего этого нет, и ты, без прошлого и будущего, вдруг один перед необъяснимым миром, мир, весь переполненный предметами, явлениями, движением сразу становится несоразмерной

пустотой (он — не назван!), ликом чужого, ликом физиобиологического и, главное — социального Страха, ликом повсеместной Смерти — жутко. Сразу умрёшь, наворишишь фигни всякой и — трандец. Разрыв сердца. Бегство из несвоего времени и пространства путём биологического его отрицания, то бишь безвременной кончиной. А что мы там говорили про памятник-то?

— То, что его антарктическая стихия изуродует...

— Да. Ага. Точно. Только не изуродует. Лексико-семантическая подмена уводит от глубинного смысла. Это будет символическое сотворчество. Если же памятник остаётся видоизменённым силами Природы до катаклизма — ещё лучше — Мать природа ставит всё на свои места! Это будет естественное довершение, продолжение искусства и собственно Прекрасного на нравственном уровне — вот такая у нас убогая жалкая Память, вот такая у нас пародия на Духовность и Нравственность! И всё же до такого не дойдёт. Но главное не в этом! Он — вечный. Веч-ный! Почти. Он погибнет лишь тогда, когда на Земле реальные катаклизмы произойдут! Типа глобального потепления или космического коллапса. Вероятнее всего — первое. И тогда Он вместе с этими бескрайними льдами — а это самая крутая муля Проекта! — растает и затопит на хрен эту сраную цивилизацию! Каюк экуменической эре! Жди теперь новой порции панспермии. Великий и последний судный всемирный Потоп уже смогут запротоколировать только инопланетяне, исподтишка подсматривающие за ходом развития землян. И мы с тобой, паря, вольём в это праведное дело свою каплю, своё веское ведро очищающей водицы уже сейчас! Представляешь?! Теперь — внимание! А участвуя в сотворении некоего чистилища, обрекая Жизнь планеты на гибель и страдание, мы обретём чувство вселенской Вины, Скорби. Она наполнит нас Печалью, Сокрушением и Покаянием целиком и вытеснит прочие греховные помыслы, страсти и суетность — не до них будет. Тем самым мы очистимся, аки агнцы, отмаливая лишь один грех, да и то — запретельного будущего! А?!

— Это какой-то вселенский садомазохизм... И планетарный терроризм.

— Эх, темнота... Метафоры не видишь?

Надо знать Гуню: алогичность его рассуждений была очень логична, а незавершённость — совершенна. Я понял, что дал бы денег на этот проект и, наверное, принял бы в создании Памятника самое активное участие. Если бы Гунина незавершённость не была так совершенна — Проект уже состоялся в его сознании как акт творения красоты, как окончательное выведение её формулы, с тонким и искренним покаянием, с тихо веющей скорбью (разве что не Вселенского масштаба), и ничуть не требовал материального воплощения. Как стихотворение, сочинённое китайским монахом и прописанное тростинкой в придорожной пыли. Живущее до первого ветра. Или дождя.

Включаю телевизор — ба, смотрите-ка! Гуня. Сосредоточенный на чём-то и с блуждающей полуулыбкой. Поглаживает важно длинные волнистые волосы, смешно окружившие лысину, как тёмный лес солнечную поляну. Нет, они от плеч вознесли и уверенно поддерживали парящий и светящийся купол струйной шелковистостью. Значит всё-таки получилось...

В местных новостях показывали пресс-конференцию. За длинным столом на фоне штандартов с различными логотипами с интересом скучали люди. Нет, не маячили в их глазах пальмы розовых атоллов, туманные скалистые фьорды, белоснежные горы айсбергов и штормовые волны океана. Все они крепко привязаны к маленькому клочку суши и давно нашли край обетованный.

Я пересчитал их — семь. Минус Гуня — шесть. Не повезло.

Трое мужчин в костюмах и галстуках, наверное, спонсоры и чиновник, составляли правое крыло. Степенные. Один, худощавый с проседью в волосах, тербил толстую перьевую ручку, другой, помоложе, круглолицый и, к тому же, лысый, время от времени почёсывал нос и поправлял броский галстук, только чиновник руки сцепил — не разорвать. Улыбчивая крашеная блондинка, деловой жакет которой вводил в заблуждение, благодушно предоставила слово чиновнику. Как я понял, она вела действо от лица какого-то пиар-агентства. Слева от неё ещё один мужчина всем своим видом подчёркивал, что он непосредственный участник экспедиции. Но его геологическая борода ещё не набрала густоты, а толстый свитер домашней вязки под горло пушился нестёртыми ворсинками. Сидел он размашисто, широко, чем слегка досаждал престарелой девице с прокуренным лицом и пожинаяющим округу взглядом. Та демонстративно игнорировала соседа, выглядывая из-за его могучей груди, чтобы переброситься словом с ведущей. Она так крутила головой, будто горела высвободиться от манкуртовски тугой экологически-зелёной банданы.

И Гуня. Он почему-то притулился с самого края, хотя его место, как подразумевалось, находилось ближе к центру.

Речь шла об экологической кругосветке. Масштабный проект, автором и вдохновителем которого был мой приятель детства. Экспедиция «призвана привлечь внимание мировой общественности к самым острым проблемам морского бассейна каждой из многочисленных стран», по береговой территории и акватории которых прошёлся карандаш Гуни. Предварительно должна была быть собрана информация об этих проблемах и разработаны специальные акции. «Темы» этих мирных протестов — забой китов, загрязнение, драконовское браконьерство крабов или исчезающих видов рыб, затонувшие у побережий корабли со смертоносным грузом — словом, не перечсть...

Когда Гуня года полтора назад завалился ко мне с предложением вложиться в это мероприятие, я отказался. Не поверил, что можно про-

делать такую уйму работы, что Гуня доведёт дело до конца, что найдутся ещё энтузиасты с лёгкостью выкинуть деньги на океанский ветер. Да и сама идея объединить экологические проблемы отдельных стран в одну глобальную общечеловеческую показалась мне искусственно привязанной. К Гуниной неуспокоенности и планетарной озабоченности выживанием. В нашем городе моря или океана нет. Есть Волга. Но не с неё стартует экспедиция, а почему-то из Владивостока. Не бред ли?

Получилось?

Я всё уже понял. Мне стало обидно за приятеля, а в сердце скрутились жалость к нему и бессильная злоба на весь мир, взявший привычку опрокидывать Гуню при каждом удобном случае. Потом я узнаю, что экспедиция не состоялась. Думаю, что те, кто отодвинул Гуню, не прониклись, не вдохновились его идеей до авторской силы, а сам он — уже наверняка задумывался о чём-то новом. Этот проект Гуня готовил по-настоящему, занимался им долго и всерьёз. А почти на финише отдал пальму первенства и дело захлебнулось. Странно: он нуждался и мучительно жаждал славы, чтобы она подпитывала и сама толкала его; в то же время искренне чурался её, отворачивался, когда приходили секунды получать приз. Уверен, он рассудил так: идея важнее и отошёл в тень. Где и остыл.

Уже много позже я понял, что идея, в общем-то, интересная и важная. И если бы Гуня не варился в домашнем соку, а вышел на европейские и мировые общественные организации, на поддержку не местных, а державных чиновников стран-участниц, собрал бы интернациональную бригаду, да ещё бы и со знаменитыми людьми (пусть они не год мотаются, а проходят свой участок маршрута, сменяя друг друга), совсем иной резонанс можно было бы получить... Впрочем, идею могли всё одно присвоить, а Гуню оттеснить. Да и работы было бы в сто раз больше. Да, не получилось бы. Вот и договорились...

Гуня, Гуня...

Его Ледовый памятник Вечности, Скорби и Покаянию подразумевал недолговечность материала и изначально содержал в себе скорую смерть. Совсем как его автор. Они были похожи: Гуня и Ледовый памятник. Думаю, памятник был для Гуни, как для меня Арка — шагом к обретению внутреннего домика и возвращению. У каждого должна быть своя Арка и возможность вернуться.

— Паря, а что, сейчас так одеваются? — птичий тембр Гуниного голоса вывел меня из задумчивости. — Ботинки какие носят? Ты какие сам носишь?

— Э...

Гуня уже возвращался из прихожей с моим ботинком.

— Такие?! Классно... А галстуки как подбирают? Говорят, у них узлы разные бывают, да ещё и длина какая-то определённая должна быть. Так?

Вопросы Гуни повергли меня в лёгкое смятение. Одевался Гуня бедненько, невзрачно. И нелепо. Отчасти потому, что не придавал значения тому, как выглядит, отчасти из-за того, что не хватало денег. Но как бы он ни был одет, он чувствовал себя комфортно и искренне не замечал усмешек окружающих. Возможно, даже гордился и объяснял себе свой внешний вид одному ему известными доводами.

Нет, было, было одно очень важное нечто, что непременно должно было выглядеть! Лицо. Взор. Лоб, устремлявшийся в пролысину. И профиль.

Лицо обязательно должно было выглядеть всегда, пусть всегда по-разному. Ах, не актёрство, не лицедейство как таковое подталкивало Гуню лепить лик свой ради досужего мнения и пены мимолётных аплодисментов! То, что легко принять за маску, у Гуни являлось внешним на клеточном уровне. Таким образом Гуня творил и выражал свою эпоху и обвязывал стилем, сутью жизни и мировосприятия. Именно этим он держал связь со своей той эпохой. Мне кажется, что если бы он не следил за тем, чтобы выглядеть, то умер бы гораздо раньше. А на одежду Гуня плевал.

При этом, когда мы через час-два обежим бутики и прикупим стильные вещицы, то новая одежда «от имен» ничуть не изменит его осанки, походки, выражения лица, как это часто случается с обычными людьми. Что меня несколько удивит. Но я, по обыкновению, не пристану к нему с расспросами.

Понимание придёт тут же, у прилавка: он просто оделся для «кого-то»! Чтобы желанный «кто-то» почувствовал себя с ним комфортно. Как если бы очистил от снега дорожку к дому для долгожданных гостей — ведь подступиться к жилью по сугробам для Гуни не представляло труда и не носило знака проблемы или препятствия, а другим...

Я знал, что у Гуни вряд ли есть деньги на современную качественную одежду. А у меня они были. Немного. Поэтому мы, пьяненькие и весёлые, устремились в царство элегантности, моды и красоты. Город тоже был будто слегка под хмельком — радужный, игривый, лёгкий. Или так каламбурно: слегка легкомысленный. И в легкомысленности своей — импозантный. Он щедро предлагал напитки, развлечения и запахи пляжа, смешанный с влажным дыханием манящей реки.

Озарённый Гуня схватил меня за рукав:

— Хватит! Хватит искать Ойле. Этой земли нет!

Он порывисто зашагал, но вдруг остановился и повернулся ко мне.

— Вернее, есть. Вот она! — Он обеими руками указал на асфальт под ногами. — Мы идём по ней и ничего не видим! Слепота от избытка сердца? Я не знаю тоски, я не знаю скорбей... Я хочу вина. Молодого сладкого вина. Целую бочку!

Я ничего ему не ответил. А этого и не требовалось. В просторном зале магазина прохлада смешалась с тёплым запахом тканей. Серо-

стальной кафель, согретый зелёными ковровыми дорожками, бликовал изысканной назойливостью. Однако к нам никто не вышел. Костюмы на стылых манекенах, стойках, в стеклянных шкафчиках-футлярах с подсветкой... Мы прошли лишь четверть круга, как я уже нашёл то, что нужно — я умею выбирать одежду. Гуня плёлся за мной и всю дорогу пытался вспомнить какой-то смешной анекдот, похрюкивал при этом от смеха, прихваливал байку, но так и не вспомнил. И, кажется, не понимал, скорее — не вникал: что мы, собственно, здесь делаем.

— Примерь.

Я протянул ему костюм. Это была лёгкая двойка из льняной ткани. Гуня принялся спешно, тут же, в проходе (как на Кировском рынке), расстёгивать брюки, не прекращая заверять меня, что как только он вспомнит анекдот, то тут же расскажет. Обхохочешься.

— У нас есть примерочные кабины, господа. Желаете пройти? — выверенный голос принадлежал лицу, источающему забытую в Англии британскую невозмутимость. Почему-то голова воспринималась отдельно от тела, будто того не было и в помине.

Гуня махнул рукой, мол, фигня, расслабься, нам и тут нормалёк. Брюки полетели на пол. Продавец посмотрел на Гунины трусы и показал нам снисходительный затылок. Вот это школа! Чего не скажешь о кассирше, которой он, без сомнения, выложил историю в «красках» — то есть: «бе-е...» и скривился. Крашенная блондинка лет тридцати, не таясь, выглянула из-за стоек с одеждой и закатила глаза, словно никогда не видела грязных трусов. Нормальные грязные трусы типа «плавки» уже с неделю как потеряли форму и чуть обвисли, раскрасились впереди белесо-ржавыми разводами.

Я поманил её. Она ткнула себя пальцем в грудь, переспросив меня одними губами, действительно ли я обращаюсь к ней. Получив подтверждение, она пожала плечами, якобы смущённо, и направилась к нам.

— До завтра постираете? — спросил я, указав на Гунины трусы. — В каком часу нам зайти?

Гуня был отмщён, а распределение материи и веществ во Вселенной — сбалансированы. Мы вполне сносно экипировали Гуню: льняной невесомый костюм цвета недосушенного сена, когда сок зелени почти исчерпал себя, а желтизна солнца едва подступила, лёгкие ботинки натуральной кожи с рисунком из пробитых дырочек («Белые?!» — подетски изумлённо воскликнул на весь магазин Гуня). Рубаха-майка... Трусы-носки... Как канцтовары для дела: если берёшь степлер, бери и анти... В общем, выглядел он фасонно, даже франтовато.

Ей не могло не понравиться. Видимо, помимо одежды, хотелось чего-то ещё... И уж, конечно, вряд ли «шоколадной гранаты» в блестящей подарочной обёртке.

Я разозлился на себя: в воспоминаниях я относился к Гуне куда серьёзнее и теплее. Внимательнее. Хотя мне завтра нужно было рано вставать. Я собирался закрыть незаконченные дела, чтобы вплотную заняться подготовкой командировки в Европу.

* * *

Несколько раз я уже представлял себе эту сцену и ждал, когда же она проиграется по-настоящему. Его вели двое по противоположной стороне улицы. Один из сопровождающих, одетый в милиционерскую форму, был пристёгнут с парнем наручниками. Второй, несмотря на это, придерживал задержанного за руку повыше локтя. Пижон не умел воровать, но, видимо, и науку «делать ноги» освоил поверхностно.

Он смотрел на меня. В глазах не было страха, была мольба. А больше — сожаления. Оно почти звенело. Как досада краснодеревщика, когда стамеска вошла в дерево чуть глубже, чем нужно. Но этого «чуть» — вполне достаточно, чтобы всю прежнюю работу пустить на дрова для печи. Было тепло. Я сидел и курил у Арки. И без раздумий принял решение.

Минут через сорок он вынырнул из-за угла и направился в мою сторону. Плюхнулся рядом, сдвинул шляпу на затылок и опустил голову на руки.

— Ты неправильно дышишь, поэтому у тебя не получается, — сказал я.

— Почему ты здесь всё время сидишь, — спросил он, чуть повернув голову в мою сторону. — Тебе что, делать нечего?

— Может быть, сидеть здесь — часть моего дела? А вообще-то сижу я здесь не так уж и часто.

Мимо проходил тот самый начальник. Он нас узнал и остановился. Его палец был похож на крюк от багра: вроде бы прямой и длинный, и в то же самое время гнутый. Начальник помахал им перед носом у парня — теперь он мог позволить себе помахать почти по-отечески — и внушительно изрёк:

— Скажи отцу спасибо, сынок! Ещё раз попадешься — пойдёшь на нары.

Начальник ушёл строгой, но довольной походкой: время обеденное и в кармане теперь есть на что с шиком перекусить.

— Зачем ты меня вытащил? — спросил парень будто бы без удивления.

— Просто. Поговорить хотел.

— О чём?

По улице проехала машина и мы проводили её взглядом. По этой улице всегда ездило мало автомобилей. В детстве я этому сильно огорчался.

— Ты что делаешь, чем занимаешься? Кроме *этого*... — спросил я.

Он, не задумываясь, ответил ровным голосом:

— Боюсь стать садомазохистом. Или маньяком.

Взяв с доски пачку, я предложил ему сигарету. Он отказался. Я закурил и выпустил дым в улицу. В детстве с первой затяжки я обязательно вылепливал губами букву «О» и пускал дымное кольцо — оно вращалось и, разрастаясь, становилось жирным, как бублик. Или космический корабль. И кидался на всякого, кто пытался в дырку сунуть палец — это был мой космический корабль, самый красивый на свете.

— Отчим, когда меня колотил, за каждый свой удар что-нибудь давал. Платил. Когда помладше был — конфету, например. А постарше стал — доллар. Один раз я так много заработал, что попал в больницу.

Моё горло своевольно сделало сильное глотательное движение, хотя во рту не было и капельки слюны.

— А мама?

— Я её очень люблю.

Всё, чему нет названия, пока нами не открыто. Но иногда название существует, оно общепризнанно и широко используется, а мы не знаем и тысячной доли о сути того, что оно отражает. Пять раз в детстве я ездил с пацанами на рыбалку: три раза летом и два — на лёд. И она мне не привилась. Почему-то. А я от этого не страдаю, ну, не странно ли?

— Пойдём ко мне в гости. По рюмочке, — вдруг сказал я, вставая.

— За освобождение? — лукаво посмотрел на меня Пижон и добавил с тёплой иронией: «Отец...».

Это будет странным: прежде чем убежать за гитарой, он вновь спросит: «Почему ты всё-таки меня вытащил? Ты так и не ответил...». И я внезапно для самого себя скажу: «Ты похож на моего деда». Он насторожится и прищурится с недоверием, прокатывая в голове, в чём подвох. «Думаешь, я дурак?» — выжидающе спросит он. Я ему отвечу, что такого не говорил и что действительно выглядит всё странно и не вяжется одно с другим. Так и не поверив, он бросит, убегая: «Ладно, захочешь — расскажешь».

Признание, случившееся прежде, чем я его понял, звучало абсурдно и являлось сущей правдой. И стало любопытным открытием. По крайней мере, для меня самого.

Действительно, Пижон лицом — вылитый мой дед. Будто тот только что сошёл с фотографии, где они с бабушкой стояли под ручку возле векового дуба, за которым виднелся пруд и лодочки с отдыхающими. Дед, собственно не дед, а бравый красавец-офицер, осанистый, но степенный, держит фуражку в свободной полусогнутой руке, а вихры раздalis в стороны развесистой кроной того самого вольного дуба...

Дешёвая «Рюмочная» возникла на пути подарком нашим вожделем. Увидев вывеску, мы переглянулись и улыбнулись друг другу с тайным сектантским согласием, а затем тут же нырнули в полутёмный тамбур подвала. Не в падлу.

— Чтоб веселей дорога была, — сказал я. — А дома продолжим.

В небольшом узком, но длинном зале оказалось светло и довольно чисто. На стенах и колоннах в избыточном множестве висели объявления, прилепленные скотчем, и строго зывали «Не курить!». По всей длине обеих стен бежали сплошные стеллажи или полки, служившие столами-стойками.

С правой стороны за рюмкой водки с вялой долькой лимона в пальцах задумчиво сгорбился командированный. И ради порядка и спокойствия придерживал ногой раздутый то ли большой портфель, то ли маленький саквояж. Взгляд его достигал лишь стёкол очков, в которых растворялся, не выходя за пределы.

Слева что-то выясняла между собой двоица изрядно подвыпивших и потрёпанных посетителей. Один из них, мужчина — небритый, со спутанными волосами на красивой арийской голове в позе уверенного в себе мачо размахивал незажжённой сигаретой и что-то бубнил. Его другая рука, отведя полу мятого плаща, утопала в кармане грязных джинсов, а настезь открытый голый торс приковывал лукаво-смущённый взгляд кокетливой собеседницы. Она то растерянно подмигивала своему ковбою тем глазом, под которым красовался уже золотистый синяк, то, постоянно теряя равновесие, оправляла сосульки белёсых волос. Её припухшее тёмное лицо, как необычный калейдоскоп, меняло фигурки из бесчисленных морщин, в зависимости от настроения. А настроение женщины тополиным пухом металось от малейшего дуновения ветерка похмельной беседы. Возле них — два пустых гранёных стакана, обёртка от карамельки и нетронутая конфета.

На нас никто не обратил ни малейшего внимания. Мы заказали сразу по две рюмки водки и крабовую палочку — мне, полстакана сока — Пижону. Пристроились со стороны командированного, расставили нехитрые закуски, собираясь с духом.

— За знакомство? — улыбнулся Пижон, обнажив смешные нижние зубы.

— За встречу. За то... Ладно, давай выпьем. — Прервал я сам себя и мы чокнулись.

Мне почему-то весело и радостно было смотреть на Пижона. Я с задоринкой любовался тем, как он поднимает и несёт рюмку, оттопырив длинный мизинец, как сосредоточенно-серьёзно пьёт, как сдерживает дрожь от горькой, деловито расправив плечи, и как его лицо медленно озаряет улыбка.

Наливной перезвон церковных колоколов тонко проник в помещение. И тут же заиграли, заплясали на стене шутивные непоседы — солнечные зайчики. Показалось, что я на некоторое время растворился в золотистом тумане мелодии и света и роился вокруг Пижона лучистыми звуками и бликами. Смешно и дико(!), но странность новых для меня ощущений никак не тревожила. Я просто отдался воле волн своего внутреннего состояния и плыл, плыл, наслаждаясь сполохами тайного восторга.

— Ух, ты! Гитара! — восклицание сотрясло своды заведения, а женский голос, который призван был выглядеть миленьким, в самом конце завалился в горловом бульке.

Подружка мачо неровно снялась с места, отплыла, ловя волну, и направилась в нашу сторону. Мачо успел было схватить её за рукав, добавив к имеющимся пятнам свежие следы внимания, но та, не оборачиваясь, вырвала руку и выросла возле нас.

— Споёшь нам, Артист?

Она томно и игриво склонила голову, тускло блеснула в непослушной улыбке мутными глазами.

— Слышь, родная, нам поговорить надо, — сказал Пижон, скрывая улыбку и добавляя твёрдые нотки.

— Не принимается, — непреклонно качнулась дама и её морщинки перестроились. Она выжидала.

Я взглянул на Пижона и понял, что тот сейчас может взорваться и потому, что юн, и потому, что при мне, и потому что живёт в мире, где жёсткость или жестокость — лучшее из этикета общения. И вмешался.

— Сейчас мы по паре рюмочек выпьем, а там видно будет.

Я хотел добавить, чтобы она пока вернулась к своему кавалеру, но не успел.

— Ладно, наливай, — смиренно вздохнув, покорно сказала она.

Мы с Пижоном переглянулись. Но тут подошёл мачо. Он окинул её грозным взглядом, извинился перед нами и буквально утолкал даму к своему месту. Послышалась брань. Но нам стало уже всё равно. Выпив ещё, мы разговорились. Вообще-то, в основном, говорил Пижон, а я всё больше слушал да изредка подкидывал вопросы.

— А может ты всё себе придумал?

— Не-е. Главное — чтоб везло. В старых фильмах такое слово часто встречалось — «фарт». Крутое слово. Богатое. И не смотри на меня так, знаю, о чём думаешь. Я тебе вообще говорю.

— Вообще — не бывает. Ну, ладно, говори дальше.

— Всё очень просто. Есть те, кому везёт и кому не везёт, хоть вешайся. Но везение нужно ублажать и не думать о последствиях. Тогда фарт и выведет. В него верить надо.

— Значит фарт для тебя и судья, и Господь Бог?

— Да... Или пан, или пропал! — бравурно воскликнул он. — Я хочу яркой жизни...

Мне показалось, я уже встречался с подобной жизненной позицией. На собственном опыте. Впасть в старческие поучения я хотел меньше всего, однако говорить начинало хмельное сердце.

— Тогда зачем по кошелькам шаманишь? Смотри, получишь житуху серую. А то и — чёрную.

— Чёрный — тоже цвет яркий.

— Ага. Если его немного на белом фоне...

Я вполне отдавал себе отчёт, что двумя словами не изменить мироощущения. Да и задачи такой сейчас у меня не было. А понять, чем живёт и дышит этот паренёк, просто-таки горелось.

За его побасёнками о своей развесёлой жизни, которыми он явно пытался меня удивить, мы выпили уже прилично. Тут я вдруг обнаружил, что изо всех сил тайно контролирую себя, будто боюсь что-то сказать или спросить. Или услышать. И очень обрадовался, когда Пижон всё-таки взялся за гитару.

— Эй, Мань, ты хотела песню? — разухабисто, как старой знакомой, крикнул Пижон.

— Я — Ирина, — без обиды пропела Маня и опёрлась спиной о стойку, всем видом показывая готовность слушать. — Давай, Артист, зажигай.

Тогда у Арки он спросил: «У тебя гитара есть?». И на мой отказ быстро бросил: «Ща, погоди, тут недалеко!». Я снова сел на доску, проводил парня долгим пристальным взглядом. Вскоре он вынырнул из переулка с гитарой, на конец грифа которой была водружена шляпа. Инструмент оказался крайне фасонным и дорогим. Попутно я высказал предположение, что живёт он где-то здесь рядом. Он сказал, что обитает в общежитии, а на очередную мою догадку, что он, выходит, иногородний, ответил, что местный, просто не хочет жить с отчимом.

В жанровом многообразии репертуара Пижона штормило от Земфиры и Дольского до Губина и «тюремного романса». Почему-то ему шло такое невыразительное исполнение: занудное с прононсом «пение» под бряцанье или неуклюжий перебор.

А в рюмочной народу прибывало. Трое молодых ребят взяли по кружке пива. Появились и завсегдатаи: ещё одна парочка бурно присоединилась к мачо и Мане-Ире. Все четверо слишком уж буднично выпили. Маня-Ира стала вводить прибывших сотоварищей в курс происходящего. А именно: в их-то подвале настоящий концерт идёт! Тут же отделилась от приятелей и азартно спросила:

— А ты эту знаешь? Как её?! «Женское счастье: был бы милый рядом...» Давай, а?! Нет, лучше «Белые розы»! «Белые розы»!!!

Она тут же запела сама голосом, похожим на вялый тонкий звук детского синтезатора, подпрыгивая при этом, как зайчик у ёлки на детском утреннике.

— Охолонись, — урезонил её мачо и с обречённостью бывалого грубовато попросил: «Братан, сделай «Владимирский централ».

Пижон ухмыльнулся, потом сосредоточенно сдвинул брови и запел. Голос его постепенно обретал уверенность и силу, и песня получилась вполне прилично. И проникновенно. Пел он её с удовольствием, словно проживал с каждым словом-событием *ту самую* жизнь.

Мне захотелось курить и я под шумок вышел из рюмочной. Несмотря на то, что день клонился к закату, а в подвальчике горели все лампы, уличный свет болезненно, не пуская в мир, впился в глаза. Я прикрыл веки и постоял так некоторое время, потирая их пальцами.

Гуня встретил меня в аэропорту. Он был торжественным. Ещё более напыщенным и важным стремился выглядеть его выдавший виды портфельчик. Что-то это должно было означать. И хоть Гуня и расспрашивал меня, каким рейсом и во сколько я прилетаю, но увидеть его в роли встречающего оказалось для меня полной неожиданностью. И не сказал бы, что приятной.

Я был ещё полон впечатлений и, ступив на родную землю, ощущал себя под небом Италии. В том пространстве, с теми запахами, ландшафтом, с моей новой знакомой, которая просто отошла на минутку. И какой же нелепой, нереальной, чужой выглядела обычно по-домашнему милая привокзальная площадь аэропорта «Курумоч», сквер за нею, дорога, рассекавшая лес, пустые и увешанные кондовыми воззваниями рекламные щиты, гаишник, изучавший груз пыльной «фуры»... И ещё тоскливее, ещё слаще и теплее стало на душе от воспоминаний о восторженно-диком сегодняшнем утре... Ох, уж эта моя цыганка... А тут — Гуня.

— Мы едем в студию.

— Гуня, будь человеком. Я ж с дороги... Душ, то да сё, отдохнуть...

— Бросай свои аристократичные замашки... «Душ с дороги»... Ты в самолёте мешки таскал? Или картошку копал? Поел-попил и поспал часок... Так что не бузи.

Я смирился.

— Зачем в студию?

— Я же звонил тебе! Говорю, я запел. Тебе понравится. Короче, есть предложение. Давай организуем музыкальный проектик. Типа Alen Parsens Projekt. Я знаю — ты поёшь, голосина тот ещё. Мужики у меня есть, музыканты, песни пишут. Нашего примерно возраста. Старые знакомые. У меня материал клёвый появился. Соберёмся и... В студии звукозаписи свои люди имеются, один из них — мой студент бывший, он меня обожает, сделает бесплатно. Нравится идея?

Мама родная... Что я должен был ответить? А когда Гуня сказал таксисту ехать в Юнгородок, мне стало совсем кисло.

Мы спустились в подвал под вывеской «Ремонт телевизоров». В помещении, разделённом на мини-приёмную и собственно мастерскую, которая, как ни странно, была завалена разномастными «телеками», пахло жжёной канифолью и пылью чужих жизней. Однако ни одной живой души мы не увидели. Зато обнаружили ещё одну дверь в самом конце мастерской. Она оказалась приоткрыта, в щель лился жёлтый искусственный свет.

Ударная установка, сразу двое «клавиш» — «Корг» и «Тритон» — гитары, прислонённые к неоштукатуренным красного кирпича стенам, стойки с микрофонами, клубки и переплетенья проводов и два мужика, восседающих на колонках так же молчаливо, как герои многочисленных афиш, которыми была увешена «студия». Усталых и невозмутимых. Они обстоятельно пили чай из больших, словно по недоумению или для розыгрыша закопчённых внутри, кружек.

Познакомились, пожали друг другу руки, расселись, кто где нашёл место. И как-то стеснительно замолчали, будто предстояло делать нечто аморальное, в чём признаться новым партнёрам требовалось завидное мужество. Наконец бородатый хозяин мастерской (он знал, зачем мы здесь) отставил кружку и потёр руки:

— Ну, давай, Гуня, колись, почто народ от дел оторвал. О чём шуметь будем?

Гуня пересказал идею. Решили послушать всех по очереди. Бородатый включил синтезатор, выдал звук, затем, нажав кнопки, поменял его. Какая-то известная классическая мелодия поскакала по студии, задевая нотками о края и выступления аппаратуры. Гуня мотнул головой:

— Вот такую сыграй.

Он что-то пропел очень низким сдавленным голосом. Бородач тронул клавиши и пожал плечами. Тогда Гуня сказал, что будет петь без музыки.

Гуня собрался, лицо его стало торжественным, одухотворённым и неприступным, как крепостная башня, как средневековый замок, как бы молчаливый, но красноречиво говорящий своим величием о тайнах и красоте мира, о жестокости, благородстве и равнодушии, вневременности божественного и скоротечности людского часа.

Видимо, это и впрямь было наивно и смешно — музыканты прятали улыбки и короткими, падающими долу взглядами, тайком извинялись передо мной за приятеля. Меня же больше пугало то, что я мог услышать. Пугало заранее, потому что за Гуней никогда не наблюдалось музыкальных талантов. Пугало то, что придётся оценивать, что-то говорить. Уж кого-кого — обижать Гуню — всё одно, что обидеть блаженного.

Голос у Гуни звучал низко, густо, выходил монотонно и протяжно сквозь неплотно сомкнутые зубы и губы. С первыми словами отворились массивные двери и открыли путь неровному ветру, густым тёмным лесам по берегам рек, простору с пашнями, зябями, архитектуре сводов и арок, а где-то уже слышится дробный топот конских копыт по дубовому откидному мосту, лязг стали; утро рассекается тяжёлым копейным взглядом сотен застывших горожан, в который вплетаются крики с площади и шелест меча по тишине — крепкие руки палача вселяют надежду, и только чёрная глазница окна, скрывающая дымчатый силуэт дофина, знает тайну...

Бородач наконец ухватил тему и старательно подстраивался под Гуню. Мелодия на первый взгляд казалась неказистой, неправильной, вроде бы спотыкалась и престоупала законы музыкального строя, напроць вылетая из нотной строки, но только лишь на первый взгляд, потому что внутри, в душе слушателя, по крайней мере, у меня, родился очень красивый гармоничный образ. Наверное, это была музыка-мечта, похожая на автора лишь истоками. Может быть, так звучали мелодии средневековья? Или корни её устремлялись ещё глубже, вели к древним обрядам и родовым таинствам?

Я видел, что бородач из уважения к Гуне был подчеркнута серьёзен и работал с усердием, сдерживая улыбку, а его приятель прятал скептические взоры, обращая их темным кирпичным стенам и бетонному полу: эти — безмолвные, не выдадут. В одном я согласился с ними: это была не их музыка. То, что создал Гуня, не являлось ни попсой, ни чем-то из кучи разновидностей рока. И уж, тем более — коммерческой музыкой. Шнитке от массовой культуры? Тем не менее, лично мне очень бы хотелось её услышать в аранжировке с качественным инструментальным сопровождением. И именно в Гунином исполнении — никто другой не смог бы передать внутреннего состояния песни.

Проект был обречён. И не только потому, что ни один продюсер не взялся бы за него. Музыканты — они сделали одолжение: собрались, снисходительно выслушали, поддержали, дабы не обидеть, типа «почему бы нет?». Гуня воодушевился, а я понял — они вряд ли вложат душу и потратят столько времени, сколько необходимо — они заняты собой. Своими, пока ещё не осуществлёнными задумками. Эти седовласые и лысые, располневшие и усохшие рокеры постарели ещё до того, как родился Гунин проект. Мои подозрения подтвердил рокер, который ни с того ни с сего взъерепенился: «Время ищущего рока, где формо и словотворчество самоценны как и идея, безнадежно безвозвратно ушло. Кануло в Лету. В Бездну. В пропасть небытия. И вместе с ним — интерес, ожидание, потребность в такой музыке у публики. Рок стал глянцевым, прилизанным, примерным, как пионер, который может позволить себе ругнуться матом, когда собрал мало макулатуры. Осталась пара-тройка старичков, да трохи из новоиспечённых, чьё творчество греет слух, будоражит чувства. Я не говорю о разнужданном разрушительном буйстве постандеграундных ремесленников кузнечного цеха — скука оргий, серость вызова пустоте. Цунами в унитазе. А музыкальная экзотика, суть движения и развития собственно музыки стала прогнозируемой и предусмотрительной, и от её экзотичности не осталось следа — так, фантомы индивидуальности, не более».

Я удивился, решил, что рокер давно не слушал музыки или хотел соригинальничать. Но после Гуниной песни мне было трудно испортить настроение.

Пришла очередь бородача. Он сказал, что пишет инструментальные композиции и сыграл одну из них. Любопытная вещь. Некий сплав тем из «Спэйса» и оркестра Поля Мориа. Потом за гитару взялся его товарищ. Объявил, что работает в жанре «рок». Собственно рока я не услышал. Жёсткое обличение в словах, скорее, походило на оскорбления, мелодию поддерживали типичные для рок-музыки, типичные до оскомины, если не сказать избитые, ходы, а то, что должно было быть индивидуальным и оригинальным, оказалось блёклым и невзрачным. Тряпочным. На мой субъективный непрофессиональный вкус.

Материал для проекта подобрался жидкий и разношёрстный, и в моём восприятии никак не складывался, не сливался в нечто гармоничное, говорящее. Зато музыка Гуни, хоть и не запомнилась в подробностях, продолжала звучать во мне настроением и интонациями. Когда мы ушли, я сказал приятелю, что если уж он хочет что-то сделать, пусть работает над своими песнями.

Позже выяснится, что в студии бесплатно запишут только одну песню, и Гуня подарит эту счастливую возможность рок-обличителю. Грустно.

Я притоптал окуроч и вернулся в рюмочную.

Они хлопали. Хлопали от души под одобрительные выкрики. Мачо деловито подошёл и, потрепав Пижона за плечо, торжественно пожал ему руку. Маня-Ира же полезла целоваться, и, как Пижон ни уклонялся, всё же достала его усталыми целеустремлёнными губами. А командированный заказал для нас водки и, чокаясь по третьему разу, напропорчил Пижону большое эстрадное будущее. Мы засобирались.

— Всю жизнь мечтал сыграть на публике! — шепнул мне Пижон.

Он был радостно возбуждён и едва-едва скрывал ликование.

— А чо они, не люди? — ни с того, ни с сего, будто споря со мной, бросил он.

Маня-Ира вновь оказалась возле нас, какая-то решительная и драматичная.

— Забери меня отсюда... — сказала она Пижону. — Забери, а? Я тебя всю жизнь любить буду. Пить брошу. Я красивая. И верная. Забери, родной!

Пижон растерялся. А на глазах женщины появились слёзы. Они долго скапливались, не срываясь, будто их сдерживали мелкие, как плавники у малька, ресницы. Она горячо взяла парня за руку и поцеловала её, почти всю кисть залив влагой своей боли. Трудно сказать, насколько старше Пижона она была.

— Я в постельке... Я, знаешь, ого-го какая в постельке! Опостытело мне всё! Не могу больше. Я, между прочим, в Щукинское поступала. И прошла! Только вот... Я на работу устраюсь! На фабрику или в ателье. Я ведь швея! Знаешь, как я умею шить?! А-а... Слышь, возьми меня с собой, а?

Пижон ошалело смотрел то на неё, то на меня. И вдруг заговорил с удивительной для меня теплотой в голосе:

— Иришь, ты что? Да брось ты плакать... Вон у тебя мужик видный какой...

— Алкаши безработные! Мразь сраная... Ненавижу их! Слышь, ты! — она обернулась к собутыльникам и громко произнесла: «Я вас всех ненавижу!». — А ты — ты вон какой милый, талантливый, красивый... Я одна не вылезу из этой грязи, ты понимаешь это?!

У неё потекли слюны, она плакала, не обращая на окружающих внимания. Пижон взял салфетку и вытер Мане-Ире нос. Та, как маленькая девочка, покорно высморкалась и притихла, почувствовав внимание и заботу.

— Ир, ты меня извини, но я уже женат...

— Да? — вдруг неожиданно сильно поразила её, словно дитя, подгладевшее, как за кулисами Дед Мороз снимает накладную бороду и грим.

И, не сказав ни слова, понуро отправилась прочь из рюмочной.

Мы ушли почти следом. Я нашёл Маню-Иру взглядом: она таяла в противоположной стороне неровной походкой с опущенными плечами, жалкая, будто под проливным дождём.

— Не знал, что ты женат, — я был крайне удивлён.

— Ты ещё много не знаешь... — загадочно ответил он.

— И на ком, если не секрет...

— Хм... — Пижон посмотрел на меня, чуть прищурив глаза, и сказал: — Ты с ней знаком...

Я насторожился. Он выдержал многозначительную паузу, потом озорно мне подмигнул и выпалил:

— На Свободе! И пока разводиться не собираюсь!

И окатил улицу водопадом вольного «йо-хо-о!!!».

«Хитро отшутился», — подумал я.

Мы сели на кухне. Меня ждали: на плите стояла тёплая сковорода с жареной курицей, а в накрытой полотенцем кастрюле томилось пюре в расплавленном золоте сливочного масла. В ванной журчала вода, слышалось движение — видимо, она принимала душ.

— Жена? — склонившись ко мне, шёпотом спросил Пижон.

— Угу, — я извлёк из себя звуки несколько неуверенно и удивлённо.

— Ругаться не будет?

— Не-а... Она у меня мировая баба! — неожиданно счастливо сказал я, разливая водку по рюмкам.

— Редкий случай... — с интонацией знатока, недоверчиво качнул головой Пижон.

Выпив, я потянулся за гитарой, чем изрядно удивил гостя. Со мной иногда случается: приличная доза алкоголя вызывает во мне музыкальную бурю и тогда я не пою — я выпускаю пар бродящих дум и пе-

реживаний с мощью паровозного гудка, чтобы без остатка и до острых кончиков далёких звёзд — пусть срываются и падают... Однако первой песней обычно выбираю тихую, с неспешным раздумьем вещицу, которую написал мой приятель. Написал в день рождения, когда ему исполнилось сорок. Пижон перестал жевать и с неподдельным вниманием приготовился слушать. Я тронул струны.

Я долго буду в небе бродить,

как по твоей далёкой земле.

Я буду без конца говорить,

но все мои слова о тебе.

Я часто буду думать, мечтать

о волнах и больших кораблях

в состарившихся грёзах и снах,

в слезах на глазах...

Но что-то в этом мире не так:

я должен дать слепому глаза,

а нищему я должен пятак,

а детству — оглянуться назад.

А смерти должен целую жизнь.

И я её, конечно, отдам...

Вот только поброжу по годам

и сразу отдам.

Я забылся и уже не смотрел на Пижона, который замороженно уставился куда-то, по-моему, на кончик ножа. А я затянул припев:

Может, Боже, я пойму, что сердце гложет?!

Может? Может...

В это время щёлкнула дверная задвижка в ванной и она скользнула в комнату. Пижон не пошевелился, как-то уж очень серьёзно вслушивался в слова песни:

А дома чисто, тихо, тепло,

как в детстве, пироги на столе...

Малец спустил на озере плот

с мечтою о большом корабле...

Куда его волна понесёт

и где судьба застанет врасплох?..

А, в общем, мир не так уж и плох,

как выдох и вдох.

Я отставил гитару — она глубоко охнула, со звоном, словно ещё не всё сказала, словно всё ещё переживала и прощалась с мелодией. Пижон сидел тёмным лицом, потрясённый по-настоящему. Затем молча взял бутылку, отчаянно плеснул в рюмки.

— Знаешь, — начал он глухо, собираясь с мыслями. — Нет, не то... — и тут же, будто проснувшись, выпалил: — А ты можешь научить меня дышать?

— Нет, — сказал я и украдкой посмотрел на него.

Мне показалось, что он повеселел. Лицо его посветлело, а в глазах проступила тихо ликующая уверенность, как желанный берег в рассеяншемся тумане.

— Если тебе в общаге плохо, можешь жить у меня, — в странном порыве теплоты сказал я.

Пижон просиял.

Бывают такие неотчётливые движения души, похожие на слабую сейсмическую активность земли, понять природу которых не всегда удаётся. Они-то и порождают порыв — благородный ли, низменный ли, он бьёт, вырывается наружу, опережая рассудочность мыслей. Чаще всего, по субъективным же причинам, эти тайные побуждения так и остаются неразгаданными. И, как ни странно, могут прекрасно сосуществовать или даже быть связанными с теми знаниями, однако связь эта вряд ли будет когда-либо установлена — никому до этого уже и дела нет, когда новое свежим в лицо дышит.

Послышались шаги и в кухню вошла она: румяная после душа, чистые светлые волосы аккуратно уложены. Облегающие джинсы и розовая блузка сделали её, стройную и не очень высокую, похожей на миленькую студенточку, едва ли не ровесницу Пижону, хотя она ему годилась в матери. Она вдруг, увидев гостя, застыла в изумлении.

— Ты? Здесь?! — Пижон от неожиданности привстал, странно посмотрел на меня, опустил на табурет и снова встал.

Два удивления. Одно сильнее другого. Румянец исчез с её лица, а в глазах звенело отчаяние. Поразился встрече и я. Она смутилась. В струнах гитары сами по себе вспыхнули нестройные звуки.

— Я уже собиралась уходить, — сказала она, поднимая со стула сумочку.

Он чуть приподнял руку:

— Останься.

Мне показалось, что её глаза увлажнились.

— Я тебе всё объясню, — не быстро, но взволнованно сказала она.

Вместо ответа он посмотрел на меня и с едва заметным вызовом спросил:

— Ты мне тоже что-то хочешь объяснить?

— Нет, — сказал я и твёрдо посмотрел в его глаза.

— Отлично, — бросил Пижон и растерянно огляделся по сторонам.

— Пойдём — тихо скала она и тронула его за руку. И добавила, мельком глянув в мою сторону: — Мы пойдём, ладно?

И после их ухода будто в квартире стало полнее.

* * *

Мир потихоньку сошёл с ума: компаньон покрестился. А я стал его крёстным отцом! Как он мимоходом мне признался, сделал это для

жены. «Прилепилась, как банный лист!» И правда, компаньон не верил ни во что, кроме кастета в кармане. И, когда предложил мне пойти в воскресенье в церковь, был слегка смущён — состояние, которое ему вообще не свойственно. Однако после обряда выглядел весьма довольным и гордым, каким-то особенно свежим, новым. Хотя и пытался время от времени скрывать от меня радость обновления. А я понял, что совсем не знаю друга и занят только собой, иначе увидел бы зреющие перемены раньше.

День сочился солнцем, а небо, наполненное лёгкостью, возносилось в выси огромным воздушным шаром.

— Ну что, сын мой... Блудный... Как тебе в новом качестве?

Он усмехнулся довольно и посмотрел куда-то вдаль.

Если кто-то из знакомых вдруг спрашивал его, «как дела?», он отвечал шутливой угрозой: «Пусть не лезут!». Постоянная жёсткая готовность ударить первым напрочь исключала какие-либо сомнения: всегда прав, нужно атаковать — атакую!, а уж тем более не подразумевала раскаяния или хотя бы сожаления, когда выходило, что он совершил ошибку. Он мог признать её только внешне, если того требовали понятия. И не больше. А тут вдруг...

Вдоль дороги из храма и у ворот горбились или сидели на асфальте нищие. Компаньон не пропустил ни одного, а когда закончилась мелочь, стал раздавать деньги бумажные. Но ведь попрошайки стояли и утром, по пути в церковь. Однако я не припомню... — стоп! Лида пошла подавать, а компаньон вытащил медь и сунул жене в руку: «Иди, отдай».

В другое время нищий не удостоился бы и взгляда, а если бы, не приведи, дёрнул, например, за рукав, махом получил бы в зубы. Во дела... Он, конечно, почувствовал моё удивление и бросил деловито:

— Делиться надо, брат. У меня свой бизнес, у них — свой.

И ведь хитрец, нашёл объяснение на своём языке, понятном нам обоим. И со мной-то он решил юлить?! Не угадал.

— Как-то ты не по-православному речи ведёшь...

Он резко остановился и поднял щитом ладонь:

— Так, стоп. Не так быстро. Хорошо, я сам ещё не всё понимаю. Наверное, так надо. Доволен? И не читай меня, добро? Жизнь течёт, всё меняется. И мы с тобой, брат — тоже. Тоже должны... Старею, наверное. Устал пружину в себе держать. Тепла иногда хочется. Вот такая новая музыка.

Жена его, Лида, чуть приотставшая, видимо, услышала слова компаньона, в шаг догнала мужа, вдруг обвила его рукой и чмокнула в щёку. Он тут же урезонил её:

— Ну, ты тоже, мать, нашла место...

В добрый путь, друг мой, в добрый путь. Лично мне пришёлся по душе поступок компаньона. Видно, я тоже старею и меняюсь. Конечно, покреститься — ещё не значит быть верующим. Хотя я не знаю, что это такое — быть верующим.

— Гуня умер, — ни с того, ни с сего сказал я.

Компаньон наморщил лоб. Тут глаза его обрели полноту, а губы съехали в сторону:

— А... Этот что ли... «Остановите Землю, я сойду»?

Случилось это года два-три, а может, четыре назад. До меня докатилась странная молва. Экзотичность и романтизированность, которыми она сочилась, заслуживали насмешки и недоверия, если бы речь шла не о Гуне, а о ком-то другом, из нашей эпохи. И если бы я не узнал истоков её из первых уст.

Довольно запутанная, неясная история. Выходило, что Гуню отлучили от церкви. Гуню и какую-то прихожанку. Почему-то бедной девушке досталось много больше, чем приятелю. Говорили, что молодой священник-иностранец лютовал и неистовствовал: то ли донёс кто-то (доброхотов везде хватает!), то ли тайна исповеди оказалась для святого отца слишком тяжёлой ношей, намекали — не беспочвенно, и была нарушена. Что стало с девушкой — никто не знает. Судя по слухам, изгнанная и публично опозоренная, она долго мучилась и страдала, отчаянно стучалась в людские сердца, долгое время мужественно приходила на службы, чтобы вновь и вновь ловить косые гневные взгляды, истерический шёпот и указующий перст, пронзающий навывлет своды храма. А потом замкнулась и пропала из виду совсем. Возможно, уехала из города. Но звучали и более драматичные предположения. Молва — великий творец!.. Словом, сказка сказкой. Классическая легенда, со всеми присущими жанру прибабасами: где ж тут поверить?

История эта застала меня врасплох, но я настолько был перегружен в то время работой, что тут же выкинул новость из головы.

Зима — отвратительная: каша под ногами, сырой ветер до костей с ошмётками снежно-дождевых плевков, нацеленных в лицо, куда бы ни повернул голову. Уже неделю мрачное небо отражается в лицах людей, которые торопливо спешат вдоль потемневших домов к уютному очагу. Почему-то я разрешил себе захандрить, хотя всяческие простуды и лёгкие недомогания с температурой обыкновенно переношу «на ногах». И потому что привык, и потому что нет никакого удовольствия болеть в одиночестве. Кто склонится над стонущим, кто подаст лекарство и куриный бульон, кто присядет на край кровати и сочувственно посмотрит ему в глаза? Перед кем, болезному, прикрыв веки, постанывать, тихим умирающим голосом взывать, чтобы уняли вторым одеялом студёную дрожь в теле. А потом убрали его: жарко. И снова накрыли... Вот тут и шевельнётся предательская мысль: не обзавестись ли ею, единственной и постоянной, дабы коротать жалкие дни во взаимной заботе и внимании?

Нет, без шуток, болеть, когда ты один-одинёшенек, несносно. Поэтому я очень хотел, чтобы из кухни слышалось позвякивание посуды, струились запахи, хоть они, скорее, раздражают, чем радуют, чтобы где-то рядом в кресле шелестели страницы книжки или журнала и вдруг возмущённый женский голос гневно вступился за Желударию и размазал по стенке дважды изменщика Хосе Фернандеса, чтобы действительно кто-нибудь принёс и поставил на столик возле кровати чай с лимоном.

Но парикмахерша Оленька уехала завоевывать призы на столичном конкурсе, Надюха отрывалась с мужем (пришлось вежливо и учтиво через преувеличенную хрипотцу и самодельный кашель поздравить её с юбилеем семейной жизни — «блин, я бы с радостью, но даты жизни, как даты смерти — отдай, и я, я такая дура, я его сегодня люблю» — и уже шёпотом: «он предложил мне на бильярдном столе, нет, не то, в буквальном смысле! Как думаешь, согласиться?»), а Галка — Галка просто сказала, что такая жизнь ей обрыдла, что я бегу к ней, когда у меня пищит «конец», погибают душа или тело, так пусть погибают, может, подохнешь? А мне ни думать, ни виниться, ни огрызаться не хотелось.

Я квёло попытался представить себе, как моя цыганка ухаживает за мной, но у меня ничего не вышло. Будто какое-то особое содержание никак не вписывалось в неподходящую форму. Думаю, это была злобная месть шикарной женщине за то, что она никак не могла быть рядом со мной.

Вообще-то, как ни странно, я ждал её. Неосознанно. Тонко и чуть то-скливо. Но и она не пришла. За этот год мы виделись раза три, не более.

Пришёл Гуня. Я тупо смотрел телевизор и ни о чём не думал. Горсть таблеток, которую я насилу втолкал себе в глотку, немного привела меня в чувство. Однако голова оставалась туманной, а интерес к миру — отшельническим. Только что отзвонился компаньон: «Не дёргайся, на работе лады, болей спокойно, налегай на витамины, а лучше — на «полтинник» водки чайную ложку чёрного и столько же красного перца (о чём сам я знал со времён незапамятных), завтра привезу соки и пожрать».

Гуня был весел. Сначала. Что-то щебетал, сидя в кресле и попивая апельсиновый сок. Потом торжественен и светел. А затем с его лицом и глазами творилось что-то невероятное: лицо размягчилось, стало непослушным, а глаза то прятались, то переполнялись с избытком самих себя. Глаза и лицо, похоже, стеснялись друг друга, будто в чём-то обвиняли, норовили бежать прочь от вынужденного соседства. Я вяло кивал ему, отвечал иногда. И не слышал. И вдруг проснулся от смысла дошедших до меня слов:

— Она прихожанка, понимаешь. Сначала я заметил её на службе. Раз, другой. Как-то мы из храма вышли вместе и гуляли часа три, просто разговаривали и бродили по городу. Она призналась мне, что, как и я, почувствовала необыкновенно сильное и растущее чувство об-

щности. Меня потянуло к ней безумно. Всем существом своим я чувствовал с ней родство и близость. Я думал, что нас объединяет вера, посещение службы, некая клановость. Я лукавил. Я врал. Я гад, я сволочь. Я смотрел на неё как на женщину. Чудную, молодую. Но не просто. Это не всё. Что-то ещё будоражило меня — теперь я знаю: я хотел, я жаждал впасть в грех! И, оказывается, я не просто ухаживал за женщиной, нет. Я совращал прихожанку! Единоверку.

— Что ж тут особенного?! Напротив, всё логично. Кто-то выбирает по национальному признаку, кто-то по вероисповеданию, как например... не важно. И почему не сблизиться с человеком, если и познакомился в храме? Не вижу...

Он не дал мне договорить:

— Ты не понял. Или я неясно выразился. Я думал об этом в храме во время службы. Сначала я устыдился и чуть не плакал, как от ожога. Боролся, закрывал глаза и молился. А потом — сдался. Нет, не сдался! Я специально — но это дикое моё возбуждение! — стал думать о ней так. Представь, она пришла очиститься, думать о светлом и о душе, приблизиться к Богу, а я тащил её к себе, в грязь греха прелюбодеяния. Меня именно противоречие, именно её борьба с этим грехом, именно её желание предаться ему и лихорадило. Я страшный, да? Да, да. Я гнус. Я — урод! Гореть мне в аду.

— Успокойся. Не накручивай себя. Первые мысли, и жуткие, чёрные, в том числе — обуздать не в наших силах. Они могут прийти в голову любому. Важно то, как ты ими распорядился, что делаешь и что думаешь по их следу. И пускаешь ли в другой раз. Женись и живи себе. Чего там...

— Я ещё не развёлся. Ты ничего не понял. Я не хочу на ней жениться. Хотя, очень хочу. Но потом. Я написал двести стихотворений! Двести. Половина из них — о ней. Добрая часть покаянных. О нас с ней. Остальные — об этой тёмной страсти, воспевающие прелюбы, обнажающие грех и пьющие сладость низменного. Она вдохновляет меня. Она перемалывает меня, как мясорубка, до хруста костей...

— Очень поэтично...

— Ты не понял. Она рубит меня на куски — то есть даёт мне такой силы покаяние! Невообразимой силы! Я как без кожи! Всё больно! Каждую клеточку, сердце, душу — всё, всё, всё! Только я вот чего боюсь: скоро большой праздник, время исповеди... Я мог бы исповедаться раньше, но я коплю и коплю. И не решусь никак, потому что это не только моё дело. Я так хочу этой исповеди... О, я умираю и трепещу от сладкого страха, боли и слёз, как я жду исповеди... У меня сердце уже трещит-разрывается только от желания и предчувствия. Но ведь тайна-то не только моя! Она же и её касается? Это её тайна. Как быть? Как мне быть? Кого из них предать? Ведь это будет предательство! Предательство. Как ни поверни.

У меня внезапно разболелась голова и, кажется, поднялась температура. Я закрыл глаза и откинулся на подушку. А Гуня всё говорил и говорил, то возникал в кресле, то пересекал комнату, то входил в неё из коридора. И говорил, говорил...

Я проснулся утром. Проснулся совсем здоровым. Гуни, конечно же, в квартире уже не было. История с прихожанкой ничуть не тронула меня, лишь мимолётом возникла цепочка вопросов «почему именно католичество (или это были ветви протестанства? Или какой-то иной веры? Скорее всего, это была секта!), чем ему православия мало было?» и растаяла, не требуя ответа. Я открыл форточку — с затхлым болезненным духом в просветность улицы утянуло последние обрывки разговора и тёмный силуэт приятеля. Вскоре свежие колющие волны утра смешались с кроведвижущим, раздвигающим просторы ароматом кофе — я собирался на работу.

Наконец-то ударили настоящие морозы.

Обмывать крестины мы подались в загородный дом компаньона. Мне предложили место рядом с водителем, а компаньон и Лида устроились на заднем сиденьи. Водитель компаньона Саня, молодой парень из потомственных шофёров, за баранку автомобиля сел раньше, чем начал ходить. А вот молчать в дороге научиться, что ему вменил компаньон как служебные обязанности, ни почём не мог. И теперь вздыхал и ёрзал на сиденьи — распирало его от какой-то истории. Как оказалось, про какую-то аварию.

Но компаньон его не прервал, как делал обычно. Похоже, паренька никто не слушал — все были заняты своими мыслями. Лишь Лидуха ужаснулась чему-то и быстро перевела разговор на вчерашнее кино, комедию, которую Саня, конечно же, смотрел... Хотя бы не так драматично.

Едва открылись ворота, как к машине через весь двор устремилась свора собак. Они неслись во всю прыть, пасти открыты, языки болтаются концами пионерских галстуков. Вперёд вырвался ротвейлер, за ним голова в голову летели стаффорд и ризеншнауцер. Тут же поспевал боксёр. Не повезло суке Алисе, умненькой колли, которая, значительно отстав, ковыляла и поскуливала — в недавней битве зубы кого-то из собратьев чуть не перемололи ей лапу.

Собаки облепили автомобиль со всех сторон, требовательно лаяли, виляя хвостами. Их лапы скрежетали по кузову и стёклам, а оскаленные морды оставляли мутные облачка и пенные кляксы. Боксёр Джерри, как обычно, не в силах сдержать радости и физиологического позыва, побрызгивал во все стороны мочой.

Меня коробило от этого зрелища, особенно, если представить как они сейчас начнут обнюхивать тебя, слюнявить брюки, тыкаться мордами между ног, отчего хозяйство стыло и панически, но безуспешно

норовило скрыться в телесах... Тем не менее, со своим уставом в чужой монастырь не лезут — его дело.

Компаньон баловал псов. В отличие от членов семьи, с которыми мог быть не только строгим, но и суровым, собакам позволялось всё без исключения. Для них выстроили миниатюрный специальный домик, внешне похожий на традиционный человеческий. Псарня была высотой примерно метр семьдесят в коньке, но имела несколько комнаток, а съёмная крыша позволяла убираться и время от времени находить пропавшие из особняка вещи. На самом же деле жилищем для собак являлась вся усадьба и хозяйский дом, в частности. Жена и сын компаньона втихую или открыто старались не впускать, по-моему, полумных псин в помещение, однако хозяин не закрывал дверей перед любимцами. И тогда легче было участвовать в разгроме, чем остановить его. Может, я несколько преувеличиваю, может, в моих словах тень раздражения и есть, но скомканные покрывала на кроватях, цыплёнок табака, исчезающий со стола у всех на глазах, обглоданный и разодранный ботинок, купленный в Италии — это не мой стиль.

И вдруг — о чудо, о сказка, о... Компаньон увлёк свору за собой, по пути нырнул рукой в кастрюлю, захватил полную пригоршню маринованного мяса, швырнул его в псарню и запер собак. Он сказал: «Лид, принеси закуску к голубятне». Он сказал «к голубятне». И только тут я заметил новую постройку с антенной на сесть-шеста у берега пруда. Возле голубятни — вымощенная площадка, скамейки, как в советских парках, с плавным изгибом на чугунной основе, и маленький столик. Я потерял дар речи. Впрочем, не совсем:

— Ни хрена себе...

Голубятня была очень похожа на ту, «безымянскую», разве что размером много больше: также обита железом, также стальные решётки на окнах, также несколько видов замков с хитрыми ключами... И это при полной обойме постоянной охраны, видеокamer и отпугивающих эффектных сигнализаций! И краску-то умудрился подобрать один в один, то ли серо-зеленоватую, то ли серо-голубоватую. Дело принципа... Дело особой важности и ценности — он возвращался не к увлечению, он возвращался к себе. А это непросто... Истинное возвращение не приносит ностальгической болезненности и разочарования, а именно так случается, когда ты по избытку времени прибываешь, например, в места, где провёл счастливые дни. Здесь радость, как калека, идёт под руку с грустью и, кто кого из них ведёт, вопрос риторический. Вокруг вроде бы всё, как тогда, но что-то неприметно изменилось, как пыль скрывает блеск и сияние, отчего кажется, что и сама форма слегка поменяла очертания — почему-то уменьшилась в размере: и площадка детская, на которой не хватает качелей, барабана для бега, песочницы, и сам двор, улица, площадь, дома... Люди. Люди ходят, сидят, что-то делают, может быть, смеются (самоуверенно, конечно!), ругаются, це-

луются, играют в шахматы — они сами по себе, вырезанные и вставленные, другие, как инопланетяне, не понимающие твоего присутствия здесь, как и ты — их, они никак не вяжутся, не увязываются с твоим местом. Но проходит минута: тебе здесь уже неловко, неудобно. Теперь здесь по-другому пахнет и в воздухе марит чужое время. В нём сплоскими вспыхивают знакомые лица, разом протекают события и исчезают моментально, не в силах удержаться в новом измерении. Это не они, это ты *чужой*. Это возвращение к невозвратному, возвращение к осознанию утраты. Тяжёлая штука. Компаньон стремился к возвращению обретения. А это совершенно иное.

Я посмотрел на компаньона — он выглядел загадочным и довольным, хотя тщательно, это тоже было заметно, скрывал бушевавшие чувства.

Саня тащил коробки с коньяком и пивом.

— О, — радостно возвестил он, — уже и банькой пахнет! И угли в мангале раскошегарены... Умеете вы, шеф, всё устроить!

— Умение организовать — это искусство сродни поэзии и первая предпосылка достичь чего-то значительного в жизни. — Компаньон был настроен благодушно, поэтому щедро дарил мудрости. — А ты чего, Саня, от жизни хочешь?

Саня недоумённо посмотрел на шефа:

— То же, что и все...

Компаньон стянул одной рукой белую тенниску, перекинул её через спинку скамьи и направился к кастрюле с мясом, что стояла под навесом на высоком пне неподалёку от мангала. Я тоже поднялся и пошёл следом.

— Значит ничего. Бесполезно мечтать об абстрактном благополучии. Мечта должна быть конкретной, предметной, физически ощутимой. Например, хочу быть президентом или космонавтом, хочу иметь белую яхту или собственный остров в океане, хочу совершить кругосветное путешествие или вылечить всех людей от СПИДа. А теперь я повторяю свой вопрос. Так что?

Он снял со столба, поддерживающего навес, длинный кожаный фартук и надел, отчего сразу стал похож на кузнеца.

— Ну... Не знаю. Вообще-то мне нравится, как я живу. Денег получаю достаточно, работой доволен... Я ещё молодой, так круто задумываться. У меня всё ещё впереди.

— Молодой, говоришь? Смотри, не проспи драгоценный случай, а время — оглянуться не успеешь: р-раз и уже седой, а корыто разбитое. Я уже в семь лет решил, не мечтал, слышишь, а *решил*, что в корне изменю свою жизнь! А теперь предпосылка вторая: нужно быть позитивно, созидательно недовольным своим положением. То есть не ворчать и сетовать, а быть готовым что-то делать, чтобы приблизиться к цели. А «что-то делать» — есть третье условие. Каждый день должен делать-

ся шаг, два, три... И каждый новый шаг — качественно новый по ценности. Просыпаешься утром — только с мыслью о том, за что возьмёшься сегодня, если отдыхать и расслабляться, то только чтобы набраться свежих сил для нового рывка, если есть и пить, то только чтобы этих сил прибыло, а не ubyло, если общаться с кем-то, то в итоге ты должен получить толчок и движение вперёд...

Он насаживал на шампуры куски мяса так, будто делал те самые шаги, о которых говорил.

— Так и свихнуться можно. Мутота какая-то. Разве это жизнь? — Саня посмотрел на меня, ища поддержки. Я нейтралитетно улыбнулся.

— Открывай пивко. Пей, — бросил как бы между делом компаньон.

Саня не заставил себя уговаривать, откупорил три бутылки и принёс нам. Затем отхлебнул из своей.

— Вкусно? Нравится? — неожиданно спросил компаньон. Саня осклабился, смакуя напиток. — Если то, что ты надумал достичь, тебе по-настоящему нравится, по-настоящему *твоё*, то и дорога к нему будет в удовольствие, в радость. Какой бы извилистой и трудной она ни была. Я пиво не буду. Мне коньячку плесни, пожалуйста.

Саня в растерянности как-то по-детски погрозил своему шефу пальцем и причмокнул, качая головой и переваривая шефову хитрость. От дома к нам шли Лида и приходящая по вызову повариха. Женщины несли пакет с посудой и огромные блюда с закусками, красиво разложенными и украшенными зеленью, дольками лимона, оливками и маслинами.

— А у Вас-то какая цель в жизни? — пришёл в себя Саня.

— Правило следующее: не трепись, Саня, на всех углах о сокровенном — народ нынче завистливый, глазливый и вороватый. Тут, конечно, все свои... Но сказанное — да улетит. Уразумел?

Саня «угукнул» в ответ и наморщил лоб. И, с сомнением покачав головой, спросил недоверчиво:

— И что, у Вас так жить всегда получалось?

— Нет. Не всегда.

— Почему?

— Куролесил по молодости... когда из-за собственной дурости и лени, когда подсказать некому было.

— А если бы Вам подсказали, послушались бы? Только не врать! Не врать!

Мы улыбнулись, следом расцвёл и Саня. Компаньон помолчал, подумал о чём-то, хмыкнул.

— Ну... Один-один. А вместо совета тебе — маленькое жизненное наблюдение: помни, Саня, самый короткий путь может оказаться бесконечно длинным. А теперь иди-ка сделай что-нибудь общественно полезное. Например, мясо насади, — сказал Сане компаньон, а мне загадочно подмигнул и, скинув фартук, шепнул: «Пошли».

Мы зашагали, как я и подумал, к голубятне. Ещё полотенце, которыми мы вытерли руки, не приземлилось возле ног Сани, как тот закричал нам вслед:

— А голуби?! Голуби Вам зачем? Они тоже помогают идти к цели? Или просто ради удовольствия?

Компаньон обернулся и хитро прищурился:

— Это отдушина. От души... Уразумел? И дразнилка такая.

— Не понял, — слегка опешил Саня.

— Как бы сказать... Положительный раздражитель. — Он посерьёзnel. — И символ той самой цели, её зримый образ. И, если хочешь — талисман. Допрос окончен? Я свободен?

И, когда мы отошли, он сам себе тихо ответил — я едва разобрал слова: «Свободен, как никогда...».

— Ты мне ничего не говорил, — сказал я без обиды.

— Хотел сюрприз сделать. Я ж помню, ты не меньше меня растроил-ся, когда я птицу продал.

— А Лидка..?

— Плевать. Да она и не вякнула даже. Как будто голуби у нас всю жизнь были. А сейчас ты спросишь про мнение «важных людей»... Повёлся я тогда, словно башка помутилась... Слабину дал. Так ты не хуже меня знаешь: сильному в рот смотрят, прощают всякие причуды и мелочи...

— Сильному — прощают всё. Пока он в силе.

— Ну! Так о чём разговор?! — весело воскликнул он.

Загremели засовы, щёлкнули замки и из открытой двери выкатил плотный тёплый дух птичьей жизни, преисполненный воркования и хлопков крыльев. Да, новая голубятня была гораздо просторнее прежней, с отделениями и клетями, да и пернатых оказалось в три раза больше. Голуби выглядели чистенькими, здоровыми. А как только компаньон протянул руку, сразу же несколько птиц, которые почему-то не были рассажены по личным «домикам», взмахнув крыльями, устремились к хозяину. Места на руке хватило лишь двоим.

— Ох, вы... Ох, красавцы... Соскучились по мне? Не врите — по небу соскучились, притворщики... По свободе... — беззлобно ворчал он, не скрывая любования.

Я знал всё, что будет дальше: он отловит самого любимого или недавно купленного диковинного голубя, расскажет, почему у него висит или не висит крыло, любит ли он купаться и как это делает, какие болячки могут прилипнуть к этой породе, про особенности строения, окраса и полёта, затем выпустит его в небо, а Лидка шепнёт мне без тени сожаления: «Знал бы ты, сколько стоит этот красавец!..». Я уже улыбался в приятном предвкушении. Не скажу, что с интересом вникаю в тонкости птичьей кухни, но для меня посиделки и рассказы у голубятни, как для кого-то оперная ария на итальянском или рок-бал-

лада на английском в исполнении любимого певца, как, собственно, поход на концерт — о, давно я не слышал этой знакомой песни.

— Что, мальчишки, как раньше, а? Так классно! У-ии!.. — запищала Лидуха и сжала кулачки у груди.

* * *

В семь часов — обычное время её возвращения домой — она не пришла. Не объявилась и в восемь. Оставив приготовленный ужин нетронутым, я решил перекусить в ресторане: музыка, вино, приятные женщины за соседним столиком и ты, исполненный холостяцкой скуки, с поношенной гордостью в облике и шаловливыми желаниями под морщинистым лбом. Игра... Не думаю, что я отправился её искать.

Вечерние улицы, освещённые, как днём, витринами и горящими вывесками заведений, гудели людьми и автомобилями. Я был не прочь встретить кого-нибудь из знакомых. Поэтому обрадовался, когда меня окликнули. И даже этот мимолётный разговор прибавил мне настроения, словно подчеркнув *наличие* социальных отношений в моём обособленном лобачёвском мире.

Я заметил её — она выходила из ресторана. Тёмный силуэт в свете стеклянных дверей. Где-то под желудком тут же родилась волна и дошла до сердца. А в голове отчётливо прозвучало: *она*. Я не удивился, не задумался. Она спустилась по ступеням и вошла в облако неоновой света. Не знаю, что в первую очередь бросилось мне в глаза: то, что она отпадно одета, или то, что плачет. Я заволновался.

Нас разделяло несколько шагов. Я преодолел их и остановил её, коснувшись рукой плеча. Она вздрогнула, как от ожога, быстро развернулась и вlepила мне пощёчину. Потом, в изумлении, будто увидела не того, кого ожидала, с новым испугом прикрыла рукой открывшийся рот. Неизвестно откуда стремительно вынырнул Пижон. И съездил мне по морде. За короткие секунды милого вечера это стало доброй традицией. Мне захотелось её нарушить. Я двинул ему в челюсть все силы, но он упал на асфальт. Она тут же замахнулась на меня вновь, но рука зацепилась за толстый красный крендель-луч буквы «А».

— Прекратите! — прокричала она.

Он поднялся. Она набросилась на него:

— Ты за мной следил? Как ты посмел? И какого чёрта ты кидаешься с кулаками на всех подряд?

— Ты плачешь! — выкрикнул он.

— Он тут ни при чём!

При этих словах она вдруг с удивлением на долю секунды посмотрела на меня, перевела взгляд на него, затем снова на меня и сказала:

— У нас будет время поговорить. Потом, ладно? А сейчас оставьте меня в покое.

И зашагала с трудом, но уверенно преодолевая перламутровые воды вечерней улицы.

— Извини, — сказал он, потирая подбородок, как бы говоря, что мы в расчёте. Пожал плечами и двинулся за ней.

Он ушёл, а его профиль остался. Как старинная почтовая марка на конверте — нет уже в живых ни владельца письма, ни человека, чей образ увековечен на теперь бесценном квадратике бумаги. Но лик на марке отпечатан и прячет за собой целую эпоху в истории человечества. И я вдруг понял, кого ещё мне напомнил Пижон.

Как-то ребята постарше, полноправные студенты-первокурсники госуниверситета, позвали меня на дискотеку. Предупредили: тематическая, там не танцуют, там смотрят и слушают! Более того — дискотека по Достоевскому!.. (Почему нет?! Поставили же балет «Анна Каренина»!) Честно говоря, я не всё помню в подробностях, однако впечатление было сильнейшим: что-то новое, вольное, дерзкое, шедшее вразрез советских норм и правил, при этом художественное и мистически глубокое; а ты — ты соучастник и сотворец, и азарт, охвативший тебя, воспаляет глаза и заставляет говорить вполголоса...

В киноконцертном зале Дворца культуры народу — не продохнуть. Студенты и их друзья-приятели шумно и весело ждут начала. На сцене — стол в правом углу и пульт диск-жокея, висит небольшой экран. Туда-сюда бродят, то появляясь из-за кулис, то вновь пропадая за ними, какие-то длинноволосые парни в белых длинных рубашках. Кажется, один из них, тот, что поменьше ростом, носит маленькую бородку и усы. Наконец гаснет свет...

Напрочь стёрлось из памяти, что и в каком порядке происходило... Но под музыку Пинк Флойда (!) сменяли друг друга слайды, выполненные в графике: вот Петербург с мостами и пьяным прохожим, вот каморка студента Раскольников, похожая на шкаф, а это — паутина, в которой запутался топор, завис в клейких нитях, так и не разрубил-таки тенета обманчивой теории; паутина, белёсая на чёрном — видимо мысли студента, его страх, его болезнь и болезненное желание *самодоказательства* с чаением изменить судьбу, себя, изменить жизнь и течение соков мира. А когда музыка уходит в фон и звучат слова первого монолога главного героя, лучом света высвечивается косматый профиль диск-жокея. И увеличенной тенью проступает на экране! Это был профиль Паганини и Иоанна Грозного, Томаса Мора и Ницше, Кеплера и Блеза Паскаля, Джона Леннона и... Высокий лоб открыт, упрямые пряди волос будто пятернёй кое-как отправлены назад, надбровные бугры нависают над горбинкой носа. Эта горбинка притягивает взгляд. Она живёт сама по себе — нервная, чуткая. В этой горбинке собраны все Знания Мира, вся Гордость Мира, Воля Мира. И противоречия, войны, немыслимые подарки размером в романы или целые государства. В ней гудит, обрываясь шамканьем, гильотина, скрипят снасти кораблей,

покоряющих океаны, и царапает бумагу в ночи перо философа... Нет! Это не Родион Раскольников! И не Достоевский! Судьба *этого* персонажа не прописана в книжке, как и портрет, соответственно, и имя его не встретишь. Но присутствует он на каждой странице, стоит, сплетая коллизии, за спинами героев, говорит вдруг вместо них, подталкивает или останавливает их, подпитывается их ошибками, мучительными переживаниями. Ему не свойственны сомнения и терзания «униженных и оскорблённых», но близок их поиск. Сострадание — блажь. Чистота души... Ха-ха... О душе — отдельный разговор. А вот о красоте — пожалуйста-с. Например, о красоте его комбинаций, изворотливости. Красоте изначального отрицания. О красоте человеческого малодушия, самовлюблённости, предательства... О красоте греха — тоже можно. Сильных — уважим, постольку-поскольку. Любовь? Любовь ещё быть может... Да, любовь пожалуй, уж точно — один из любимейших (простите за тавтологию) его инструментов. И пусть себе они думают, что она бывает светла и созидательна! Пусть. Жертвенность... Жертвенность — как Храм Подвигу. Во имя и во благо?! И разрушаются социальные устои, институты нравственности, низвергается мораль. А Дух... Впрочем, забудем об этом. Да, циник. Мыслитель, игрок и провокатор: всё под анализ, под нож. Затем — следующий ход. Он серьёзен, видна лишь кривая усмешка, но раскатистым эхом вдалеке гремит его несмолкаемый смех. Когда ему лень спорить, а спорит он со всеми и даже с Достоевским, когда ему наскучивает до пресноты суета всяческого действия — он отстраняется и созерцает: как Вы-с? Полноте-с, увольте... Бывал ли он посрамлён в поражениях? Случалось, бывал. Но он не замечает их. Поражения эти и назвать словом «поражение» невозможно, потому как смысл и содержание слова растворяются в Нигде его восприятия... Пижон был несколько похож на диск-жокея. И уж совсем не похож на *того* персонажа. Хотя горбинка эта...

Я видел, как Пижон догнал её. Они то останавливались, размахивая руками и что-то выговаривая друг другу, то *она* вновь устремлялась дальше, а он кидался следом. Когда они замерли в очередной раз, возле них остановилась машина, пародируя лакированным боком освещённого манекена и ругающуюся парочку, которая вдруг уставилась на приоткрытое окно.

Затем дверь иномарки отплыла — видный господин распрямился и указал рукой на автомобиль. Тогда Пижон взорвался: стал осыпать его градом ударов по лицу и в живот. Видный господин пытался уклониться и отталкивал Пижона, но тот не унимался, как игрушка со сломавшимся механизмом отключения. Пижон пустил в ход ноги.

В это время из машины вылез водитель-детина и бросился к дерущимся. Тогда и я сорвался с места. И успел вовремя.

Когда драка кончилась, мы трое странным образом разошлись в разные стороны. Со слов Пижона, обращённых к видному господину в пылу

битвы, я понял, что этот видный господин Козёл. Ну и догадался, что он играет какую-то роль в их жизни. Вот и всё. Что же касается всего клубка взаимоотношений нашей троицы, то я видел каждую его ниточку, но как бы не глазами и не из себя. Я видел это *знанием* будущего, похожим на спокойное чистое небо. И это знание снизошло на меня только сейчас, но так, будто я владел им с незапамятных времён. А ведь несколько дней назад, когда мы втроём оказались в моей квартире, когда запутанность и невероятная противоречивость происходящего была воспринята дикой случайностью, как ни странно, я обрадовался. Мало что из произошедшего поддавалось объяснению, но я, не строя догадок, неожиданно для себя возликовал, как ребёнок, который, отчаявшись от долгих усилий, вдруг-таки находит недостающий фрагмент мозаики. А поскольку ясной картины у меня всё же не складывалось, то ликование было тихим, зародившимся где-то в хрустнувшем позвоночнике. Появилось предощущение чего-то важного. Я шарахался, возбуждённый, по комнате, потирая руки; то включал телевизор, то выключал его. В конце концов, спел себе (проорал!) песню, глотнул кефира и увалился спать.

* * *

Десять минут назад от меня ушёл Бердяй. А я всё никак не могу избавиться от тошноты и липкости кожи. Уже сбегал руки с мылом вымыл — гадливость просочилась внутрь, не вытравишь. Политик. Хренов. «Дай денег». «На выборы». Выборов же нет! «Так будут!» А у самого счета в банках трещат... Я тут же заметил пыль на лучистой поверхности пристенной тумбы и резко приказал секретарше вызвать офис-менеджера.

Ещё неделю назад на одной из парадных полуофициальных тусовок, куда меня насильно затащил компаньон, Бердяй прошёл мимо. В холле, в котором скучали три с половиной человека. Сделал вид, что не узнал, хотя веки дрогнули, когда взгляды наши пересеклись. Шаг чуть прибавил. А лицо его пуще прежнего налилось пунцовым, лишь вокруг ноздрей, как тайнознаковая раскраска аборигена, светились белым мраморные разводы. Смекнул по себе, что начну в друзья набиваться, просить о чём-нибудь, а вдруг с меня и взять нечего?

В перерыве, в том же самом холле, только теперь уже утратившем пространство из-за толчеи и гула — о, как я презираю себя за это, но уверяю, клянусь, что вышло всё произвольно, случайно — он вновь оказался так близко, что я кивнул ему и чуть шевельнул правой рукой. Конвульсивное сокращение мышц и движением назвать-то нельзя! Бердяй увидел этот полужест, четвертьжест... — его передёрнуло. Но коридор из людских тел вёл ко мне и насчитывал всего несколько метров. Наши руки пунктирно поднимались для пожатия, как стрелки расхлябанных старых часов, с трудом преодолевая расстояние. В конце концов, он судорожно стиснул концы моих пальцев и тут же отбросил.

Губы его натянулись, а крепкий затылок мгновенно, едва не расплескав солнца из двух парящих бокалов, утонул в брешах между бордовым с вырезом и матово-чёрным о белом под бабочкой.

Во второй части церемонии президент торгово-промышленной палаты вручил нам с компаньоном приз (сверкающую внушительных размеров почти невесомую статуэтку) и диплом за какой-то вклад в развитие чего-то. Сцена, софиты, фанфары, бледные пятна лиц в тёмном зале и трепещущие крылышки овец — ох уж эти пресловутые лучи славы... Еле-еле пережил.

Когда я уже вылетал на просторы крыльца, а стеклянные двери ещё не успели прищемить гремящего в фойе приглашения на фуршет, кто-то обдал меня свежим алкогольным духом и слегка придержал за локоть. Это был Бердяй.

— Чёрт, суэта такая. Все тебя дёргают, тянут, программы поминутные пишут, ни вздохнуть, ни пёрнуть. Ни с друзьями старыми поговорить. — Губы Бердяя снова натянулись на лице, но глаза как будто потеплели. — Ты чего лыжи намылил. Там шара, фуршет. Пошли покалякаем, выпьем, закусим. Хотя мне в прошлом году у них сёмга не понравилась — слишком мягкая, с душком была. И коньяк так себе. Зато водка — настоящая. И в заливном мяса много.

В юности лицо у Бердяя было белое, чуть тронутое румянцем. Овеянное завитками густых каштановых волос, оно особенно источало холодный свет мрамора и, если бы не тёплый предательский румянец да осмысленный взгляд, в нём не осталось бы живинки. Нос тонкой лепки с уже настырными, немного вздутыми ноздрями всегда казался мне *слишком* безупречным, а его девичьим губам, контурным и отчётливо фигурным, завидовало полшколы девчонок.

Чем-то он мне напоминал античного мальчика (то ли из-за женственности и красоты, то ли из-за сходства с материалом для скульптур и изваяний, а именно с ними ассоциируется древняя эпоха — такими, видимо, я рисовал в своём воображении юных эллинов и римлян). Мне виделась в нём белая кость, а в легенде восприятия дорисовывались дворянские корни (в детстве все щенки представлялись нам, безусловно, породистыми псынами: овчарками и боксёрами).

Почему-то он должен был непременно стать высоким (он, стройный и спортивно сложенный, тогда был или казался чуть выше меня, а сейчас рядом со мной стоял человек с одутловатым красным лицом, едва ниже среднего роста... — как огорчает, как врёт беззастенчиво тётка-жизнь!). По фотографиям и на экране трудно определить рост человека — так и виделся он мне близким моим отроческим идеалам. Совершенно искренне я не порадовался за то, как он выглядит. Было жалко мои видения и грёзы, и это конфузное несоответствие я записал на счёт Бердяя, как ещё одну измену с его стороны. Грусть и разочарование... И ещё пуще мне не захотелось иметь с ним дела.

Я не сталкивался с Бердяем лет пятнадцать, а то и более. Но не зная о его судьбе буквально посчастливилось бы лишь глухому и слепому. Человек публичный, он мелькал на экране телевизора, газеты поднимали свой рейтинг, печатая жирным шрифтом в заголовках нашу мемуальную фамилию.

Бердяй имел супермаркет в центре города, неизвестное количество фирм, владел сетью ресторанов, в разное время появлялся в руководстве крупных предприятий области. Его имя иногда всплывало в криминальных журналистских летописях, вроде бы без намёков, но почему-то рядом с громкими именами авторитетов преступного мира. В какой-то осенний или весенний денёк он умно пристроился к местной организации «партии власти» и последние годы активно проводил в жизнь её политику, но не так давно по неизвестным мне причинам не прошёл чистку — вылетел пробкой, зато получил мандат депутата городской Думы... А начал всё с того, что вагонами закупал капусту в соседнем тогда ещё социалистическом Ульяновске по 10 копеек за килограмм и поставлял овощи в наш уже капиталистический город, продавая по рублю. Однако прежде Бердяя родилась его мечта. Как сейчас помню его слова: «Мне нужна только политика. Вроде ничего не делаешь, а при делах. Я больше ничем заниматься не хочу. И не буду. Я буду политиком».

Надо отдать ему должное: в то время я только-только осматривался, искал работу и собирался поступать на вечернее в университет, Бердяй предложил мне поработать у него продавцом. И я был бы благодарен ему за поддержку. Но... Словом, дороги наши так и не сошлись, более того, с той поры я ни разу не увиделся с бывшим приятелем детства. Но если о моей судьбе Бердяю наверняка мало что было известно, то дворовый знакомец, бывший лепший кореш Гуни, не выпадал из поля моего зрения. Всякое новое его достижение, обнаруженное в прессе, я встречал ровным, нейтральным «ого», не завидуя, не осуждая — кирпич на дороге или съеденная малина вызывают более сильные чувства. Я знал, почему презираю Бердяя. Или ненавижу. Сейчас уже тупо. По инерции. Отсюда и защитно-нейтральное «ого». Он чудом остался жив... И пока не вставал на моём пути, не трогал меня, а как ни странно, телевидение отдалило его на ещё большее расстояние, я из тех же защитных реакций научился и привык воспринимать его как сказочный телеперсонаж. Теперь он стоял передо мной как ни в чём не бывало! И желеобразное состояние чувств к нему начало быстро нагреваться и подтаивать.

Я заглянул в его глаза, но мой взор стал топко вязнуть. Нет, Бердяй, скорее, ты сам сгинешь в своих зыбучих песках... Он отвернулся. Пока этого было достаточно. Я сослался на занятость. Тоже, понимаешь ли, каждый шаг расписан: уже приглашён, нельзя отказывать солидным людям. И отправился к Серому на конюшню.

А сегодня по телефону помощники политика поставили меня в известность, что Бердяй уже к нам выехал. Бегать от трудностей я не люблю. Проще «разрулить» по-быстрому, и нет проблем. Да и не такая уж это проблема, Филипп Бердяй.

Собственно, смысл его предложения сводился к следующему: мы даём ему деньги, а он лоббирует наши интересы и обеспечивает заказами, которые идут по линии города и области. Например, частичное оснащение новёхонького онкоцентра (весь заказ он не гарантирует, там тоже люди уважаемые денег хотят, но поставки какого-то особо уникального оборудования он пробьёт). А ещё запускаются в деревнях врачи общей практики — оборудование кабинетов, медпунктов останется за нами. По нацпроекту «Здоровье» много можно придумать.

— Тоже сало. Но для нас мало, — сказал я ему.

А вместо коньяка попросил секретаршу сделать чая.

Через два дня он выйдет на компаньона.

Но, прежде чем Бердяй ушёл, разговор с ним всё-таки состоялся. Незванный гость смотрел на меня смело, исключительно отважно, как бы самым взглядом подчёркивал: «Вот, не боюсь смотреть в твои глаза». А, собственно, почему он должен бояться? Мне, мне, знающему подноготную, требовалось, чтобы он смущался, винился или хотя бы боролся со своим нормальным человеческим стыдом! И мы оба знали, по какой причине. Увы... Он прибавил теплоты глазам и голосу:

— Я рад, что ты поднялся. Офис у вас классный, смотрю — дела кипят. Как вспомню, как мы пацанами бегали, мечтали, кто кем будет... Петька, по-моему, в шофера рвался...

— Ага. Водолазом он мечтал быть.

— Ну, да. Да... Водолазом. Я — космонавтом.

— Ты — космонавтом? Ты мечтал быть иностранцем! Вот уж показывались над тобой... Ничего себе профессию выбрал.

Бердяй просмеялся, прищурил глаза:

— Это когда я совсем маленьким был. А вот кем ты мечтал быть?

Откуда ему помнить о мечтах нашей троицы, мы не были ему друзьями, другом Бердяя был Гуня. А о нём-то усердно молчал сейчас известный политик.

Гуня рассказал, что как-то ездил в командировку в Ростов. Встретил Петьку Немца. Приятель говорил, как обычно, с полуулыбкой и то, о чём пошла речь, ещё с большей грустью, с большим грузом легло на душу. Я тут же увидел перед глазами друга детства в облике детства (несмотря на то, что и с ним у меня был общий кусочек юности) — Петька никак не представлялся мне взрослым мужчиной.

— Сам бы его не узнал. Он окликнул меня.

— Что, так сильно изменился?

— Старее нас с тобой вместе взятых выглядит. Опустился совсем... Спился.

— Ого... — я искренне огорчился.

Почему-то вспомнилась улица, Арка и Петька, который мечтал стать водолазом. Мечтал почти до самой юности, пока судьба не разбросала нас по сторонам. Игрушечные водолазы у него были в огромном количестве — девять или одиннадцать, один из них стоял в аквариуме и пускал настоящие пузыри. Петька мечтал найти на дне моря клады затонувших кораблей, чтобы у них в семье были деньги, но главное — чтобы в Японии купить такого робота, который помог бы отцу-инвалиду ходить, бегать, ездить с ним, Петькой, в зимний лес на лыжах, носить тяжести, например, мамыны сумки и даже паять вместо него быстро-быстро, чтобы скорее возвращались владельцам телевизоры, разнообразных приёмники, завалившие квартиру, которые сносили к ним ремонтировать со всей улицы. Как-то раз мы, троица, решили провести серьёзные испытания и готовились к этому очень усердно. Кто не знает, что вода выталкивает человеческое тело и ботинки у водолазов специальные, тяжёлые, со свинцовыми подошвами, чтобы ходить по дну и выполнять работы? Конечно же, нужен и скафандр со смотровым окошком и шлангом для подачи воздуха! Ботинок со свинцовыми подошвами не оказалось ни у кого из знакомых, не обнаружили они и на богатой разными полезными вещами помойке. Зато нашлась металлическая основа от утюга — тяжёленькая, что надо, и к обычному ботинку привязалась удобно и легко. Со второй ногой дело обстояло не так складно, но и гантель, привязанная сверху для удобства ходьбы — отличное грузило. Вместо скафандра мы решили использовать противогаз Шавкета: и стёклышки для глаз, и шланг имеется, не беда, что короткий — нарастили, изолянтной примотали и готово! Петьку спасли два пожилых шахматиста, которые прямо на траве, сгорбленные, буравили доску взглядами, и художник, парень лет двадцати с небольшим, бросивший свой мольберт и кисти при первых наших криках. Когда Петьку вытащили, на его лице и одежде (видимо, именно художник сорвал с него противогаз) змеились разводы ярких красок — он стал похож на клоуна, который от усталости не смыл грим до конца и уснул мёртвым сном. Эти живые цветные мазки на бледно-зелёной коже смешили и пугали одновременно. Сама смерть под ними страшила вдвойне своей кричащей ненужностью. И, как насмешка над смертью, как победа над ней самым цветом зывали краски к взгляду, к жизни. Петька решил, что будет художником. В свободное от водолазных работ время.

— Немец обрадовался. — Гуня ковырнул воздух пальцами. — Но как-то так суетливо, хитренько... Это я уже потом просчитал. «Такая встреча, — потирает руками, — давай отметим...» Мать у него следом за отцом умерла. Но он не согнулся — на заводе каком-то работал и даже в «ударники» выбился. Потом перестройка... После короткого взлёта

завод сдох. А с ним и Немец... Он выпил-то всего ничего. Почти тут же опьянел и уснул за столом. Даже не поговорили толком.

История Петьки — одна из многих. Это сегодня десяток газет с вакансиями — ищут специалистов рабочих профессий. А возрастной ценз руководящего звена вырос со смешных двадцати пяти до разумных сорока—сорока пяти лет. Но от этого не легче. То, что заработали заводы, оживилась экономика, то, что страна умнеет, набирает силу, уверенно и трезво наконец-то играя на глазах мышцей, — конечно, здорово. А то, что Петька — маленькая её частичка, её живая ткань, чадо и когда-то чуть-чуть кормилец, теперь в ... Впрочем, пустое.

Оставив дворовому приятелю на опохмел недопитую бутылку водки, Гуня ушёл из замусоренной прокуренной «однокомнатки». По его словам, Петька, прежде чем забыться в хмельном сне, повторял, как заезженная пластинка: «Я ж токарем был! Передовиком! Уважаемым человеком. Самым молодым членом завкома. Кончился завод. Кончилась жизнь». Но сначала, до того как сознание сузилось до тупой боли, Петька признался Гуне, что «растерялся». «Как пристругаться к этой жизни?» — горько и безнадежно вслух задавался он вопросом. И звучал этот вопрос не для Гуни, не для того, чтобы услышать ответ, а чтобы заключённой в нём драмой, отчаянием, исковерканной судьбой и стильными словами выразить время перемен.

Был бы жив Гуня, я бы предложил ему, чтобы он добивался от правительства учреждения звания, ордена или статуса «Инвалид эпохи перемен, воспитанный социализмом и брошенный в капитализм». С разработкой специальных программ поддержки, переквалификации, облегчённого рабочего дня и ста граммов за вредность. Ну, не все же трепанги!

Я чуть не спросил у Гуни адрес Немца. Но остановил себя: зачем, что буду делать, если и поеду в Ростов, каким Петьку увижу сейчас, если увижу вообще — эти вопросы и опасения клубились тёмным страхом на задворках сознания. Дружеский долг, лицемерный позыв выглядеть правильным, страх предать когда-то близкого человека, предать детство или желание души просто помочь вспыхнули: «надо?!». Или подлый фальшивый стыд за своё благополучие и успех, будто уже этим я предал их, своих, чуть растерявшихся, чуть опоздавших... Я проявил реализм и трезвость ума. Или смалодушничал. Отмёл побуждения совести, как осенние листья, и затаённо ждал, когда Гуня сменит тему. Но Гуня завёлся всерьёз:

— Не понимаю. Слабак бесхребетный! Хотя понимаю, конечно... Но всё-таки! Тоже мне, нашёл растерянное поколение! Я, ну чего лукавить, у жизни, как у телеги пятое колесо, — но вот не растерялся! Не спился... Если Петькин пьяный обидчивый ной перевести на язык пафоса и обобщений, получается, что поколение сорокалетних «совков», за которыми менты бегали и ловили, чтоб посадить за тунеядство, в од-

ночасье ушвырнутое за борт в свободное плавание, отторгнуто жизнью по причине их собственной неприспособленности. Заорганизованные содраспределением и худо-бедными гарантиями, лишённые тем самым напрочь внутренней собранности и деловой активности, они, то есть мы (тоже мне — дети Игоря Саввича!), в море дикой свободы выбора и настоящей ответственности, «пасанули», не обнаружили ориентиры, не смогли прочесть лоций и навигаций, а когда увидели лодку с вёслами — рук не оказалось, гибкость тела и сила мышц утрачены, близорукость измеряется десятками единиц и неумолимо прогрессирует. Так получается по-Петькиному?! Бред. Бред полнейший! Смотри: ты — при делах, твой компаньон — тоже, как сыр в масле, я — под солнцем, Бердяй — выше крыши...

Гуня лукавил. Гуня беззастенчиво лгал. Сам он грелся под тем солнцем, которое освещает обратную сторону луны. Космос по-гунински — полное затмение каждый день. По-простому, быт его никак не складывался, а благополучие сторонилось приятеля: у него никогда не было денег на выпивку, одежду, подарки. Говорили, что в то время, когда он жил с первой женой, по окончании университета, у них на столе, кроме варёной картошки и кислой капусты, пестрели лишь хлебные крошки. И Гуня, в отличие от Петьки, растерялся ещё тогда, когда оглушил своим криком своды роддома. Может быть, он и не кричал вовсе?..

Если верить молве, а содержание её очень похоже на правду, всю жизнь — и в эпоху перестройки, и в период разгула капдемократии следующего лидера государства, и поныне, — Гуня сидел на мизерных бюджетных окладах: сначала то ли в музее какого-то писателя, то ли в областной библиотеке, позже подключился к преподаванию в государственных и коммерческих вузах. Из одного из них его уволили за скандальную связь со студенткой, из другого — за крамолу и политавантиоризм (именно тогда Гуня, по его словам «вошёл и был в политике»). До меня дошло, что его даже вызывали в «органы». А тут ещё и разрыв с женой — для неё короткий и однозначный, для него — затянувшийся на несколько лет, переполненный смутными надеждами, драматичным ожиданием. Гуня потерялся. Никакими профессиями кроме филологическо-культурологических дисциплин, он не владел. И грузчик из него был такой же, как балерина, а слово «бизнес» — вообще ввергало приятеля в полубоморочное состояние, если не успевало протечь сквозь него мимолётным дыханием тени. Гуня бедствовал. Пописывал за гроши редкие курсовые и дипломы, редкие потому, что не умел думать и писать просто, серо, без гениальной изюминки, как думает и пишет основная масса студентов-троечников: лентяев, бездарей или попросту заблудившихся в выборе специальности — основных «потребителей» Гуниных услуг. Если честно, я и сейчас не знаю, где работает Гуня, кем, на какие шиши живёт. И не спрашиваю. А Гуня не особо распространяется — темка пустяковая.

Гуня мог бы реализоваться как учёный или поэт, но я не слышал, чтобы он защитил диссертацию или опубликовал монографию, а книжные магазины не помнят очередей за сборниками его стихов, потому что книжек к ним не поступало. Да, поговаривали, что Гуня имел потрясающий успех у студентов: юноши и девушки сбегали даже с других занятий, чтобы попасть на его лекции. Феномен паломничества мог заключаться лишь в моде на экзотику, в её особо экзальтированном проявлении — поиске идоло-кумиров в необычных, нестандартных преподавателях — я, я плохо понимаю Гуню, бывает — не понимаю совсем: водопады, каскады замороженной терминологии, рваная алогичная для непосвящённого слушателя композиция, хитроумные приёмчики, завернёт, так завернёт... Что влекло к Гуне их, молодых, в большинстве своём влюблённых в жизнь, а не в науку? Образ чудаковатого преподавателя, его неказённость, перетекающая в фривольную аномалию норм поведения... Или он всё-таки что-то нёс, давал людям? Не знаю. Не знаю, не знаю...

Иногда, мне кажется, жизнь давила его, сминала, растаптывала... Но ведь вот он, Гуня, нескладный, с чёрными яминами под глазами, неуклюжий и старомодный, сидит передо мной, уверенный. Уверенный, что под солнцем. Уверенный, что не растерялся. Уверенный и довольный своей жизнью, проектами. Просто уверенный. И я точно знаю — не притворяется. Ещё одна загадка Гуни...

Да мы все смотрели на него глазами общепринятого — у него не было газет, пароходов, не имелось замков, автомобилей, акций и счетов в банках — он смотрел на себя своими глазами и, собственно говоря, сам и жил, жил не для нас, не для того, чтобы выглядеть, а жил для себя. Его гениальность и истинность в том, что он так сумел, в отличие от тысяч «успешных», от миллионов, желающих ими быть...

Я посмотрел на визитёра: что их, закадычных друзей, объединяло? Разве что детство. Мне было неприятно сюсюкать с Бердяем, да можно ли вообще разговаривать с ним по душам? Всё время как босиком по камням острым или яминам...

— Я бы рад вспомнить светлые годы, но ты не за тем пришёл. Думаю, по делу. И догадываюсь, по какому. Озвучишь сам?

Действительно, то, что хотел Бердяй, не явилось неожиданностью. Он не первый из политиков, кто предлагал нам такое «сотрудничество». Но ни я, ни компаньон не верили в эффективность такого бизнеса, уж слишком много рисков и различных переменных он в себе заключал. На какое-то время и впрямь можно было оказаться в шоколаде, но с лёгкостью окунуться ...тоже в коричневое. А уж сколько здесь зависело от собственно человека, в которого ты вкладываешься... О-о-о... По крайней мере, в провинции. Поэтому я не стал тянуть резину. Я намеренно решил начать издавать, с шалостей, «амнистированных»

детством (истинно: за детство никто не в ответе). Я знал: с настойчивостью Бердяя мы рано или поздно подступимся к главному и тем самым охватим всю дорогу, когда-то знакомую нам обоим. Мне нужно было, чтобы Бердяй *прошёл по ней сейчас* под моим взглядом.

— Вот смотри, Бердяй. Как тебе верить? Ты на Арке свастику нарисовал, а свалил на Гуню. Значит отвечать за себя боишься, а подставить можешь легко.

— Ты ещё вспомнил бы... Кстати, ты за тот поступок, за ту детскую невинную выходку устроил драку, поставил мне синяк — достаточно для полного искупления.

Я перебил его:

— Да, вспомнил. Сейчас речь не об искуплении, а о поступках. Их было слишком много, Бердяй. И поступки поступкам рознь. Как ты друга лучшего, соратника, так сказать, в политике органам сдал? Это на детство не спишешь. И нигде тебе не икнулось, не ёкнулось?

В то время, когда я поступал в университет, а Гуня и Бердяй заканчивали, в стране шла перестройка. Дул слабый ветер гласности — предвестник пьяной свободы слова, которая, выплёскиваясь через край, будет вскоре будоражить страну. Однако уже сейчас людей захлестнула волна политической активности. Политизированность общества достигла небывалых прежде масштабов. Как грибы, росли общественно-политические организации, движения и партии самого разного толка, от монархистов до анархистов.

Но, судя по рассказам знакомых, Гуня и Бердяй ещё до той поры подступились к политике, что, конечно же, по тем временам было чревато. Говорили, что они состояли в каком-то обществе, в каком-то «фронте». До сих пор не знаю, против чего и с какой, так сказать, «политплатформы» выступали члены той организации. Честно говоря, я далёк от политики и она меня мало интересует. В какой-то момент Бердяй вдруг «завязывает», а Гуня попадает «на карандаш» — им начинают интересоваться. Ходили слухи, что удружил Гуне именно Бердяй. По крайней мере, вместе старых друзей больше никто никогда не видел. И меня, если честно, это не особенно трогало: одному на мгновение посочувствовал, другому записал на счёт ещё одну низость. А не так давно, когда страсти улеглись и шум забылся, я случайно встретил знакомого, каким-то образом связанного во время оно с делом «общества» по долгу службы, который приватно подтвердил, что домыслы выросли не на пустом месте.

— Бред. Никого я никому никогда не сдавал. И напрасно ты с обид разговор начал. Я с тобой по-человечьи хотел...

— Уж не пугать ли ты меня надумал?!

— Я знаю, что ты никогда трусом не был и за себя мог постоять. Просто у нас сейчас позиции разные. Ты же понимаешь, о чём я?

Он сидел в углу тёмным и нереальным. Отражение его утонуло в коричневой воде мебельного стекла, живого, подвижного, приютившего в правом верхнем углу игривого протуберанца с улицы. И то, о чём Гуня говорил, также выходило чередой отдельных теней, читаемых или совсем затейливых, полупрозрачных или густых, насыщенных объёмной либо плоской чернотой. И никак не сливалось с радужным блеском маслиновых глаз. Из-за этого и мой кабинет, полыхающий в двух углах светом от яркой настольной лампы и сияющего аквариума, будто утонул в мглистости.

— Они давят со всех сторон, сжимают кольцо. Они мешают становлению демократических институтов. Паря, я прошёл через политику и знаю, о чём говорю. Нашим детям жить в этой стране и то, какой будет страна, какой будет жизнь завтра, зависит от нас с тобой.

Я не понимал, к чему клонит Гуня. То ли приятель просто трепался, то ли сватал в свои ряды. Но политика не моя тема.

— Тоска по Родине его влечёт к борьбе... Паря, скоро народ поднимется. Надо вливаться, — наконец разродился Гуня.

Мне на уроках истории не верилось в то, что на кухне могут решаться судьбы страны. Конечно, всё зависело от того, кто собирался на кухню. Мысль, озвученная Гуней, оставалась для меня стеклянной, не живой, не имеющей содержания. Как игрушка, которую протягивают спящему ребёнку. И, по сути, похожа на любой из гунинских проектов. Но не смеяться же в лицо?! К тому же, что-то меня злило, подтачивало:

— Ты крыс знаешь?

Гуня потемнел лицом больше обычного, вялая улыбка раздавленного страхом и обидой человека тронула его губы. Но я не собирался размазывать Гуню по стенке.

— Или муравьёв? У них жизнеустройство чётко организовано. Есть разведчики и воины, строители и добытчики пропитания, есть матки, которые приносят и поднимают потомство. Лично я — строитель. И добытчик. У меня есть своя функция — созидательная и гуманистическая. Я поднимаю уровень нашей медицины. И хоть каким-то образом делаю что-то для здоровья людей. Да, пока мы сами не производим оборудования, но кто знает, что будет завтра? А ещё плачу налоги. И строю свой очаг. Это мой вклад в государство, моя роль в сообществе. Я не «боец», Гуня. Нет, конечно, за себя, за своё — глотку перегрызу однозначно. В случае реальной опасности, угрозы, которую я увижу своими глазами у калитки моего палисадника. За Родину — встану, если потребуется...

— Слепец...

— Вот только пафоса не надо! Представь, не вижу дальше своего носа! Представь, и эта аполитичность меня не гнетёт, на совесть не давит. И это вовсе не означает, что я равнодушен к тому, в каком обществе, в каком государстве живу я и будут жить мои дети. Неужели я непонят-

но изложил мысль?! Я же не отрицаю: есть такие люди, которым близко то, к чему ты меня призываешь. Так нехай они впредь и с песней...

— То есть чужими руками... — не унимался Гуня.

— Гунь, давай честно. Ну, твоя политика какая-то смешная, несерьёзная. Дворовая какая-то. Есть в футболе высшая лига, а есть клубы на заводах или при ЖКО. Есть совсем дворовые, когда...

— Там и зарождается настоящий футбол, — горячо перебил меня Гуня.

— И там же на девяносто девять процентов заканчивается. И я говорю не о мальчишках, а о мужичках, которые после работы выпускают пар в удовольствие. Где-нибудь в парке на малюсеньком стадиончике. И, заметь, — уже не грезят о «Чаше Марокана». А ты — грезишь! Ты к чему-то зываешь. Что, скажи, ты сейчас будешь делать? Писать открытое письмо? И что ты в нём скажешь? Митинговать или создавать тайную организацию, играть в революцию и перевороты? Что?

— Ну... Я не знаю... Устанавливать демократию.

В помещение ворвался компаньон. По его виду стало понятно, что он слышал наш разговор. Офис у нас тогда был маленький, две комнаты, штат сотрудников — я, компаньон, бухгалтер да секретарша. Дела только пошли в гору и отнимали много времени. К вечеру, к тому часу, когда пришёл Гуня, на работе остались только мы с компаньоном. Компаньон уже видел Гуню прежде не раз и сейчас скривился при его появлении: он не любил таких, как Гуня, по его мнению, рыхлых и ни к чему не годных. И либо открыто презирал, либо холодно не замечал. Он накинута на меня:

— Ты с кем разговариваешь? Как ты можешь серьёзно говорить о какой-то хрени?... — тут он развернулся и навис над Гуней, передразнивая: — «Я в политике, мне за державу обидно...» Бунтарь хренов! Сейчас времена приходят другие! «Я в политике...» Бердяй, твой дружок — этот точно в политике! Вон, в народные избранники рвётся! Город афишами оклеил... Делом займись! Настоящим! Тогда весь мусор из башки вылетит.

Гуня лишь мельком глянул на него и, задрвав подбородок, тихо забормотал: «Когда не видел я ни дерзости, ни сил, когда все под ярмом склоняли молча выи...». Компаньон же, чуть побледнев, не обращал внимания на речи Гуни, не вслушивался, лишь прибавил громкости в голос и жёсткости в жесты:

— Иди в депутаты, пиши законы, работай в комиссиях, комитетах... Даже если в оппозицию... Это она сейчас боевая, митингует. А станет — умная, официальная. Оппозиция заматерееет, вся при власти, при связях, при деньгах! Мечтателей-романтиков вытеснят прагматики. Проще всего: ничего не делать, ответственности никакой, популизм в виде лозунгов про заботу о нуждах населения, вякай себе на митингах, а сам сыт и доволен! Или деньги зарабатывай, фирму открой! И позволить себе сможешь всё, что захочешь, и жизнь увидишь в другом цвете.

Гуня опешил. Но не промолчал:

— Сказано: не сотвори себе богатства на земле. А то, что ты себе можешь позволить, мне и во сне на фиг не надо! Зато ты никогда не сможешь себе позволить то, что открыто мне.

— Глупец... Ох, и глупый! Уродина какая-то... — Компаньон сжал кулаки, я думал, он ударит Гуню, и привстал, но компаньон махнул рукой и выбежал из комнаты.

Да, думал, ударит. Но он сдержался. Может быть, потому, что я сидел рядом и был приятелем Гуни. Я, если честно, тоже недолюбливаю странноватых людишек (Гуня не в счёт), но не сдержался, когда Гуня познакомил меня — привёл за руку, как обычно — с философом.

...Философ, рыжеватый мужичонка, с веснушками на морщинистом лице, был больше похож на заводчанина и жил на двенадцатом этаже панельного дома в каком-то из спальных микрорайонов.

Пока мы добирались к нему, Гуня всю дорогу восторженно, взахлёб рассказывал о чудо-мыслителе, о его необыкновенном видении жизни, оригинальных взглядах, необыкновенной мудрости. Гуня прочил ему мировую известность и непременно огромный вклад в научную философскую мысль. «Его идеи, его концепция мироздания ещё ого-го как изменят наше общество! Дай время». Он явно гордился знакомством с ним, был от этого по-настоящему счастлив и щедро делился счастьем со мной.

Квартира оказалась самой обычной: обставлена по-советски достаточно (типичный набор: стенка, ковёр, хрусталь, цветной телевизор, репродукция на стене, корешки собраний сочинений). Приятно глазу было то, что во всём виделась рука хорошей хозяйки — чистенько, ухожено, скатерти-салфеточки, всё на своём месте. Особенно — большой букет ярких цветов в огромной вазе на столе.

Сама хозяйка встретила нас без особого восторга, но и неприязни не проявила. «Проходите». Это была довольно крупная женщина лет пятидесяти, которая с удовольствием следила за собой. Нет-нет — ни тебе новомодных соляриев, фитнесов, спа и массажных салонов (их в те времена и в помине не было): аккуратная причёска, свежий переносчик, давно проснувшиеся ясные глаза.

Во всём этом был какой-то подвох. Или мы ошиблись адресом, или состоялась тайная подмена представлений и реальности, своего и чужого, обещанного и полученного.

Мы не успели пройти в зал, как женщина засобиралась куда-то, но, прежде чем скрыться за дверью, невзрачно бросила мужу: «Смотри, не напейся. Завтра с утра на дачу. Я по магазинам».

Конечно же, явный подвох. Вы бы ещё посмотрели на этого философа! Он сидел в зале за столом, центр которого занимала высокая хрустальная ваза с цветами. Неужели философ не понимал, что он

здесь — лишний?! Конечно же, подвох, так взрывать эстетику и органику композиции! Ничего другого на столе не было. Философ отрешённо изучал заусенцы на узловатых, словно обмазанных йодом, пальцах, последние фаланги которых распирали большие и округлые, как перепелиное яйцо, ногти. Он не встал навстречу, не принял глазами взгляда, не улыбнулся. Мне показалось, что он вот-вот засопит, полезет своим дубинообразным пальцем в ноздрю и та раздуется до сюрреалистических размеров, поковыряется в ней так долго, сколько необходимо, чтобы вытащить подсыхшую зелёную козюлину, один конец которой вытянет за собой яичной свежести желирующую соплю. Ну и, понятное дело, искомое будет тщательно изучено и отправлено в безгубый рот. Сука, он меня сразу распознал... Я из принципа не стал доставать бутылку водки из Гуниного портфеля — сам-то Гуня забыл о ней сразу после того, как я её купил.

Битых сорок минут Гуня, как заводную игрушку, раскручивал философа на разговор, задавая темы. Уж он блистал, уж он порхал терминологией и силлогизмами! Вспоминал Шопенгауэра, Ницше, Канта, Бердяева... Гуня очень старался, но, похоже, философ не был расположен к беседе. Он молчал. То кривился, то кивал, то удивлённо поднимал горкой белёсо-рыжие брови и молчал. В конце концов, Гуня не выдержал и открытым текстом поинтересовался, не сотворил ли философ за последнее время чего-нибудь новенького и не поделится ли с нами своими открытиями.

Философ не заметил того, что в прострации случайно указал на тумбочку для постельного белья, на которой дымились обтрёпанными страницами школьная тетрадь на двенадцать листов, один из которых на треть был и вправду исписан. Он как бы неопределённо повёл рукой, буркнул под нос что-то типа «у нас всегда есть новенькое», вдруг разгладил веки, согнал в откровении муть с глаз и громко спросил:

— Ты сейчас что делал?

— Не понял?

— Ну, что ты сейчас изображал? Этими своими словесными... А смотрины зачем устроил? Кому кого показывал?

— Так просто, познакомить хотел. Вроде как люди интересные, есть о чём поговорить...

— Кто «люди интересные»? Ты хоть одну бабу-философа знаешь? Чтобы это была великая фигура?

Это был вдвойне сволочный подвох: я принялся перебирать в голове фамилии — действительно, как-то не попалось женской, не вспомнилось. Понятно, что нужно сделать скидку — разговор случайный, да и я от науки этой далёк.

Философ, удовлетворившись — на лице это отразилось некоей кратковременной сытостью, какую могла дать только съеденная козюлька, — продолжил более напористо:

— А ты видел хоть одну бабу-студентку, например, которая бы понимала философские науки и всерьёз интересовалась ими? О-о! То-то. Так с чего ты решил, что у педиков должно быть иначе? И как можно быть интересным человеком с именем «Гуня»? А Вас как зовут?

Бедный жалкий философ, чья жена, как я уверен, поставила и содержала дом и самого этого горького доходягу, от страха, бессилия и невоеспитанности решил вылезти на том, что облёк обычное пошлое оскорбление в некий агрессивный синтаксический финт. На что он надеялся?

Никогда я не считал, что похож на амёбу: спокойно встал, подошёл слева и вложил коротким в челюсть. Он полетел вместе со стулом, зацепив скатерть — я едва успел поймать вазу с очень красивыми цветами: он собой разрушил чудесную гармонию творческого проявления жизни, за что ему следовало бы добавить. Да и молодой я был, горячий.

— Может быть, не стоило? — не очень уверенно спросил меня Гуня и, не дожидаясь ответа, улыбнулся невпопад чему-то своему.

Когда мы вышли из подъезда, нам навстречу попала жена философа, милая женщина с давно проснувшимися ясными глазами, которая по-своему любила и уважала жизнь и по-русски жалела уroda-муженька. Я остановился и извинился. Она ничего не поняла, просияла, очень красиво улыбнулась и просила не стесняться, заходить в гости ещё. Бывает...

Только сейчас я понял, что тогда я ударил не философа. Я ударил Гуню. Компаньон сдержался, а я — нет.

Говорят, а это случится позже, Гуню видели в Москве, в августе девяносто первого.

Я сразу понял, что компаньон зашёл с серьёзными намерениями, но не догадывался о причинах. Судя по его виду, разговор предстоял тяжёлый. Уж слишком безмятежным и равнодушным было его лицо, а жесты размягчены, разбавлены вольготностью. Он не стал садиться на стул посетителя и меня выманил с рабочего трона за журнальный столик. Безаппетитно попросил секретаршу принести чаю.

— Финансисты отчёт предоставили — слушай, хорошо живём! Отличные показатели. Прибыль значительно выше ожидаемой плановой. — Безрадостно, как о сломавшемся пылесосе, поведал он.

— Здорово. Надо подумать, как распорядиться деньгами, — ответил я, будто знал, что все ремонтные мастерские закрылись навсегда.

— С тем и пришёл. Надо их вложить с умом и у меня есть на этот счёт думка.

— Колись.

— Сначала скажи мне, что у тебя стряслось с Бердяем?

До этого наши взгляды, как одинаковые полюса магнитиков, сходились, но ускользали, округло обтекали центры притяжения, теперь же полюса поменялись и взгляды шлёпнулись друг о друга едва ли не

со звуком, взаимопроникли и сцепились молекулярными решётками полярных позиций.

— Вон откуда у думки ноги растут... — у меня зачесался нос. — И до тебя добрался.

— Ты с ума сошёл? Ты зачем его вытурил? Разве не ясно, что ОН НАМ НУЖЕН?

— Вот это новость! Я и не знал.

— Давай серьёзно.

— Давай. Зачем он нам нужен?

Принесли чай. Аромат и позвякивание ложечек о блюдца сняли пелену с глаз, вернули в помещение, из которого мы почти улетели, и вплелись в сгусток спора.

— Отвечаю по порядку. Хотя сомневаюсь, что в том есть нужда. Во-первых, у него крепкие связи в городе, в том числе, у кормушки, где и мы иногда получаем заказы.

— У нас там такие же крепкие связи, только через других людей, кстати, которые непосредственно работают, как ты говоришь, в «кормушке» и которые обидятся, если мы зайдём в другую дверь.

— Ты будешь слушать или перебивать? Второе. Это дополнительные заказы, которые с лихвой перекроют деньги, отданные Бердяю. Не перебивай. В-третьих, у него прихваты в органах. В-четвёртых, если он победит на выборах...

Было бы логично, если бы ложечка в руках компаньона отбивала по краешку блюдца эти самые «во-первых», «во-вторых»..., а не трезвонила непрерывно как старинный механический будильник. Хотя, надо признаться, в моей кружке сахар давно растворился, а я всё размешивал, размешивал, а ложечка гремела о стенки, гремела...

— А если даже победит, то почти ничего не изменится. Для нас и нашей компании. Если мы сейчас не станем влезать в это дерьмо. Нам не понадобятся «его» прихваты. Что же касается прибыли от мнимых заказов и сумму бердяевского отката — кто считал их? Он ничего не гарантирует. Потому что хорошо знает себя — он просто не выполнит обещания, и ты его — не достанешь.

— Я? Я не достану, бляха...

Со взмахом руки ложечка отделилась от пальцев, полетела, стукнулась о блюдце, далее дзенькнула о пепельницу, гроыхнула о край стола и почти не слышно шмякнулась на палас, устилающий пол.

— Кинешься сам морду бить или наймёшь киллеров? — Я откинулся в кресле и всё-таки почесал нос.

— Если будет надо...

— А оно надо, чтобы вдруг стало *надо*? Или он тебя на что-то подцепил? Или ты дал обещание, не зная броду, а теперь, чтобы сохранить морду лица, мне руки выкручиваешь? Ты пойми, он — урод. Он в юности стуканул Гуню. Тебе мало?

— Я об этом ничего не знаю и знать не хочу. Да и воды много утекло, пацанами они были. Почти. Всё меняется: и люди, и время...

— И понятия?

Он устало поморщился, вздохнул, посмотрел мне в глаза:

— И понятия.

Я взорвался:

— Люди не меняются! Окраска — да, шкура — не хуже зверья! Сущность остаётся прежней! Если говно за давностью лет чуть теряет силу запаха, оно не перестает быть говном, сколько ты его удобрением ни называй. Пойми ты: Бердяю верить нельзя! Ввяжешься — будешь кормить его до скончания века! И не известно ещё, что получишь взамен! Я не понимаю, что на тебя нашло, почему ты так привязался к этому Бердяю! Не по-ни-ма-ю!

Закричал и он:

— Лучше бы ты признался, что у тебя к нему личная неприязнь! Может, он тебя в детстве поколотил?! Или девчонку отбил?

Последние слова опалили жаром и обдали холодом. Почти по инерции я произнёс внезапно тихо и устало:

— Это ты его сейчас боишься, оттого и паникуешь... Копытом бьёшь, чтобы умаслить... — Я встал и почему-то застегнул пуговицу пиджака. — Давай закончим этот базар, мне работать надо.

Целую минуту мы смотрели друг на друга и не понимали, что происходит. Всё это смахивало на помешательство. И как ниточка к спасению за кипевшим раздражением, а теперь уже — и за обидой, тускло сквозил и терялся один-единственный вопрос: «Зачем?». К чаю он так и не притронулся.

Впервые я поругался с человеком, который был для меня больше, чем партнёр по работе, больше, чем друг, больше, чем брат. Мы многие годы были вместе и доверяли *там*, где никто никому не верит. Он спас мне жизнь, как-то и мне представилась возможность отплатить ему тем же: там часто выпадала кость, где все шесть значений имели одно толкование — не потерять себя. А ещё в *том* мире он как будто осуществлял связь с жизнью только тем, что выручил с риском для себя и был рядом с той самой секунды, когда мне потребовалось сказать *ей* «Будь счастлива».

* * *

Я не отказался наотрез от поездки в Таганрог к тёте Вере. Но и не бил себя в грудь, что рвану туда во что бы то ни стало. Как-то жил некоторое время, вроде бы, без мыслей о её письме, о возможном или невозможном путешествии к разгадке странной тайны юности, которая повлияла как на мою судьбу, так и явилась истоком жизненных передряг многих знакомых мне людей. Словом, никакого решения многозначительно и определённо я не принимал. Просто увидел себя как бы

извне: обнаружил, что купил билет на поезд с пунктом назначения «город Таганрог» и уже поднимаюсь в тамбур вагона, а во всём стоит запах отъезда. Но в этот раз я совсем не замечал дороги, не наслаждался сменой пейзажа за окном и полным отсутствием секунд, минут, часов. Пустое бестрепетное ожидание сидело моим двойником в купе.

Время от времени я всматривался в фотографию, присланную старушкой, всматривался так, будто старался её оживить. И в какой-то миг всё на ней пришло в движение, сам воздух наполнился звуками, детскими ощущениями, вплоть до затаённого дыхания перед «вылетом птички»... Я с обычной лёгкостью не увидел *его*, пытался сквозь пыльное стекло памяти разглядеть, что же именно был за день, распознать, почему я не с мамой, отвоюет ли девчонка свой кусочек счастья.

Было ли мне жаль тётю Веру, которую я не видел почти всю свою сознательную жизнь? Пугала ли меня мысль о том, что же такого важного нового может мне поведать старая женщина из *моей той* жизни?

В комнате пахло пылью и тусклым нежилым светом. Верно, так пахнет остановившееся время. Чьё-то остановившееся время. Каждая вещь в квартире от протёртого, в яминах, дивана до керамической фигурки гармониста на чёрно-белом телевизоре, припудренном серой старостью, выглядела сиротливо и как бы отдельно от других. Будто ничто не связывало их прежде. Лишние по факту своего дальнейшего сосуществования, они выглядели слишком говорящими о себе.

Я опоздал. Соседка сжала руки на груди: «Умерла Верочка. Царствие небесное. Недельку назад». У меня появилось ощущение, что я опоздал на собственные похороны. Опоздал остаться в живых. Не успел сохранить чистый, может быть, последний кусочек души из детства. Наверное, он у меня был, раз я почувствовал, как потерял его. Так вдруг понимаешь — случилось непоправимое. Это не то гнетущее и неизбывное горе, когда теряешь родного человека. Тут ты понимаешь, что всё у тебя будет, как прежде, и вскоре память освободится от случившегося, но что-то уже произошло с тобой, в тебе, вокруг тебя: предатели и убийцы тоже завтракают, смотрят телевизор, испытывают боль, лечатся от геморроя и тоскуют в разлуке... И строят планы на будущее.

Вся округа гудела по поводу той злополучной истории: кто вздыхал и жалел, предугадывая страшные последствия, кто плакал от горя и обиды, кто злорадствовал открыто и плевался. Хотя никто, кроме меня и её, не знал истины. Но и каждый из нас знал страшную правду по своему и, как выяснилось, не до конца. Однако тогда улица бурлила. Даже жарким днём или прохладной ночью, будучи гулко безлюдной.

И мои мысли сутки напролёт кружились вокруг беды. Я не раскаивался. Но страх, отзывавшийся жжением в желудке и дрожью во всём теле, иногда подкашивал ноги и бросал в тяжёлую сонливость. Всё вокруг как-то разом потеряло смысл: и вступительные экзамены,

посиделки с друзьями-подружками, пляж, мечты и планы, трамваи, разговоры. Всё, кроме солнца. Почему-то на него хотелось смотреть и жмуриться, и чувствовать его сияние, и тепло каждой клеточкой. Кроме Арки, мамы и моей комнатки, в которой каждый предмет, от книжных полок и самодельной цветомузыки до кораблей, лошадиных портретов и сундучка с копейками и бусинами, вдруг ожил, обрёл явственную форму, более прорисованную, чем прежде, более наполненную собой, собственным образом и содержанием. Я знал, что мама плакала под шум швейной машинки, в которой однажды утром я увидел строченный-перестроченный лоскут-пробник.

Когда мама плакала, я тоже начинал глотать слёзы и сотрясаться от икоты — маму было жалко. Куда сильнее, чем себя. Она сразу же представлялась мне худее, чем обычно, жалкой и одинокой-одинокой — сидит, сгорбленная, с бледным, но красивым молодым лицом, пепельными усталыми глазами возле цинкового корыта, из которого торчит ребристая стиральная доска. Я чувствовал её отчаяние, неизбывную горькую обиду и боль так, как, мне казалось, чувствует её она, до резей в сердце и крика во всё горло, так и расплавившегося с шипением в гортани. И тогда вдруг отчётливо, до судорог, понималось, что она обязательно умрёт.

Мама тоже не знала всей правды: говорить ей что-либо было опасно; она обязательно бы вмешалась и могла всё испортить. А заодно и простить. Меня. Она и так простила. А тётя Вера разбила нам камнем окно и больше не заходила.

А я просыпался рано и уходил болтаться с Петькой и Шавкетом по городу или сидел возле Арки, пока кто-нибудь из них не высунет носа на улицу. Но около пяти часов я отправлялся домой и час-полтора мучительно ждал возвращения мамы с работы. И перед самым её появлением вновь сбегал из дома.

Я никогда не вспоминаю юношеские годы, а в особенности — те дни. Просто в один из них мне встретился Гуня.

— Хочешь, я скажу, что это сделал я?

В моей истории было три узелка. Один завязал не я, но приклеить его пытались мне. Другой — затянул от души, но почти убедил кого надо, что нити сплелись сами собою (было в той истории и такое). А третий, которого руки мои опять же не касались, я с готовностью записал на свой счёт. Было что-то ещё в той истории, что кому-то, до кучи, хотелось «повесить» на меня, однако там нашлись свои герои, точнее, героиня. О каком же из узелков говорил Гуня?

Беляши, огромные — с полторы ладони каждый, обжигали пальцы сквозь клочок туалетной бумаги. Их золотистая корочка щедро смазала пальцы аппетитным маслом. Начинки в беляшах, конечно, мало, фарш едва бледнеет тонкой прослойкой, но тесто ароматное и изумительно вкусное. Жаль, перестали продавать кумыс в бутылках, уже

года полтора-два, а то бы как здорово было! Я протянул Гуне беляш, а от своего откусил приличный кусок, во весь рот. Гуня впился зубами и разорвал беляш почти пополам так, что выпала и та жалкая горсточка фарша. Гуня застыл над ней, переводя взгляд то на беляш, то на меня. Удивлённо-виновато. Всё это — и жадное поедание, и причмокивание, и жалость от потери — предназначалось для меня. Через минуту он забудет о роли и примется, как обычно, машинально отщипывать кусочки и отправлять их в рот, не прекращая разговора.

— Подонки. Если бы не ты, то это сделал бы я. В смысле, я тоже хотел это сделать. Сделал бы, конечно, если бы знал, кто. А оказывается, почти все свои. Короче, ты молодец. Наверное, я бы так не смог.

— Один остался. И я догадываюсь, кто. Как-то в горячках не успел спросить, кто же именно был с теми. Те, кто сам похвастался...

— Скажи, кто, — с сухой ожесточённостью решительно бросил приятель.

Гуня, Гуня. Он искренне переживал за меня. И болел от всякой несправедливости и зла. Особенно, если они не были направлены лично против него. Когда же унижения, обидные нападки, угрозы сыпались на его поэтические плечи — он не замечал их, даже в присутствии посторонних. Так, неуклюже щёлкнет пальчиками: «А, фигня». Махнёт рукой и отправится в жизнь своих стихов и рассуждений.

Мы толком не закончили говорить, как Гуня внезапно распрощался. Пробормотал что-то невнятное, взмахнул тонкой, как сплетённая лоза, кистью и зашагал прочь, шутя удерживая на трезвых плечах нелёгкое всевидящее небо. Я подумал, что он пошёл туда. И что обязательно дойдёт. Как бы ни было ему трудно. Уверенный и сильный. До дверей. И что возле них обязательно развернётся и отправится восвояси. С милым наивным недоумением в поисках обоснований. Так я подумал, зная Гуню и его повадки. Его стиль. Его сущность. Полагая, что знаю. Он всё-таки сходил, куда задумал. Вошёл в двери. И заявил там, что теперь все вопросы к нему, самому главному в этом деле. Над ним посмеялись в лицо и выгнали взашей. При этом я подумал, с какой лёгкостью и радостью Гуня таял в иной реальности. Ан, опять ошибся: Гуню действительно выгоняли чуть ли не на пинках: он неуклюже матерился, в надежде усугубить своё положение, приводил какие-то доказательства и упирался в дверные косяки, как настырный осёл, всеми четырьмя конечностями. Смешно. И как трогательно... Спасибо тебе, Гуня. Узнал я это слишком поздно, чтобы проникнуться настоящей благодарностью.

Мне кажется, что я именно таким и представлял себе комод, его местоположение. И открыл, уверен, именно нужный ящик. Но ни фотографий, ни письма не обнаружил. То ли старушка уничтожила их, то ли забыла, где именно спрятала.

Однако свет на причину пропажи пролила всё та же соседка: вспомнила, что «буквально позавчера» приходила женщина, племянница покойной, и — «при мне было это» — забрала письмо. Потом, якобы, долго сидела за столом, закрыв лицо руками, «а я караулю, а мне в собес надо...».

Единственное, отчего я не расстроился, так это от того, что в мои руки всё ж таки не попала та самая «важная», по словам покойной тётки Веры, информация.

* * *

Я понимал, что разговор с компаньоном о бердяевских наскоках не закончен, он лишь отложен на неопределённо короткое время — компаньон так быстро не сдаётся. Не находилось объяснений одному: почему мы до сих пор не пришли друг к другу и не сказали: «Что же мы делаем? Что нам дороже: то, что мы имели и можем потерять, или то, что приобретём взамен?». Такие простые слова, такой естественный шаг оказались невероятно трудными, почти невозможными и до меня не доходило, почему. Наверное, потому, что мы оба бежали от них, впервые оскорбив и оскорбившись. Да, каждый из нас был с жизнью на «ты», и именно поэтому вдвойне больнее получилось от взломанной трепетности отношений, которой *неприметно* дорожили. Нас охватило воинственное недоумение и было очень важно, чтобы оно не переросло в дуэль характеров, в дуэль на позвоночниках. Боюсь, что поединок должен состояться: компаньон пригласил меня в баню — подключил тяжёлую артиллерию.

Вообще ссора с компаньоном как-то сдвинула реальность, чуть сместила привычное и всё вокруг выглядело так, будто смотришь в треснутое стекло окна или охватываешь взглядом мир над и под прозрачной водой через кромку её поверхности: всё без исключения: и люди, и предметы, какое-то движение, цветовые пятна и линии, даже звуки и запахи — преломлялись, меняли форму, а вместе с этим — смысл и узнаваемость. Мир перестал мне принадлежать, обернулся чужим и недоступным для понимания. Говорят, рвётся там, где тонко... Хрен-то там. Или я *один* считал, что у нас так всё крепко, так всё жилисто перекручено, так всё толсто, что планетами не разорвать?!

Странно грустно, странно раздражительно, странно пусто было на душе. Чуть ли какая-то.

Тем не менее, продолжать разговор с компаньоном я не собирался. Для меня в нём уже давно стояла точка. А вот в отношениях с Бердяем её стоило поставить. Жирную-прежирную. Да так, чтобы он сам снял те проблемы, которые создал. Я позвонил Бердяю и назначил ему встречу в кафе. Оно находилось на улице, которая пересекалась с улицей нашего детства.

— Созрели? — радостно вякнула трубка ужатым и сточенным, обглоданным помехами голосом. — Наконец-то. А что кафе такое задри-

панное выбрал? Может, в японский ресторан? Суши-муши типа... Я плачу.

— Я уже столик заказал, — соврал я.

— Ладно. Буду, буду. Ровно в семнадцать тридцать.

Он подъехал вовремя — я встретил его у дверей. Но заходить в кафе мы не стали. Бердяй удивился. Я предложил прогуляться. Для аппетита. Он нехотя согласился. Мы обогнули дом и свернули на нашу улицу. На противоположной стороне стояла моя Арка, на выступе у забора, как обычно, лежал обрезок доски. Влажный воздух наступавшего вечера можно было есть ложкой. Бердяй достал носовой платок, отёр лоб и шею:

— Душно.

— Гуня умер. Недавно.

Бердяй замедлил шаг и посмотрел на меня — кажется, он удивился искренне — но мой взор был обращён вдоль улицы. Мы уже были почти на месте. Я решил закончить мысль:

— А ты так и не попросил у него прощения.

Политик напрягся. Шаг его стал пружинистее. Не глядя в мою сторону, он глухо процедил:

— Ты меня зачем позвал? Дела завершить или мораль читать, на совесть давить?

— Дела завершать.

Мы остановились возле домов, где обитали ведьмы.

— Не хочешь войти в этот двор?

— Зачем? Ты зачем меня *сюда* привёл?

Видно было, что Бердяй уже жалел обо всём на свете: и о далёком прошлом, и о том, что может быть в настоящем, то есть прямо сейчас.

— Ты знаешь, зачем. — Я закурил сигарету, которую вертел в руках от дверей кафе. — Там мазанка есть. Видишь? Помнишь это место?

— О чём ты спрашиваешь? Я не понимаю твоих загадок.

— Не дуркуй, Бердяй. Ты всё понял. Представляешь — до сих пор стоит. Словно чего-то ждёт. Или кого-то.

Бердяй собрался, чуть пригнул голову, глаза его горели. Он был похож на загнанного волка, который готовился броситься в последний бой:

— Каждый из нас наделал много ошибок. В этом у нас с тобой в жизни много схожего найти можно.

Зря он *на это* намекнул. Я словно увидел себя, как побледнел, как обострились мои черты, напряглись мышцы, а внутри что-то ухнуло долу. Усилием воли я развеял плену перед глазами, вздохнул глубоко и выдохнул медленно.

— Послушай, Бердяй. А как ты с этим живёшь всю жизнь? Я бы не смог.

— Ты о чём?

— На самом деле тебе просто повезло *тогда*, что я не нашёл доказательств, что *там* был ты.

— У тебя их и сейчас нет.

— Вот ты и спалился. Сам признался. А ты же понимаешь, что я не судья и не прокурор — мне доказательства не нужны... Важно, что мы оба знаем одну и ту же правду. Так?

Бердй поменялся в лице, губы натянулись, морда покраснелась:

— Ты же не будешь делать глупостей? Ты что, больной?! Столько лет носить в себе, помнить какую-то хрень — глупости малолетние! Ну ладно бы она была твоя девчонка... За свою ещё понятно. А так... Да и сейчас кто из нас где? Где она, ты, я, остальные? Всё быльём поросло...

— Это точно. Поросло. Прополоть бы надо...

— Комедиант... не играй словами.

— Иди, Бердй... Иди. И к фирме моей не подходи на пушечный выстрел.

— Дурак. Вы же заработать со мной можете приличные деньги.

— Иди.

— Проснись! Ты же в каком-то болезненном плену у прошлого! У этого своего детства-отрочества. То Гуню припомнил, то это...

— Из плена — бегут. А я своё детство ищу.

— Сходи к врачу, а? История не пятится назад! Время никто не отменял, а оно тоже смотрит вперёд, если помнишь...

— Тебе не понять. Детство для меня — тональность. Точнее — интонация. И метр, ритм. — Я задумался, говорить ли мне дальше или просто поставить условия, прислушался к себе, к миру, подыскал волну и решился. — Они задают особенную гармонию жизни. Её стройность, целостность. А когда-то я здорово сфальшивил — так было нужно — и теперь никак не найду той самой главной ноты... Впрочем, тебе не понять. Зато вполне поймёшь вот что. Я не хочу потерять ещё одной ноты: это означает, что сейчас ты сталкиваешь нас с компаньоном лбами. Уразумел? Что из этого выйдет — никто не знает. Но для тебя — точно ничего хорошего. — Я показал рукой на мазанку, спрятанную за кустами: — Не делай больше ошибки. Сам позвони компаньону, скажи, что диспозиция меняется: мол, счастья и приплодов вам, ребятки. Короче, не мне тебя учить, как своё слово забирать.

Я чувствовал спиной чьё-то присутствие, будто кто-то стоял и прислушивался к нашему разговору. И при этом явно поддерживал меня неведомой силой. Я оглянулся: пустая улица жила тенями, одна из них косым трезубцем протянулась ко мне от Арки.

Встреча с Бердеем повлекла за собой неожиданные перемены, но не житейские, не деловые. Меня отпустило: ещё один из тайных жёстких щупальцев юности вдруг ослабил хватку и отмер. Исчезло, растворилось некое прострационное отупение, с которым я воспринимал Бердеев, а сам Бердй — ещё более отдалился, потеряв для меня всякую окраску и форму, как рыба в мутной загаженной воде. А с ними — и

содержание. Новое состояние прижилось во мне без ярких эмоциональных встрясок, будто я просто сменил зимнюю обувь на летнюю и зашагал дальше чуть легче, чуть быстрее. Так, отметил для себя с приятностью новую свежесть шага, парящее облачко под сердцем и просторность в голове. И всё.

* * *

Она сказала, что Пижон пропал. Просто сообщила, глядя в сторону. С такой интонацией, с какой говорят, что наш автобус ушёл, но, возможно, скоро подойдёт следующий. Раньше она решала свои проблемы сама и ни разу меня ни о чём не просила. А сейчас это была мольба о помощи.

Первым делом я посетил *моего* начальника милиции — тот озадаченно развёл руками и посетовал о «трудной отцовской доле», особенно с таким притким и «безбашенным героем», которому, если «не прижать хвост» сейчас, — прямая дорога за «колючку». Забежал в общежитие — вахтёр признался, что ключ от комнаты жилья висит на месте «с неделю как» (приврал, конечно), «а вообще — с ним такое и раньше бывало». Караулил возле Арки — опять безуспешно.

Пока я думал, где его искать, а то, что искать нужно, к тому же — срочно, не вызывало сомнений, ноги сами привели меня к «Рюмочной». Я спустился в знакомый подвальчик.

Они сидели, как ни странно, в пустынном зале на кафельном полу, с утра ещё чистом. Он — скрестив по-турецки ноги, она — обхватив руками колени. Перед ними стояли пустые стаканы и бутылка водки, содержимого в которой осталось не более чем на два пальца. Пижон, сидевший ко мне спиной, размахивал, бахвалясь, пачкой мятых денег, а Маня-Ира с алчным восхищением взирала то на купюры, то на их владельца.

Первой меня увидела Маня-Ира. Что любопытно — узнала. Она сначала опешила, потом обрадовалась, а следом приняла грозное выражение лица, видимо, и небезосновательно полагая, что я пришёл расстроить её помолвку с новой жизнью. Хмель — и тот не смог заглушить в ней силу предчувствия: столь сердечно было её желание всплыть, а связывала она его, как помнится, именно с Пижоном.

— Чё припёрся?! — она набычилась, правда, отнюдь не намереваясь встать. — Вали отсюда!

Пижон обернулся. Он сохранил неизменным выражение лица, сколько было необходимо, затем недобро улыбнулся.

— О-о-о... Кого мы видим! Зачем ты гонишь человека? Похмелиться — дело святое, — развязно проговорил он, неспешно, чтобы я увидел, запихивая деньги в карман пиджака.

— Можно подумать, ты алкаш со стажем, знаешь цену похмелья. Откуда у тебя деньги?

— Не твоё дело.

— Лучше бы на рыбалку сходил, — брякнул я в сердцах ни с того ни с сего.

Мои слова сбили его с толку, но ненадолго: Пижон был талантливо находчив.

— А вот моя золотая рыбка...

Он погладил по голове Маню-Иру, которая тут же уголки морщинок перестроила в параллельные линии. Она переползла к нему, обняла и опустила голову на плечо. Но не перестала посылать в меня исподлобья тяжёлые огненные стрелы. Пижон, почувствовав себя мужчиной и отцом — от него требовали заботы, — приосанился, покровительственно похлопал её по спине. Картинка сама по себе была смешной, щедро помазанная наивностью или даже глупостью. Но искренней: они изображали то, чего им не хватало в жизни, пусть каждому своего особенного.

— Пить будешь? — грубовато спросил он, наливая водку в стакан.

— Я не пью в девять утра.

— А я пью...

Стакан медленно поплыл вверх. Наверное, я хотел потерять самообладание и взбеситься. А может быть, это был лишь психологический ход — ошарашить, которому научила меня жизнь. Я пнул его руку. Стакан полетел, вскользь чиркнув по лбу Маню-Иру. Схватившись за лицо руками, та взвизгнула. Следом зазвенели осколки битого стекла.

Пижон вскочил на ноги, но ударился плечом о стойку. И от этого едва не потерял равновесие. Удержался-таки на ногах. Потирая ушибленное плечо, он сверкнул на меня глазами, пригнулся и на ощупь взял бутылку за горлышко. Медленно расправился и чуть прищурил глаза.

— Поставь от греха подальше... — ровным безразличным голосом сказал я.

— Думаешь, не ударю? — прохрипел он гортанно.

— Ударить. Но ты же знаешь, что я не боюсь. И жила у меня крепче.

Тут Маня-Ира, которая во время перепалки тихонько подвывала, оказалась на ногах и вдруг возопила:

— Он меня чуть не убил! Чё ждёшь? Врежь ему! У меня вон кровь на лице!

Но Пижон отгородил её от меня рукой. Маня-Ира взглянула на свою ладонь, отведённую от лица, и замерла в недоумении. Пижон бросил короткий взгляд и обронил:

— Это не кровь. Это сопли, дура.

Испуганная продавщица, потерявшая дар речи от случившейся бузы, вдруг очнулась и тонким пронзительным криком разрежала своды зала. Грозилась вызвать милицию, если мы не уgomонимся и не заплатим за разбитый стакан. Я её успокоил и полез за деньгами, чтобы оплатить бой. Но Пижон меня опередил, бросил на прилавок скомканную десятку. А для этого ему пришлось расстаться с бутылкой.

— Да, твоя жила крепкая, — тихо сказал он. — И я тебя не ударю. Пока. Только не думай, что я тебя боюсь. А моя жила крепче твоей будет. Какие мои годы?

Я пожал плечами.

— Домой идёшь? — слишком обыденно вымолвил я.

Он вдруг резко толкнул меня в грудь двумя руками и закричал:

— Отлепись от меня! Что ты лезешь в мою душу, в мою жизнь?! Что тебе от меня надо? Домой зовёт... «Приходи ко мне жить»! От ментов отмазывает! Песенки поёт... Жизни учит... А я буду воровать!!! Слышишь?! Я вот уже вон сколько украл!!!

Он начал вытаскивать из карманов деньги и подбрасывать их саляutom.

— Она тебя ждёт, — тихо сказал я.

Его пыл тут же угас, а в глазах проступила усталость.

— А чё она? — вновь вспыхнул он и не договорил, заворчал глухо: — Ждёт... Как же... Не знаю я, кого она ждёт: его, тебя, меня... Уже чёрт знает сколько лет...

— Всем нам нужны время и силы, чтобы разобраться с собственной жизнью. И поддержка нужна. Да-да... Нужна. Попробуй понять её. Может быть, ей так нужно... Сейчас только нужно...

— А меня кто поймёт?! А?! Меня?! Я тоже жить хочу! Просто жить нормально! И знать, что меня любят, что я кому-то ещё на хрен нужен! Вот ей, слышь, ты, заботливый, — он тряхнул немую и перепуганную Маню-Иру так, что её тело и руки качнулись, как колокольные канаты. — Вот ей я действительно нужен! И...

— Тогда что ж ты её топишь своей водкой?! Или забыл, чего она хочет? Людей не слышишь, пару жизненных уроков съел — не переварил: поносом вместе с мозгами вон вышли! Дурень, ты над жизнью на своём безмозглом сердце стоишь... как на mine! Один бездумный шаг в сторону — рванёт! Ладно, самого на-куски-несобрать — другие пострадают... Будет тебе и жила крепкая, и жизнь яркая...

— Ух-ходи отсюда подобру-поздорову, — топко зашептал он, по-бычьи наклонив голову. — Я сам решу, как мне жить. Без твоей проповеди. Уходи, сказал!

Мог бы я его «поломать», уговорить? Скорее всего, да. Но я ушёл. Просто вызвал *ей* такси и сообщил, где найти Пижона.

* * *

Я никогда не понимал, что *ей* от меня надо. Да и не искал объяснений, зачем *она* мне. Вот уже несколько дней *её* нет дома. Такое случилось не раз, но впервые в пространстве моей квартиры, в самом тесном воздухе образовались невидимые заусенцы и занозы и что-то заставляло меня заглядывать, например, в кастрюлю, открывать «аптечку» и, не различая, изучать её содержимое, посылать дугообразный взгляд на

антросоли. Пока я не связывал одно с другим — просто почувствовал, что хочу её увидеть.

Два дня — ровно столько мне удалось вытерпеть в бездействии, делая вид, что меня ровным счётом не беспокоит её исчезновение. Да и их я сиднем просидел в кресле за рабочим столом, ни на секунду не вспомнив о деле. Если же компаньон или кто-либо из сотрудников вторгались в жизнь моего ожидания (а оно жило своей собственной, насыщенной тоской и оцепенением жизнью, поглотившей и меня самого), я отвечал невпопад, давал глупые поручения и раздражался. В конце концов, потребовал, чтобы меня не беспокоили, и остаток дня простоял у окна, всматриваясь в улицу: угол дома напротив, окаймлённый, как поля шляпы, тротуаром; фрагмент проезжей части, пересечённый клавиатурой пешеходного перехода, по которому, совершенно не соблюдая тактов и ритма, пробегали прохожие и каждый из них играл свою партию в нескладной сегодня партитуре жизни. А я гипнотически смотрел за стекло, словно именно в этих нескольких десятках квадратных метров перекрёстка, видимых мною, она непременно появится и, возможно, по моей воле, силами жгучих моих желаний.

Вечерами же становилось и того хуже: не спасал ни детектив, ни телевизор — я слонялся по квартире, мял подушку, ворочаясь на ней, как на горячем камне, и без конца курил. Это новое состояние вытеснило меня из самого себя, вытеснило вместе с моими привычками, размеренной обыденностью и привязанностями. Так прошло ещё несколько дней.

Как-то ко мне в кабинет вошёл компаньон и сказал:

— Во-первых, хрен с ним, с Бердяем и его заказами.

— Хрен... Он звонил?

— Нет. Я ему позвонил и дал отбой, но он почему-то легко смирился. Ну да фиг с ним. Во-вторых. Всё. Успокойся. Её нашли. Всё нормально, она жива и здорова...

— Нормально?! — съехидничал я устало, но взял себя в руки. — Где она? С тем мужиком-маньяком?

— Вот уж сразу и маньяком. Хотя я не знаю, о ком ты говоришь. Среди депутатов и бизнесменов тоже есть и тираны, и маньяки. Не исключаю.

— Адрес!

— Не горячись. Есть адрес, но дом охраняемый. Хахаль не торопится выпускать её из дома. Но... Крепись... И включи мозги. Она могла бы улизнуть, если бы у неё было желание.

— Адрес давай!

— Что ты, как попугай?! Заладил одно и то же... Слушай, что предлагаю. Поскольку дом с крутыми заборами...

— Не помеха... Из мест покруче уходили...

Компаньон на этот раз не вступил в перепалку, продолжил:

— ...и свора охраны, наш начальник службы безопасности предлагает такой план...

— При чём здесь наш начальник службы безопасности?

— Нет, ты неадекватен. Кто её, по-твоему, нашёл?!

— Кстати, да... А как её нашли?

— Я дал службе безопасности её фотографию...

Я ухнул филином:

— А откуда у тебя её фотография?

— У-у-у... Это уже совсем безнадёжно. — Он, было, отвернулся, а потом навис надо мной, упираясь руками в стол. — А не мы ли семьями отдыхали в прошлые выходные на турбазе? А не вы ли тремя днями раньше заезжали к нам? Домой! Отметить покупку моей женой салона красоты? А не фотографировались ли мы там все вместе? Ну, что ты, как, прости, балбес?

Я извинился и смутился. А в голове рельефно кружили всего два слова: «семьями» и «балбес». Первое говорило о том, насколько серьёзно компаньон относился к тому, что она появилась в моём мире, и я ему был за это благодарен. А второе, видимо, к ситуации. Пока я что-то пытался сообразить, он продолжал:

— Девки наши, естественно, общались. И у моей жены собралось уже целое бабское досье на твою. С гороскопами, любовниками, любимыми магазинами и прочей дребеденью. По крайней мере, этого хватило, чтобы её разыскать. Так вот. Предлагается следующее. Её вывозят в супермаркет «Никольский». Отовариваться. Во вторник и пятницу. В три часа водила-охранник подгоняет джип к одному из входов...

Огромный супермаркет углом выходил на пересечение двух улиц и входы в него были с обеих сторон. У одного из них я припарковал свою машину. К другому, судя по наблюдениям, должны были привезти её. Шофёр, он же охранник, из джипа не выходил, когда она направлялась в магазин, только встречал, чтобы перекинуть содержимое коляски в багажник, поэтому логика моих действий была очевидна.

— Ты? — удивилась она, когда я вырос перед ней из-за товарного ряда.

Вместо ответа я взялся за ручку её корзины-коляски:

— Помогу.

— Я сама справлюсь, — она попробовала изменить направление движения, но я уверенно увлекал широким шагом и её, и каталку с продуктами.

— Непохоже. Пока ты делаешь одни ошибки.

— Куда ты меня тащишь?

— Тебе разве не нужно приходить домой?

— Мой дом в другом месте.

— Тогда какого чёрта твои вещи валяются в моей квартире?

— Я посылала за ними. Ты их не отдал.

— Да, я спустил «послов» с лестницы. Вдруг они мошенники и воры? Да и как чужие мужики будут копошиться в твоих трусах и лифчиках. Мне это неприятно. А ты, похоже, балдеешь. А если без шуток, это трусливо и гадко — не прийти и не объясниться.

Я всплеснул руками, *она* тут же откатила коляску в сторону, но я ухватил её за запястье.

— Раньше в этом не было необходимости, — вдруг бесстрастно сказала она. — Почему, скажи, она возникла сейчас?

Я всё слышал и ничего не хотел слышать. И отвечать на столь неожиданный, но справедливый вопрос.

Мы быстро, почти бегом, пробирались вдоль рядов с продуктами. *Она* всё ещё катила коляску, я сжимал её руку. *Она* попыталась вырваться:

— Почему вы все насильно тащите меня в свою жизнь? Меня кто-нибудь когда-нибудь спросит, чего я хочу сама?

Я резко остановился, гружёная коляска выскользнула из её рук и покатилась, затем врезалась в стеллаж — на зеркальный кафель полетели разноцветные упаковки.

— А что ты хочешь?

Но я не дождался ответа, вновь с силой дёрнув за руку, потащил за собой.

Она взмолилась:

— Но у меня же продукты!.. Для гостей продукты! Для праздника...

— Отлично. Я очень голоден, а холодильник дома пустой. Да и компаньон собирался сегодня забежать на кофе. Чем не гость и не праздник?

До дома мы ехали молча. Холодильник и впрямь был пустой, а коляску с продуктами мы оставили, к изумлению продавцов, у кассы. Единственное, что я нагло потребовал от неё — оплатить (уверен, из бюджета хахаля-тирана!) в качестве контрибуции за своё захватническое поведение осетровый балык и бутылки «Хеннесси» и «Мартини».

Я толкнул её в кухню, достал рюмки и лимон. Схватил нож и, позабыв о рыбе, огромными неровными кусками нарубил цитрусовый. *Она* смотрела на меня жалким непонимающим взглядом, обессиленная и уставшая.

— Ну, что ты бесишься? — глухо спросила *она*.

— Почему ты вернулась к нему?

— Он меня любит.

— Он готов продать тебя за моего коня. Я был у него. Говорил с ним.

Похоже, *она* не удивилась. Я налил в рюмки коньяк, подвинул к ней одну, другую без предисловий и закуски выпил.

— А тебе жалко за меня отдать коня?

— Ничуть. Просто то, что мне дорого — всегда было и будет со мной. А его поведение тебя не смущает?

— Тебе не понять. Я ему обязана. Нет — благодарна. Он очень сильно помог мне... в трудную минуту.

— И тем самым купил твоё расположение. А ты, в знак благодарности, снова ломаешь свою жизнь. И, если честно, то я за тебя боюсь.

— Это моя жизнь.

— Да. И она одна, к сожалению или счастью. Но тут есть неувязочка... Он держит тебя взаперти, а ты это называешь...

Теперь *она* перебила меня:

— Я ему нужна.

— Ему нужна не ты, а твоё покорное боготворение. Благодарность длиною в жизнь.

— Нам всем нужны чужие жизни, как свои. Чтобы рядом. И только с тобой. И только для тебя одного.

— Вот ты и ответила на свой вопрос.

Она недоуменно подняла на меня глаза, усталые и потухшие. И заговорила, уронив голову на сомкнутые над столом руки:

— Нам надо побыть врозь, пожить отдельно...

— А мы ещё не были вместе.

— Прости. Это моё решение. Я так хочу.

— Не ври.

— Так будет лучше.

— Не будет.

— Так нужно. Сейчас. Пока...

— Иди прими душ, я приготовлю ужин, — я и позабыл, что дома шаром покати.

— Я ухожу, — *она* поднялась и пошла к двери.

Я видел её *уходящей*.

— Вещи не забирай. Ключ оставь у себя. Я буду тебя ждать, — сказал я ей вслед. — Я знаю, что нужен тебе только я. И ты будешь со мной.

Действительно, в последнее время я постоянно тащил кого-то от кого-то или чего-то... То ли в свою жизнь, то ли в их собственную. Из-за этого открытия мне стало как-то разом противно, все мои поступки и порывы показались смешными, глупыми и бесполезными. А брошенные ей вслед слова — наивностью малолетнего, пошловатой для взрослого дяди. И вдруг без объяснений мотивов обозначилось, что мы с ней впервые *разругались*. Что означала бурная размолвка в слепке наших отношений, как к ней относиться — до того ли, думать об этом? Досадуя на себя, я не хотел сколь-нибудь трезво помыслить о будущем. С ней. Душа кипела — я рвался прочь от угнетающего разочарования. Рвался с болезненной решимостью одним перелётом изменить свою жизнь. И, возможно, чтобы снова наделать ошибок.

* * *

Мы увиделись в Париже, как я и предполагал. Моя цыганка прилетела и обрадовала меня:

— Я тебя люблю. Но я уже помолвлена. Нет, это не он, — быстро добавила она, будто пояснение что-то меняло, а я и представления не имел, кого она имеет в виду. — Я приглашаю тебя на свадьбу. Глупо, да?

В последнее время вокруг всё валилось, рушилось разом и отовсюду! Я не понимал, что вообще творится, и это меня только накручивало. А я так рвался, так торопился завершить дела в Лихтенштейне, где мы открывали представительство, носился, как угорелый, и что теперь?

«Почему бы ей не предложить мне поддержать свечу в их первую брачную ночь?» — цинично подумал я. Она должна была быть моей. Или ничьей. Нам иногда так верится в пьяную силу нашей крайности.

Мы несколько часов бродили по Парижу. Я не знаю этого города. Говорят, Париж — город влюблённых. У меня было некое совково-романтическое представление о нашей встрече: прогулки по дартаньяновским закоулкам, вино в кафе под песни Джо Дассена или, по крайней мере, под звуки аккордеона, из окна — афиша фильма с Бельмондо. А вечером — залитая огнём Эйфелева башня. И поцелуи в тёмных уголках. Город и встреча оказались другими: перед глазами — носки моих ботинок, которые впечатывают в трещинки парижских мостовых невесёлые думы.

— Ну, скажи же что-нибудь! — не выдержала она, когда мы сели в такси. — Не молчи! Я не могу так... Ну, получилось так! Так, как было угодно звёздам... В конце концов, я выхожу за него, потому что не люблю.

У неё были очень тонкие чувственные ноздри. Маленькие. Но трепетные, как у лошадей.

— Прямо колыбельная какая-то... «Баю-бай...»

— Я тебя не успокаиваю. Я хочу, чтобы ты понял...

— Понял — что? — резко прервал я её и жёстко посмотрел в глаза.

— Ма-амочка... — нараспев, почти без иронии, почти без одесской интонации, почти с правдоподобным испугом сказала моя цыганка, — он меня сейчас убьёт. И тем самым расстроит мою никому не нужную свадьбу. Он, — моя цыганка пальцем указала на меня затылку таксиста, — он всегда расстраивает все мои свадьбы.

Я отвернулся и уставился в окно. А она вдруг рассмеялась.

— Хочешь, я подарю тебе коня?!

Всё вспомнилось. Невольный смех судорожно докатился до горла, встряхнув тело, но я подавил его.

— А Триумфальную арку слабо..?

Мне едва не пришлось дважды повторять вопрос. Улыбка медленно сошла с её лица. Она отстранилась, будто по-новому глядя на меня или, напротив, разглядывая нового человека, и серьёзно, но обыденно просто, на выдохе сказала:

— Да... Ты её вполне заслуживаешь.

Я, скорее, ошарашенный, чем польщённый, попытался переварить сказанное быстро, чтобы достойно парировать, но выдал наболевшее:

— Тогда почему же ты не прилетела ко мне в Россию? Ты обещала.

Она чуть подумала и ответила голосом маленькой взрослой девочки из провального документального фильма времён холодной войны:

— У вас там снег и морозы, а по улицам ходят медведи.

— Один из них ждал тебя с букетом цветов...

— Двадцать одна..? — моя цыганка подняла на меня блестящие глаза. — Хотя, зачем я спрашиваю...

Она на мгновение погасла. Стала беззащитной и какой-то необыкновенно родной, близкой... Обезоруживающе-правдиво, по-настоящему. Она всегда была настоящей, даже когда сильно скрывала это.

— Ещё дома, в Венгрии, я решила, что стану твоей женой. Даже если ты этого не захочешь. Думала — сумею тебя в себя влюбить...

Я тихо перебил её:

— Я люблю тебя. Давным-давно, как пацан...

Сравнение моё не имело логики, но являлось откровением.

— Что?! Что ты сказал?! О, Боже... Какая же я дура набитая! Какой же ты дурак, а?! Как же ты мог?! А?!

Она застонала и обхватила голову руками, а когда подняла на меня глаза — в них были слёзы. Я поцеловал мою цыганку в лоб, словно покорно признал обречённость нашей странной любви. Нашей хрупкой и опасно-острой, как кораллы, страсти. Но душа не желала мириться и мы стали судорожно, нервно искать губами губы друг друга. А изнутри прорывалось наружу, думаю, и у неё, и у меня, одно: «Что же мы делаем?! Давай никуда не поедem, слышишь?!». И почему-то не сказали самого главного.

В самолёте, что вызвало моё нежное ликование, среди предлагаемых напитков оказалась водка. И я её выпил. Выпил бутылку водки и не захмелел. Моя цыганка была потрясена. Стюардесса и окружающие украдкой поглядывали на меня, как на иллюзиониста. А я просто прощался. С чем-то, что больше, чем любовь и обладание желанной женщиной. А если учесть, что от жизни мне уже *почти* ничего не нужно, то... Как с последним шансом, не использовав который, пока ещё блёкло предвидишь, как падаешь в бездонную чёрную пропасть. Водки оставалось ровно на рюмку, она пошла, как вода — ни обжигающего холода, ни сладкой горечи. Встревоженный взгляд стюардессы перебежал от меня к моей цыганке. Наконец, моя спутница нашла веский для всех аргумент, успокоивший самых безнадёжных. «Он — русский», — сказала она. И, кажется, даже самолёт полетел легче. Мы летели в Испанию (La Corona — кажется, так выглядело на табло расписания название пункта назначения) на её свадьбу.

Нудная богатая европейская свадьба. Бриллианты, наряды «от кутюр» и прочая дребедень. Впрочем, в одежде я не отличался от других: дорогое, подогнанное по миллиметрам, натуральное, лакирован-

ное (пришлось на время расстаться с кожаным пиджаком!) и тэпэ. Скука. Даже пьяненькими гости оставались презервативно-церемонными. Кроме испанцев. Но их на свадьбе было мало. Зато моя цыганка в роскошном белом платье безумно танцевала страстный испанский танец: там-та-та-та-там... Я знал, что он посвящается мне. И ушёл, не досмотрев, не дослушав то, что и без того жило в моём сердце.

Если нет любви в твоих проводах... Я не знал, куда иду — ноги уносили меня от очередного перепаху по одной из случайных дорог. На окраине посёлка не к месту хорохорилась в сиянии автозаправочная станция. Я как раз проходил мимо, когда вдруг руки мои сжали воображаемый руль и повернули его в сторону заправки. Мелкими шажками, под тархтение не очень современного двигателя, звук которого рождался у меня во рту путём немислимых комбинаций губ, щёк, языка и связок так старательно, что летели слюны, я подрулил к колонке. Остановился возле неё, достал «пистолет» со шлангом и вставил его в карман своего пиджака. Но заправка выглядела пустынной лишь на первый взгляд: усатый рабочий в униформе взирает на меня с выпученными глазами.

Я вынул «пистолет» из кармана, недоумённо посмотрел в его пустое дуло, а затем прислонил ствол к виску и прикрыл веки. «Курок» был нажат и, конечно же, раздался выстрел. Умирая, я закачался, теряя равновесие, но всё же умудрился аккуратно вставить пистолет в держатель. Когда я огляделся, испанец был уже совсем близко. Он по-прежнему таранился на меня с таким выражением, будто безумие охватило его, а не меня. В руках рабочего появился сотовый телефон. Мне стало скучно и я зашагал прочь. Было тесно и душно. Глоток океанского простора и свежести — вот чего хотелось мне до ужаса.

Уже стоя на скале и глядя на бескрайний океан, я сумел обнаружить себя, словно встретить знакомого после долгих, но тщетных поисков. Я не страдал. Не жалел ни себя, ни своего будущего. Каждой клеточкой я ловил налетающий ветер. Меня распирала одинокая безудержная сила, жаждущая беспощадного изматывающего сражения, чтобы *не победить*. Дикая, полётная сила готовности к смерти: куражная — на, возьми(!), без всякой ненависти — ставка «компот на поминках»... Я вдруг раскинул в стороны руки, как мельница, готовая раскрутить и зашвырнуть на задворки небес самый ураганный, самый неистовый ветер... И закричал. Так, словно выворачивал себя наизнанку исходящим криком.

Но ветер внезапно ослабел и мне стало тошно. Обидно и тошно. Выругавшись, я сел на плоское каменное ложе, всё ещё хранившее дневное тепло. Хорошо, хоть не изменил родным российским обычаям — прихватил-таки со свадьбы бутылочку брэнди.

Я открыл её и стал вливать в горло, лишь крайним глотком пожалев слизистую и рецепторы — оросил, дал насладиться обжигающей влагой. Прислушался, проследил движение горячего потока и снова прислушался. Теперь уже — к своему настроению.

Быстро и изрядно опьянев, я начал паясничать. Хмель отпустил вожжи бунтующей подкормки и та саркастически опорожнилась под себя стулом, который вдвойне стыдно сдать в лабораторию на анализы. Суждение было следующим: «Если океан так огромен, то каких размеров у него должно быть влагалище?!». Причём, меня не смутило, что слово Океан — мужского рода, а свежееупомянутое — и морфологически, и по семантике, понятно, какого. И уж подавно не возникло мысли, что само по себе высказывание ненаучно, противоречит природе вещей и никак не вписывается в современную картину мира, являясь продуктом спонтанно проснувшихся реликтовых верований. Я запил недолгие размышления двумя большими глотками и почти протрезвел.

Лет десять назад один «старожил» научил меня бить чечётку. Русский народный вариант. Эстрадный бесстыже-балаболистый похотливый степ с чванливым отстуком не для меня. Мне по душе скромная собранная чечётка, которая нежно шепчет о потаённом, не в силах сдержать удары неумного трепетного сердца. А уж коли изранена душа и криком исходит — рви землю и просторы разбитной забористости в пыль, в дым, а с ними — и рубаху, и мысли горькие!..

Тут я как бы увидел себя со стороны — танцую! На испанской скале, в испанском воздухе: щ-щик, чики-чики-та... Под восхищённые вздохи океана.

Не скажу, что испытал облегчение. Просто упорядочилась плачевность моего состояния, испустив дух, съёжились надувными игрушками излишние эмоции. Я хлебнул ещё брэнди и немного расслабился.

Теперь я себя чувствовал галантным умирающим китом (если подобное сравнение возможно!), огромным, выбросившимся на берег по одному ему известной причине. Или не известной даже ему. «Смейся, паяц» над разбитой любовью...

— Иногда природа создаёт какие-то штучные вещи, — внезапно раздался за спиной тихий голос, — которые остаются таковыми, сколь много или мало им не было бы отмерено. Это верно и в прямом, и в переносном смысле.

Сердце моё дёрнулось, как воздушный шарик под внезапным порывом ветра, и краткой дробью отрикошетило до висков.

Она была уже без шляпы. Всё в том же белом платье, чуть подкрашенном алым. Ветер играл её длинными пышными волосами, как чёрным неземным пламенем. Я заглянул ей в глаза, но ничего, кроме багрового заката, в них не увидел.

— Странно, но я не ожидала тебя здесь встретить. Просто подумала, когда ушла от гостей и увидела эту скалу, что ты, если бы заметил её, обязательно на неё взобрался. Хочешь меня?

Мне захотелось посреди океана поставить Арку и пройти сквозь неё, загадав желание. Именно это я сделал, задрал и скомкал в порыве свадебное платье моей цыганки.

Потом мы долго сидели и смотрели на океан, тронутый лунной дрожью. И насколько сначала было хорошо, настолько после стало гадко. Мы чувствовали это оба. И неопределённо долгое время молчали.

— Зато теперь мы сможем с тобой видиться. Хотя бы раз-два в год.

Зачем делать сложным то, что проще простого... «Успокоила, — подумал я. — Как «свиданки» на «отсидке». Что-то со мной происходило, будто океан, живший во мне, через каждую пору в коже, через каждую клеточку стал исходить вместе с чувствами, мыслями, энергией, памятью...

— Предположим, я не буду иметь детей... — тихо сказала она.

Я посмотрел на неё и мне увиделось: наша скала разделилась на две части и та половинка, на которой оказалась моя цыганка, уносила бывшую чужую невесту в океан, всё уменьшаясь в размерах, и, видимо, исчезла бы совсем, если бы до меня не дошёл смысл её слов. *Пожарник выдал мне справку, что дом твой сгорел...*

— Это лечится. Говорят... Иногда... — пробормотал я первое, даже не сделав усилий понять, была ли оговорка или умысел в подборе слов «не буду» и «не смогу».

Моя цыганка усмехнулась и отрицательно покачала головой.

— Можно приёмных взять... — бубнил я. — А можно и не брать. Мне поздно уже. Самому. Я и не планировал... обзаводиться детьми...

Я нёс несусветную белиберду, похожую на лихорадочные шажки канатоходца, который панически старается удержать равновесие.

— Так. Чтобы было проще и понятнее, наговорю кучу гадостей. — Она переслала в мою сторону два острых лунных луча. — Ты предлагаешь мне стать твоей женой. Зачем?

— Чтобы быть вместе...

— Зачем?

— Дурацкие вопросы. Я тебя люблю.

— Любишь? — далее говорило всё: руки, рвущие воздух перед моим лицом; глаза, оставляющие след падающих звёзд; голос, полный океана и достигший неба. — Так докажи! Я дала тебе повод и отказала! Скажи что-нибудь! Или сделай, сумасшедший русский! Столкни со скалы! Порви на мне платье, чтобы я вернулась к гостям голой! Тогда я поверю, что ты меня любишь!.. Любит меня... Меня? Или во мне возможность изменить свою жизнь? Я же вижу — ты, есть такое слово в русском языке, — неприкаянный! Будто ты не ты. А вот почему ты такой, не знаю. Зато знаю, что ты получил бы взамен: приёмы, светские рауты, вечеринки, дежурные фразы, стеклянные улыбки, облезлые любезности... Это — моя жизнь. Моя блистательная жизнь, от которой я никогда не откажусь. Она питает меня, для того чтобы я снова изо дня в день влетала в неё великолепной бабочкой и порхала под восхищённые вздохи, упиваясь сладчайшим нектаром безмозглости и обожания. А ты... Ты-то всегда тяготился этикетного общества! Зачем тебе *такая неволя*?!

— Ты не пустышка, какой хочешь себя представить. У тебя есть своё дело. Общественные благотворительные фонды зовут тебя в почётные председатели. Тебя саму тошнит от твоего окружения и глянцевої жизни...

— Я подбираю автомобили под цвет губной помады, — невыразительно перебила она меня.

— ...И ты нарушаешь неписанные законы высшего света, как Ева, сорвавшая плод... Да, ты немного сумасбродная, эпатажная, но...

— Прав... Тысячу раз прав! Почему нам не выкинуть ещё одну глупость?! Почему нет?! Давай поженимся! А как надоест — разведёмся! Представляешь, свет умрёт от разрыва мочевых пузырей и изжоги! Махнём в твою снежную Россию и будем стоять в очередях!

— Очередей там давным-давно нет, — огрызнулся я, — а летом бывает плюс тридцать с лишним! Ты будешь разочарована: на пляжах не ходят в шапках-ушанках! А снега в последние годы в Европе едва ли не больше, чем в России...

— Оживился... — буркнула она. — Не такая уж я мёртвая дура. Просто надо же о чём-то говорить... глупом... Чтобы смеяться, а не зарыдать. К сожалению, я тебя люблю... Но теперь это полная бестолковица.

Зазвонил телефон. Посреди скал и океана звонок овеществлял звук нелепости. Как ниточка с *того света*. А что, позвольте спросить, считать *тем* или *не тем светом*? Когда русский мужик, пусть при деньгах, но с жутким до мурашек прошлым, приглашённый в нереальную Испанию на дурацкую свадьбу, какого-то хрена сидит на скале перед океаном с мыслями о принцессе, за руку и сердце которой пол-Европы денежных мешков и снобов-аристократов стоят в очереди несколько последних лет!..

Я не понял, сначала, что произошло. Но нашёл пиджак и взял трубку. Звонила *она*. И я узнал, что мой прежний, мой старый дом сгорел.

— Я подумала, может, это известие для тебя важно, — сказала *она*.

В моём воображении живо возникла среди обугленных брёвен и кучи золы сиротливая Арка. Исход океана завершился, почву раскроили трещины, они удлинялись, убегая за горизонт, и расширялись. Казалось, я вот-вот начну разваливаться на куски. Но нет места пустоте в природе! Оно пришло. И было очень настоящим. Да-да. Неподдельным, ярким. Разрастаясь, оно заполнило мою плоть, пропитало сознание и дух до кромок ауры.

Это было одиночество. *В комнате с белым потолком, с правом на надежду, в комнате с видом на огни, с верою в любовь...* С каждым часом оно кристаллизовалось, так что в жилах стыла кровь. И я не заметил, когда оно стало *абсолютным*. Если раньше бывало одиноко, то «в чём», «где», среди «кого». Мир вокруг оставался, был наполнен запахами, цветом, звуками. И движением. И лицами. И тонкими, едва уловимыми линиями отношений. Содержательными волнами эмоций, впечат-

лений, желаний, которые накатывали на меня от других людей или просились из меня к ним. Теперь все было иначе. Одиночество было во мне и оно заканчивалось кожей, мириадами капелек на ней, будто только что вышел из воды, кожей, ощутимой как последняя грань бытия. Или мира не существовало вокруг, или нечто извлекло меня из этого мира. Как если бы собрать всё население планеты, или огромную часть из числа знакомых, коллег, тех, кого знал в детстве или повстречал в жизни, и сфотографировать скопом, то моё место было бы обозначено контурами, а суть, хоть как-то узнаваемая в чертах лица — стёрта, размыта. Или вовсе темна. *Я смотрел в эти лица и не мог им простить, того что у них нет тебя и они могут жить...*

Я как следует нализался ещё в самолёте. Москву прошёл «на бреющем»: как делал пересадку — не помню. Но всю дорогу будто двое в соседней комнате устало спорили слабыми голосами «была любовь — не было». Но так ни к чему и не пришли. А перед глазами время от времени возникал медно-рыжий закат: как-то уж больно быстро пряталось в океане солнце. Очнулся в своей квартире. Головная боль на какое-то время вытеснила *его*. Но это были лишь счастливые секунды. Стоило мне похмелиться, как *она* вновь всевластно воцарилось в моём существовании. Знакомьтесь, *оболочка для одиночества*.

На самом деле, за свою жизнь мне приходилось держать куда более жёсткие, более сильные удары судьбы. Тяжёлые до умопомрачения. И они были таковыми. С тех пор я выработал своё отношение, почти универсальное противоядие от почти смертельных для психики перетрясок. Я не стал слабее и рыхлее, не истлело и моё спасительное мировосприятие. Я просто *не стал*. Не что-то меня сломало. Это было, как если бы планета сошла с орбиты.

* * *

Всё то время, пока я пребывал в тумане запоя, *она* была со мной. Выходила. Отпоила рассолом, травами да молоком, баньку организовала. Деревенскую. И как-то прохладной августовской ночью я проснулся на сеновале то ли от запаха скошенных трав, то ли пора было. Глаза открыл, но своего соответствия с внешним миром не обнаружил, будто существовал отдельно от него и в мыслях, и телом: всё та же отрешённость, всё то же одиночество. *В комнате с белым потолком, с правом на надежду...* Но, осматриваясь и потихоньку вылепляя себя, я заметил две вещи. Первое, я могу думать и анализировать. И второе, я почувствовал какое-то тепло, которое существовало где-то совсем близко. Что-то подсказывало мне, что оно и есть моё спасение, осознание чего-то крайне важного. Но, как в народных сказках, это тепло ещё предстояло найти и разгадать по пути немало жизненных ребусов. Почему-то я вспомнил *её* и малого. Почему-то их вместе. И одиночество во мне чуть-чуть потеснилось. *В комнате с видом на огни...*

Позже Пижон расскажет мне историю, услышанную от *неё*, о том, как я по возвращении столкнулся с *ней* и тем мужиком (его отчимом!) в каком-то ресторане. Сначала я буду сидеть и пить, деревянный, словно умерший на коле, без единого лишнего движения и не взгляну на них. Потом поднимусь, бледный, с чёрными яминами под глазами, лицо — как у мумии, кожа и кости (все люди как люди: с бодуна пухнут, а я...), подойду и скажу: «*Она* уходит со мной». Отчим, то есть мужик, станет ехидничать и угрожать, рисоваться перед *ней*. И, заикнувшись о том, что на зоне и не таких видел, пошлёт меня на три буквы. Всё это время я буду молчать и спрошу лишь одно, спрошу внезапно трезвым тяжёлым голосом, где именно и с кем ему приходилось «топтать». Он быстро оборонит: «На «пятнашке» и начнёт подъезжать с другой стороны — ему, с его деньгами, депутатством и связями стоит только пальцем пошевелить и меня «закроют» на всю оставшуюся жизнь. На что я ему отвечаю: «Передай привет Клаве Горбатой». А скажу я это, уже повернувшись к нему спиной (в критических ситуациях, когда нужен перелом и я владею положением, я люблю разговаривать с соперником спиной: это как боксёр в бою опускает руки, дразня и провоцируя противника). Он зарычит и станет звонить по сотовому. А я возьму *её* за руку и уведу. Пижон со смехом и недоумением подметит, что «пятнашка» — это же... Я скажу: «Да, это женская зона». Пижон назовёт его клоуном, а потом спросит, причём здесь Клава Горбатая. В это время войдет *она* и ответит вместо меня: «Была там такая... Оленька. А Горбатой её называли за огромный «горб»... впереди». Пижон не поймёт, смешно призадумается. А я поясню: «За сиськи здоровенные!». Покажу «арбузный» размер обеими руками и мы примемся хохотать, как придурокшны.

А пока я смотрел на звёздное небо в стенной проём, видимо, предназначенный для закладки сена и сделанный под самой крышей, и думал о несовершенстве Космоса. Столько пространства, архитектуры — и ни одной Арки! А они были бы очень уместны. Особенно у входа в чёрные дыры. Кстати, все сумасшедшие говорят, что у них с мозгами всё в порядке.

Деревня мне понравилась сразу. Большая (значит легче затеряться), раскиданная по холмам, в междулесье, и по берегу речки, но пустеющая по окраинам (значит и дом купить проще). Я бродил один, слушая новые звуки и вдыхая новые запахи. И впитывая новое течение жизни, плавное, но с какой-то цельной, *непрерывистой и невольнообразной* энергией. Дети и некоторые взрослые — мне это было в диковинку! — которые встречались на пути, тут же здоровались со мной. И неуловимо мелькнуло, что мне приятно отвечать им тем же. Нет, были, конечно, те охранно-дозорные въедливые и длинные старушечьи взоры, предназначенные незнакомцу-чужаку, в ответ на которые вскипает бешенство, а рука ищет ядовитое бронебойное оружие. Так что ж? Объяснимо.

Я даже не понял, как, с чего вдруг возникло желание купить дом?! Просто я вышагивал по широченным улицам и искал *его*. И нашёл-таки одно просто заповедное, или так — заветное местечко! Я внимательно рассмотрел дом, пока издали поедая взглядом, через улицу, проходя мимо, так, что чуть не свернул головы, постоял, выкурил сигарету и тронулся в обратный путь.

Такая идиллическая киношная картинка — *она* ждала меня, сидя на крыльце. Даже голова светлым платком повязана. *Она* увидела меня и, ещё до того, как я перешёл улицу, медленно развязала платок и, чуть наклонив голову, стянула его. Один язычок выскользнул из рук и прилепился кончиком на ступени... Да это было необычно ново, красиво и почему-то тронуло меня.

— Вот и слава Богу, — тихо сказала *она*. — Проголодался?

Я, довольный, кивнул.

На столе, накрытые салфеткой, стояли кружка молока и горка пирожков в большой тарелке. А в плетёном блюде светились изнутри жизнью и солнцем ядрёные яблоки. Осмотрев комнатку, в которой, как мне показалось на первый взгляд, всё было слишком по-старинному (только стены на современный манер были обклеены обоями), но очень опрятно, я принялся есть. *Она* села напротив, опустила лицо на ладони, собранные чашей.

— А ты? — спросил я, мотнув в воздухе откушенным наполовину пирожком.

— Я уже, — негромко отозвалась *она*.

Пирожки оказались необыкновенно вкусными и исчезали с тарелки необычайно быстро. Более тёмный по цвету пирожок вдруг прыснул во рту свежей ягодной сладостью с едва приметной кислинкой. Мой восторг скупно отразился довольной отрыжкой, а в голове, но как бы где-то далеко, пролетела мысль: «Хорошо здесь...».

Тут вошла, видимо, хозяйка, бодренькая бабушка. Я не сразу заметил, что она чуть прихрамывает. Руки в земле, на голове — платок.

Наши взгляды встретились и *она*, улыбнувшись, сказала:

— Кушайте, кушайте на здоровье. Рождение, как и смерть, сил больших требует.

Эти слова зацепили меня. Умер ли я или родился? Или должен умереть?

За ситцевой занавеской грохотнул рукомойник, а следом раздался голос старушки:

— Сегодня праздник большой, а я, старая дура, в огороде копаюсь. Но да Бог милостив. А в церкву-то я сходил с утра, сходила. А ты, сынок, крещёный?

— Нет... бабуля. — Я не ожидал вопроса и опешил.

— Знать, и в Бога не веруешь.

— Вроде, и «да», и «нет»... Чуть-чуть, как все...

Она появилась из-за занавески, вытирая руки расшитым вафельным полотенцем.

— «Чуть-чуть» не бывает. Бывает пути начало, когда пройдено совсем чуть-чуть. Да ты ешь, ешь, не стесняйся.

— Моя дорога почти вся за спиной уже. Скорее, осталось чуть-чуть... — сказал я и поймал себя на том, что не очень уверен в том, что говорю.

— Как знать, как знать...

Бабушка вышла в другую комнату. Я заметил в углу иконостас с лампадкой и раскрытыми по сторонам миниатюрными тюлями. Часть икон, скорее всего, были старинными, краски на них потемнели, только лики лучились нежным глубоким светом. Лишь одна иконка с изображением группы людей, похоже, не уместившаяся в иконостас, и серебряное распятие располагались рядом. Я встал и подошёл к иконе. *Она* зашептала:

— Здорово, да? Мне тоже понравилось. Баба Настя сказала, что это «Воскресение Лазаря». Представляешь, некоторые из икон ей от деда достались, а деду — от его деда...

— Почти что вечность, — ответил я, возвращаясь к столу.

Двери между комнатами не закрывались и было видно, как бабушка достала с этажерки шкатулку, открыла её, что-то взяла бережно и воротилась. В руке старушки покачивался чёрнёный временем серебряный крестик. Она села к нам за стол, поправила платок и заговорила:

— Это крестик моего деда. Он был священником и пропал в лагерях во время лихое. Когда его забирали, он отдал мне крестик и шепнул: «Теперь он вам нужнее. Я к Богу иду — он меня, грешного, думаю, простит и без него примет. А вам, говорит, ещё трудное время на земле отбывать».

— Его расстреляли? — спросила *она*, потемнев лицом.

— Кто знает... Люди разное говорят. А от него ни весточки с того дня и не было. Но я знаю — ему хорошо там сейчас. Светлый человек был. Вот... Я про что говорю-то — суженого моего как-то сильная хворь одолела, слёг. Думала, помрёт. Я на него крест дедов надела. Молюсь тайно день и ночь. А он выздоровел — возьми и сорви его, мол, ты что себе, дура, удумала, коммуниста опиумом религии одурманить?! Бог ему судья... Крестик я подобрала, схоронила. Теперь вот тебе, сынок, отдаю. Чую, нужен он тебе сейчас очень.

Баба Настя протянула мне цепочку с крестиком. А я думал, что же у меня на лице написано из моего прошлого и будущего, что эта бабушка такие жизненные выводы делает.

— Завтра пойдёшь в церковь, крестик освяти наново. И покрестись. Это никогда не поздно. И знай: крещение все грехи прошлые смывает. На душе сразу и полегчает. И новые дела споро пойдут, с радостью. Встанешь перед Богом, всё худое, что за тобой водилось, вспомни и проси

прощения, от сердца. Да не прячь в камень его, пусть плачет со слезой покаянной. И ты, дочка, покрестись. Вам это пуще хлеба надобно.

— Я, бабушка, столько нагрешил, что мне не только просить, но и предстать перед Ним стыдно.

— Вот и хорошо, что стыдно: знать, душа жива и к свету просится. А Бог милостив и именно грешных заботою спасительной покрывает. Ну, бери же, бери крестик-то! И, сынок, никогда его не снимай.

Я смотрел на крестик и почему-то не решался его взять. Наконец протянул ладонь. Я чувствовал, что надо было что-то сказать, а слова не находились. И выдал из себя, как это случается, совсем не то, что творилось в душе.

— Хорошо, бабуля. Буду носить его, блуждая по земле грешной.

Она отозвалась с сочувствием:

— Шутишь ты устало. Да от смущения. И с непривычки, что вера в тебе зародилась. Запомни: не мы крест святой спасительный, а он нас, грешных, по земле носит. Поймёшь это — оберег его крепче станет.

Я взял. Взял, не зная, что с *ним* делать, куда *его* деть. Только впитывал, как скользит и перекачивается, переливается прохладной струей в ладони и пальцах живая, словно играющая, цепочка с крестиком. Чувствовал я себя странно: и растерянно, и чуть торжественно. Я не готов был думать о вере, о Боге. Однако слова старушки мне понравились, легли на сердце нежно и тепло трепетом надежды и ожидания нового, защищённого и единственно правильного. Пожалуй, завтра я пойду покрещусь.

Тут старушка взяла два яблока и положила перед каждым из нас. И таинственно, вроде бы серьёзно и одновременно чуть иронично улыбаясь, сказала:

— Съешьте по яблоку. Но сперва загадайте желание. Будете есть и думать о том желании. Загаданное на Спаса всегда сбывается.

Она встала. Улыбнулась шире и добавила, уже уходя:

— Мы всегда в детстве загадывали. Дед мой меня научил. Вишь ты, священник — а туда же... А что? Чудо не только ребёнку несмыслёному надобно.

Почти в один голос мы выкрикнули вдогонку: «А желания сбывались?». Но бабушка то ли кивнула, не оборачиваясь, то ли не расслышала, то ли сделала вид, что глуховата, решила, видимо, какие-то вопросы можно оставить без ответов.

Баба Настя ушла, но что-то осталось в комнате, как не поспевающая за старушкой судьба, как едва уловимые силуэты прожитой жизни.

Мы переглянулись. Отхлебнув у меня молока, *она* сложила руки, как первоклассница за партой, и положила на них голову, да так и просидела, пока я доедал замечательнейшие бабушкины пирожки.

После завтрака она потащила меня на сеновал. Собственно, я не только созрел, я, как бык, бил копытом ещё за столом!

Взобравшись на трёхметровый природный матрац, покрытый пледом, мы, срывая с себя одежды, хором выдохнули:

— На сеновале ещё ни разу не пробова... — и принялись хохотать и от прекрасного настроения, и от того, что который раз произносим вместе одно и то же (а как водится — у дураков мысли сходятся)... И этим смехом вдвоём отвоевали у одиночества ещё немного пространства. Мне показалось, оно оглянулось невесть на что.

А потом, откинувшись на спину, я чутко вдыхал сладкий аромат сена, цедил остатки пряного вкуса поцелуев, впитывал боком *её* тепло и наслаждался невесомостью собственного тела. Вдруг скрипнула дверь и в лучистом облаке яркого света показался знакомый силуэт. Голову вошедшего украшала неизменная шляпа, через плечо перекинут пиджак.

— Оба-на... — растерянно воскликнул он. — Мою плацкарту заняли... Ладно-ладно, воркуйте, голубки... Я себе в саду под яблоней постелю...

По голосу было слышно: улыбается. *Она* полусмешливо заворчала, что ночами голодный шастает, а потом дрыхнет весь день. На что он парировал: «Дело молодое. И уже не голодный во всех смыслах: девки уж больно хороши и гостеприимны». Он вышел, как вдруг вновь заглянул и сказал:

— Это хорошо, что ты оклемался. Я тут удочками поживился... Так что готовься.

Позже, когда мы спустились к реке и бродили по берегу под лягушачью песню, *она* неожиданно сказала:

— У тебя два прошлых.

Она сказала, что у меня два прошлых. Как катастрофически точно! О чём у меня даже не было смутных догадок! Арка и улица. Не двор, нет! Та улица, которая осталась *в тени* Арки.

— Детство, за которое ты цепляешься, но которое ускользает. И та дикая юность, которая чем-то, напротив, вцепилась в тебя. Давай возьмём с собой Арку и уедем сюда.

Я ошалел от неожиданного предложения и остановился:

— От себя не убежишь...

— А это не бегство от себя. Это вообще не бегство. Наоборот, это путь к самому себе. И не винись, не мучай себя. Видишь, как славно, как здорово всё сложилось... Мы — все вместе. Я теперь такая счастливая... То, что многие годы точило меня, жгло и иссушало прорастающим сорным растением, рассосалось. То, что стягивало по рукам и ногам, что мешало чувствовать и жить, отпустило... Почти... И я верю, я теперь знаю, что потихоньку рядом с тобою исчезнет совсем.

— Ты что загадала? — вроде бы не в тему спросил я.

— То же, что и ты.

Она лукаво подмигнула мне и покорно-требовательно подставила губы для поцелуя. А потом внимательно взглянула в глаза, погладила по щеке и, вдруг отвернувшись, спросила:

— Ты не вернёшься к ней?

Я тихонько коснулся её лица, чтобы она посмотрела на меня, и сказал:

— Нет. Кроме тебя, мне никто не нужен. Потому что я тебя люблю.

* * *

Личные неприятности и проблемы оттеснили Гуню за рубежи впечатлений. Но, как оказалось, лишь на время.

В пять часов утра в деревне выгоняют коров в стадо. Я проснулся рано. Накинув телогрейку, вышел на улицу и откровенно любовался непривычной для меня картиной и звуками: где-то запоздало перекрикивались два петуха, один с хрипотцой в голосе находился ближе ко мне, второй — чуть подальше, тот, будто ослеплённый певец, норовил затянуть повыше, но спотыкался под редкий лай двух умненьких собак, которые искусно управляли стадом; на разные лады сочно басили коровы, низкое небо пропечатывали сухие щелчки кнута.

Рассветная свежесть бодрила, а вкусный воздух (ветерок не с фермы дул, а с лугов и реки!) буквально просился в лёгкие. И тут я увидел пастуха. Он ехал на лошади! Я понял, как я соскучился по Серому. Мне, законченному эгоисту, стало стыдно и тоскливо. Я решил, что мы сегодня же возвращаемся в город. Но прежде я должен был прокатиться на этой уже не молодой, но ещё справной, отливающей медью кобыле!

Всадник приближался медленно. Я пошёл навстречу. Пастухом оказалась женщина лет пятидесяти, хотя на самом деле возраст её определить было трудно. Загорелое лицо в мелких морщинках, тёмные внимательные глаза, плотно сжатые губы — в выгоревшей брезентовой ветровке и мужской шляпе из фетра мышиного цвета она почему-то напомнила мне дядьку Левкова. Может быть, ситуация была схожей.

— Можно мне на вашей лошади прокатиться? — как-то уж совсем по-детски от радостного возбуждения, с надеждой спросил я.

— А что на ей кататься... Не качель, — женщина пристально смотрела на меня.

— Понимаете, я очень люблю лошадей...

— А что её любить... Не баба, поди. А вас я не знаю. Городской?

— Городской. Мы в том доме гостим. — Я указал рукой, стараясь поспеть за наездницей.

Женщина придержала лошадь, но не остановилась.

— А, у Насти? Родня?

— Угу...

— А умеешь управляться-то с лошадьми?

— У меня в городе свой конь есть. Серым зовут.

— Ладно врать-то. На асфальте его пасёшь? Придумал тоже мне...

Я не стал объясняться. Какая разница, верит она мне или нет. Я до зуда хотел проехать на лошади, почувствовать тепло и силу плоти животного, и это было главным.

— Да не украду я вашу кобылу! И не загоню.

— Ладно. Глазищи-то горят... Не зареви. — Пастушка остановилась и ловко оказалась на земле. — Пока до конца деревни дойду — катайся. Туда и подъедешь.

Её хлыст упёрся в берёзовую рощу, венчавшую крайние дома на околице. А я уже взлетел в седло и разворачивал кобылу в противоположную сторону. Поехал не спеша, дал себя почувствовать, да и сам старался понять норы и повадки лошади. Будь кобылка помоложе, мне пришлось бы хлопотнее. А так, мы почти уже сдружились и я поторопил Варьку — так звали мою новую знакомую.

Варвара легко понесла меня по деревне и скоро последние дома остались за спиной. Я был счастлив — да, всё будет по-другому, по-новому... А тут летишь — мощное, одно целое, литое — и видишь пластику со стороны, и ветерок в лицо... Дорога вынесла меня к деревенскому кладбищу. И едва прочертились кресты и ограды, вокруг словно потемнело.

Я ни разу не съездил к Гуне на могилку. Потому, что не знаю, где захоронен мой приятель детства. Потому что не знаю тех людей, с которыми он был близок и которые его хоронили. И приходил ли кто-либо вообще на похороны к Гуне?..

Нет Гуни. И не было. Поэтому откуда взяться его могиле? Ведь тени не хоронят... А с живым Гуней, пожалуй, мы не расстанемся до самой смерти. Моей.

Не было Гуни. Не было и могилы. И Вселенской Скорби и Совести (или как там этот его памятник звался?!) — не было. А то бы человечество уже сейчас жило бы по другому духовному уставу.

Я уже ненавижу Гуню и частые явления его в воспоминаниях — их запах, тональность и вкус. Они не далёкие и прозрачные в мимолётности — они протяжённые и явственные. Они всасывают меня всего, обдают обескоживающей терпкостью чересчур реальности, пережёвывают. И вот ведь что странно: даже самые светлые и радужные из них сопровождаются кровавым видением самоубийства, неким криминалистическим фотоснимком. Он то едва брезжит, едва заметен, то проступает более отчётливо и затмевает собой другие события. И при этом пропитывает происходящее сладковато-жёлтым привкусом тлена. Как не задохнуться в думах обо всём этом?! Лучше бы Гуня остался бродить в реальности и приезжать ко мне раз в год с очередным Проектом.

Подъехав к Пастушке, я понял, что совсем не хочу возвращаться в деревню — просторы открылись за рощицей такие, аж дух захватило! «Мне нужно туда», — отчётливо прозвенело в душе. Я подумал: они ещё спят, а когда проснутся, первый автобус в город уже уйдёт; выбраться из деревни на «попутках» — пожалуйста, в любое время, к тому же, в церковь надумали сходить, покреститься...

— Далеко стадо гоняете? — спросил я.

— Близко. Вон луга у излучины.

— Тогда я с вами. Если вы не против.
— Зачем? — просто и искренне удивилась она.
— Ну... Посмотреть...
— ...как с коровьего заду лепёшки валятся? — она бросила на меня недоверчивый взгляд.

— Не-ет. На природу посмотреть.
— А чё на её смотреть? Сами в камень укутались, дома высоченные навтыкали — небу ни вздохнуть, ни пёрнуть, трубы ядом пышут... Да знаю, знаю... — взмахнула она рукой, хотя я не обронил ни слова в защиту. — И образование у меня, между прочим, имеется. Техникум. Сельскохозяйственный.

— В том районе, где я живу, дома маленькие. В один-два этажа. Половина из них — деревянные, срубовые, как в деревне. А труб заводских нет и в помине. Просто места у вас здесь замечательные.

Я думал, объяснять ли Пастушке то, что в самом воздухе городском, в волне, поднимающейся от нагретого асфальта, в каждой пылинке, в мареве неоновых светов и бликов на стёклах, в отзвуке каждого брошенного слова прописано ГОРОД. И это ни хорошо, ни плохо. Просто человеку, где бы он ни жил, требуется менять обстановку, чтобы не только перед глазами преобразилась картинка, чтобы не только тело почувствовало изменения, а чтобы и мысли, чувства, боли, желания, его душевное мироустройство получили новый взгляд, новое осмысление, ограничились *там*, где им *не мешает привычное и знакомое*, не оказывает давления самим фактом своего существования.

— Ну... красиво, конечно. А когда каждый день живёшь тут, то забываешь об этом, будто и не видишь.

— А так везде и всюду. Живёт себе человек в каком-нибудь городе, где есть знаменитый театр или музей, но ни разу в нём не был, хотя приезжие дураком ломаются посмотреть на шедевры. — Тут я поймал себя на мысли, что сам как-то пропустил шикарную выставку Дали и двести лет не смотрел спектакли в наших популярных за рубежом театрах. — Но в разговоре с гостями мы голубино — гу-гу-гу — гордимся своим городом, а по сути ничего о нём не знаем, не чувствуем его. Или, хуже того, в душе желаем смотать удочки. И так — до масштабов страны. И бежим, бежим... Чтобы где-то на чужбине стать официантом или таксистом, или в надежде круто подняться в той же Москве...

Пастушка странно посмотрела на меня — взгляд её был удивлённым и тяжёлым одновременно. Я подумал, что затронул незнакомую женщине тему или слова мои были непонятны собеседнице, но её голос прервал ход моих мыслей.

— А если тут работы нет?! Да зарплаты только чтоб вшей прокормить! А если здесь семью создать не с кем — ханыги и пьяницы одни? Сдыхать, что ли?!

— Ну, конечно, — я опешил от её напора, — причины разные бывают и...

Она оборвала меня:

— И я про то ж... Чего зря болтать! — она повелительно вспорола кнутом воздух, как отрезала. — Слезай с лошади!

Я повиновался. Ничего не понимая, раздумывая, возвращаться мне или теперь уже в одиночестве прогуляться по берегу реки и взобраться на зелёный холм, похожий на курган, который приметил ещё издали. По правде сказать, именно одному и хотелось побыть. Я стоял и наблюдал, как Пастушка, щёлкая кнутом, бросилась подгонять стадо, несмотря на то, что собаки ни на минуту не упускали из виду ни одной коровы, пожелавшей вдруг свернуть куда-нибудь в сторону и отклониться от привычного маршрута. Оглянувшись на деревню, я зашагал в противоположную сторону, к холму — стадо уходило чуть левее, в низину, ближе к реке.

Курган оказался обжитым: выжженная в траве чаша, на дне которой не прогоревшие в золу угли, толстое бревно рядом, хотя поблизости не росло и деревца, несколько закопчённых камней — всё говорило о том, что здесь часто бывают люди.

Солнце поднималось и бледно-сиреневое небо, низкое и плотное, голубело, обретая естественную высоту и невесомость. Над рекой, но только там, где по берегам осели деревенские дворы и царапал хляби тёмно-синий лес, ещё клубился туман, ластясь к водной глади. Вокруг кургана до самой излучины зеленели луга, а дальше, за лесополосой, насколько хватало взгляда, простирались прямоугольники полей: бело-жёлтые, как специально оттенённые коричнево-чёрными, палевые, где-то цвета хаки, а где-то ещё почти изумрудные...

Что я мог ей дать? Что? Ничего. Не о деньгах, конечно, речь. Моя цыганка была права четырежды, «пятирежды»... Это я думал, что она мне нужна. Просто думал. А я-то ей — как кобыле пятая нога! Ей нужен человек, мужчина, такой, как, например, её новый жених. Я попытался вспомнить его лицо, но не смог (представлялась какая-то лепёшка, бесформенная и бугристая) — и не удивился этому: моя цыганка всегда была и останется ничьей. Она будет принадлежать своей лицедейной светско-салонной жизни, глянцевым обложкам журналов, идолу-гламуру, тюбикам и баночкам с косметикой, шикарным нарядам, сшитым на заказ в лучших домах Парижа, Нью-Йорка, Милана, Токио, повсеместному флирту, попутно занимаясь общественно-полезными делами. Несомненно, умная, моя цыганка просто-напросто не позволит себе задумываться о том, счастлива она или нет. И молодость будет ей помогать в этом. Какое-то время...

Я снял фуфайку и расстелил её. Трава гнулась к земле под тяжестью росы — я утопил пятерню в её волнистой гуще, как в волосах. Рука наполнилась приятным холодком и стала мокрой. Отёр лицо влажной

ладонью, каждой порой вбирая свежесть, и сел. Прямо внизу разбрелось стадо — смыслённые псины определили коровам большой участок и теперь следили только за самыми отъявленными одиночками. Я нашёл взглядом силуэт Пастушки — она медленно спускалась к реке.

Закурился, я откинулся на спину и уставился в небо.

*Им не дано понять,
что вдруг со мною стало,
что вдаль меня позвало,
успокоит что меня...*

Компаньон тоже не поймёт. Но выбор мой примет. Какая разница, кто что подумает и как потом потечёт чья-то жизнь?! Не убиваю, не беру чужого, не подставляю — сам устраиваюсь. Мне жить. Мне. Общие надежды? Что с того... Это не предательство. Много пережито и сделано? Много получилось. Хорошо получилось. По-крупному. И знаю, что будет ещё лучше. Круче. Но как удивительно легко всё оставить, всё бросить! Как-то забористо, азартно. Трепетно до дрожи! Хочется, чтобы было в три, в пять раз больше, чтобы снова бросить. На это и подсесть, как на наркотики, можно! Так бы и бросал... А уж что меня ждѣ-ѣт!.. Дыхание перехватывает: вот так бы прямо сейчас взметнулся и галопом за дела новые, хотя и не представляю, за какие именно. Но сначала надо старые завершить. Отрезать и закруглить.

Небо до краёв наполнила стрекуче-звонкая песня тысяч кузнечиков. Оркестр насекомых не смолкал и прежде, просто — бац! — и вдруг слышишь. Звон, на первый взгляд, был однородный, густой, хоть ножом режь. Но, если прислушаться, постепенно различишь отдельные голоса, тембры и тона. Совсем маленький, почти бесцветный кузнечик упруго и цепко приземлился мне на руку. Большие глаза показались мне удивлёнными, но, чем дольше я всматривался, тем больше в них проступало уверенности, в конце концов, я готов был спорить, что он демонстрирует свои огромные модные очки. Хитёр, подлец.

И вот что странно: почти у всей живности на планете колени вперёд, у этого выскочки — назад, а прыгает туда, куда хочет.

Белое платье, летают прозрачные снежно-ветряные крылья... Чёрные прибранные волосы, крутится, мелькая застывшим, мир: расплывчатая безликость людей, белая скука столов, стеклянная свежесть фонтана... Рука тянется к голове — воронёное пламя лижет, обжигая, открытые плечи, затем лицо, снова перекидывается на плечи, опять на лицо... А оно превозмогает жгучую боль усталой бесстрастностью, и только глаза бережно вспоминают ведомое им одним... Как бы там ни было, я рад, что мы были вместе. И что она дала мне по мозгам. Забурилась в самые недра! Не забудешь... «Любишь? Так докажи! Я дала тебе повод и отказала! Скажи что-нибудь! Или сделай, сумасшедший русский! Столкни со скалы! Порви на мне платье, чтобы я вернулась

к гостям голой! Тогда я поверю, что ты меня любишь!.. Любит меня... Меня? Или во мне возможность изменить свою жизнь? Я же вижу — ты, есть такое слово в русском языке, — неприкаянный! Будто ты — не ты...» Это была не любовь. Страсть. Застѣгнутая на все пуговицы, как фрак на балу.

Разденься! Выйди на улицу голой... И прощай. А небо и океан?! Я впервые в жизни видел такое могучее нечто, живое, дышащее, с настроением и силой... Они кидались друг на друга, сцеплялись в игровой, но жёсткой хватке, как неуёмные медвежата, чудом не пуская в ход когти и зубы, но всюю показывая их с нешуточной угрозой, тискались, мяли и заваливали, то фырча, то рыча, а досталось мне... И к закату уgomонились, заснули. Это было похоже на наш последний секс. Только вместо умиротворения нам очень хотелось смыть с себя липкую тошноту.

Я метнул окуроч в траву и проследил за его полѣтом — из-за её макушек, как из-за лесных крон, клубясь, поднялся дымок, похожий на взрыв рухнувшего с небес самолѣта. *Всѣ кончено.*

Взгляд мой вернулся к небу и утонул в нём. В его спокойной безбрежности. Оно так нежно касалось моего лица, что я зажмурился от удовольствия. *И только начинается...* Небо — светлое, прозрачное и долгое-долгое, как один огромный вдох. И я наслаждался этим вдохом во всю силу своих лёгких. Вспомнились *она* и Пижон — захотелось улыбнуться. Захотелось улыбнуться всей своей сущностью и растаять. В небе. На время.

Прикрытые веки стало пригревать солнце, слегка просвечивая их тонкую кожу. Но ни одно, ни другое не мешало видеть мне объёмное изображение, у которого бился пульс, чувствовался запах, в котором слышались течение соков, тихий говор и сквозили естественные движения. Гибкая речка отливала полированной сталью, то прячась за холмами, то вновь сабельно вспыхивая в желтизне и зелени, бесконечные поля сливались с небом в далёкой сиреновой дымке — от одного вида этого захватывало в груди. Просторы зазывно звенели тишиной от края и до края, втягивали в свою лучистую беспредельность и опрокидывались, втекали в каждую пору, наполняли светом безмятежности. Я не чувствовал себя маленькой точкой, не терялся в необозримом пространстве — оно *целиком и полностью* охватывалось сознанием далеко за границами видимости, за линией горизонта во все стороны света, отчего создавалось впечатление, что ты сам уже не уместаешься в своей оболочке — физическом теле, становишься небом, космосом величественным, безначальным и бесконечным, имеющем сотни измерений в безразмерности, тысячи времён в абсолютном безвременьи, знающим всё обо всём на свете и не прикасающемся к этому знанию.

— Роса ещё не сошла. Земля холодная. Застудишься.

Это была Пастушка. Я сел и обхватил колени руками. Кобыла Варвара, выгнув шею, паслась неподалёку на длинной привязи.

— Не завтракал? — спросила женщина, усаживаясь на бревно.

— Не успел. Я так рано не ем, в рот ничего не лезет.

Она открыла тряпичную «самодельную» сумку, сшитую из цветных лоскутков. «Расстели», — велела Пастушка, протягивая газету. На импровизированную скатерть из сумки перекочевали варёные яйца и картошка, спрятанная до поры в огромную меховую рукавицу, шмат заранее нарезанного солёного сала, пучок зелёного лука, два налитых солнцем до тонкой кожицы помидора и китайский термос с чаем. И тут, при виде этой незатейливой еды, несмотря на ранний час, у меня выделилась слюна — я понял, что сейчас проглотил бы быка. Или слона. Состоящих из варёных яиц, сала, лука и картошки.

Из сумки вынырнула добрая половина краюхи ржаного хлеба, упакованного в пятидесятикопеечный прозрачный пакет, а вместе с ней в таком же целлофане — стопка конвертов. Писем, как мне показалось, было немного, пять или семь. Верхний конверт — подписан и красовался почтовыми марками. Пастушка тут же водворила письма обратно в сумку, а мне передала хлеб и нож: «Нарежь». Я принялся за приятную работу.

— Посмотрел?

— Что?

— На природу посмотрел?

— Не надышался ещё.

— Угощайся, чем Бог послал, не стесняйся.

Я уложил на хлебе кусочки сала, взял лук.

Крик в небе привлёк моё внимание: коршун или сокол кружил над нами. Пастушка проследила за моим взглядом.

— Вот он свободный, а никуда не улетит, хоть и билета не надо. В городе цыплят и сусликов нет... — сказала Пастушка.

— А там кто, цапля или журавль?

В камышовой заводи на другом берегу важно и осторожно расхаживала длинноногая птица.

— Цапля.

— Ей тоже билет не нужен. Но приходит время — и встаёт на крыло: «Пока, прощай...».

— Главное, что домой возвращается.

— А те там, в южных странах, сидят и так же говорят: «О, цапля вернулась!». Куда ни полети, всё возвращение и всюду домой?

— Гнездо! Где гнездится и птенцов выхаживает, там и дом. Туда и возвращается...

— Да... Птицы лучше знают, где их дом, где им место. Они просто знают и не задумываются об этом. И совсем не важно, кто куда возвращается — важно, чтоб возвращались.

— Ешь давай. А то ничего не достанется.

Я неспешно, но с завидным аппетитом захрустел луком, пережёвывая вместе с ним своенравные мясные прожилки сала, картошка рассыпалась во рту и была ещё, как ни странно, тёплой, а хлеб источал тонкий знакомый запах откуда-то из прошлого. Давно я так вкусно не ел и, не скрывая, радовался своему маленькому празднику. Пастушка, верно, по-своему поняла счастливое выражение на моей физиономии:

— Смеёшься надо мной? Грязнуля, мол. В мужицкой шляпе?

Когда я ел в последний раз яйцо вкрутую?! Нет, глазунью или омлет, конечно, приготовить к завтраку — обычное дело. Но варёные?! Не припомню, чтобы я хоть одного коснулся даже на Пасху. Разве что сыграть с компаньоном и Лидухой в бой, чьё окажется крепче? А как приятно отколупывать белую скорлупу, видеть млечно-голубое, глянцевое под матовой плёнкой эластично-упругое тело! Щепотку соли и, откусив, — увидеть солнечную желтизну Вселенной в коконе жизненных сил света. Вкус вызвал в памяти нашу кухню в прежнем доме, знание того, что «на дворе» утро, а напротив меня болтают за чаем мама и тётя Вера.

Когда и как оказались в небе четыре странных облака. Сначала я увидел два из них, затем, повернув голову, — третье. Мне показалось, что они находятся на одинаковом расстоянии друг от друга. Я подумал: было бы здорово, если б у меня за спиной оказалось ещё одно. Я загадал. Жутковатый и смешной азарт... И обернулся. Облако было. Я развеселился не на шутку. Пастушка приняла это на свой счёт, но я успокоил её, отболтался чем-то более серьёзным и правдоподобным.

Облака выглядели невесомыми и в то же время плотными, прочными. Как выточенные из белого мрамора, млечность которого подкрашена жёлтыми разводами и серо-голубыми тенями. В их неподвижности угадывалась неземная сила. Округлые и пышные, они, как неведомые техногенные сооружения, удерживали зияющую пропасть небосвода.

Я ни с того, ни с сего всполошится и потрогал сквозь рубаху крестик — на месте...

— Дочь уехала в Москву, — сказала Пастушка, наливая чай в крышку от термоса, — два года уж как. Мы с ней вдвоём жили. Я тут одна теперь, вот плачу. Она пишет: всё хорошо, а сюда не едет. И адреса обратного не пишет, съездить к ней не могу. Может, замуж вышла, да её мужик меня знать не хочет? Или нагуляла, как я, а теперь носа не кажет?

Вряд ли она ждала от меня ответа. Я отхлебнул чая, чтобы скрыть неловкость.

— Я ведь тоже от своих сбежала. Правда, меня мои и видеть не хотели, а я-то ей всё прощу! Приму как есть. Но я ей даже этого сказать не

могу, куда писать без адреса? А может, у неё там всё плохо и она меня огорчать не хочет? А домой доехать и денег нет? Так я б послала. Вот плачу, мучаюсь. Будто не живу. Пусто, как в гробу. Ходишь дома из угла в угол, телевизор включишь, чтобы лишний раз не вспоминать. А как тут не вспоминать, единственную. Самые муки — в доме фотографии висят. И видеть не могу, тяжело и снять больно. Поэтому в пастухи подалась. Спать пораньше лягу. Пораньше встану... А ещё потому, чтоб людей не видеть — кажется мне, что только кого встречу, так он хочет меня расспросить, что да как... Про дочку. А что им всем за дело? Вот и на тебя накричала. Не сердись уже. Зато тебе же, чужому, открылась, не задумываясь. Почему не едет?

Пастушка полезла в сумку и достала свёрток с конвертами. Бережно вытащила письма, разложила веером, вглядываясь в слова, написанные знакомой ей рукой, словно пыталась по почерку, следуя зигзагам, дотянуться через тысячу километров до отправителя.

— А сюда письма с собой беру. И не читаю. Принималась — не могу, реву, сердце заходится. Разговариваю с ними, будто с дочкою. А так и рехнуться недолго. За что мне это? Или я плохой матерью была? И воспитывала, и вещи покупала, чтоб не хуже, чем у других, и на учёбу ей денег дала, всё, что скопилось помалу. Или грешила так, что нет прощения?

Она плакала. Как-то неприметно. Слезы мелкие, как отбракованный речной жемчуг, изредка срывались с её коротких ресниц, а глаза оставались непроницаемыми и не выражали переживания. Поэтому казалось, что она притворяется.

— Она вернётся. Обязательно, — сказал я и услышал в своём голосе интонации Гуниного говора; я встряхнул головой, — а то и вас к себе в Москву заберёт.

— Ох, уж ты скажешь тоже...

Там, где река отвоёвывала у берега впадину размером с трёхподъездный дом, всё ещё выискивала добычу цапля. Водоём заболотился, порос осокой и камышом, а ряска махровой пеной прикрыла почти всю водную гладь, еды для птицы — есть-непереесть, знай, не ленись. А птицы, должно быть, о лени не ведают. Цапля подтянула циркулевидную ногу и замерла.

— Я знаю.

— А что человеку не хватает? Куда его тянет-то всё время?

Видно, Пастушка забыла *то* объяснение, которое сама уже дала мне сегодня.

— Ищет.

— «Ищет»... Как потерять, что имеет? Что ж ему так плохо на месте, раз не сидится?

— Человеку хорошо там, где хорошо. Может быть, где он привык, родился, жил... Или там, где нашёл.

— Что нашёл?

— Что-то важное, для него единственное и настоящее.

— Как-то не по-русски ты говоришь. Непонятно. Ты в городе родился?

— Угу.

— Я бы не смогла жить в городе... Пыльно. Тесно. В городе трудно жить... за всё плати, везде локтями... Что делать в городе?

— Хм...

— Ты кем работаешь? Не богатый, наверно, машины у ворот не видать.

— Всё у меня есть: и машина, и квартира, и работа хорошая...

— А по глазам и не скажешь...

— Что ж с ними такого особенного?

— Урожай будет хороший. Смотри, сусликов сколько!

И правда, такого я ещё никогда не видел: то тут, то там поочерёдно поднимали рыжую голову забавные животные, а утопая в траве, устремлялись куда-то дальше по хозяйственным делам. Увлечённый тем, что на протяжении нежного утра бесцеремонно втискивал в заокраинное своё глубоко личное, внутреннее, я как-то упустил из виду мир срединный, в котором вроде как тоже иногда пребывать надобно.

— Странная примета. Скорее, она говорит о том, что урожая этого большого нам останется са-авсем мало.

— Хм, и то верно.

Ароматный чай приятно связывал во рту. Я подумал, давно не чувствовал вкуса еды. И вчерашние пирожки, и нежное сладковатое молоко, а уж сегодня завтрак — так вообще на славу! А прежде горечь во рту — и та преснатиной стала.

Я сидел на асфальте возле Арки и играл сам с собой в «чичу» — это такая игра на деньги. В пионерлагере другие мальчишки её называли «битой» и как-то ещё. Правила простые: проводится черта, в центре которой стопкой ставятся деньги, например, решкой вверх. Отсчитывается пять шагов и расстояние вновь отчерчивается: именно отсюда каждый из участников будет бросать свой биток. Биток — свинцовая лепёшка, размером с пятак или трёхкопеечную монету. Первым начинает тот, чей биток ближе других замрёт возле стопки. Затем битком бьют по деньгам, те, что перевернутся орлом — выигрыш. Бьёшь до тех пор, пока переворачиваются. Далее — следующий, по кругу. А если биток с отмеренной линии с первого броска попадёт в деньги, то — «чича!» — забирай, всё твоё.

Деньги со звоном скакали по асфальту, а я всё смотрел исподтишка на странного мальчишку с фигурой взрослого человека, который уже дважды прошёлся по улице из конца в конец (конечно же, от перекрёстка до перекрёстка). Да, при взгляде со спины и издали — мужик и мужик. Что-то на первый взгляд отталкивающее сквозило от каждого его движения, вызывало лёгкие неприязнь и недоумение.

Сейчас я понимаю, что он, отличник и «зубрилка», ничуть не соответствовал тому образу советских школьников-очкариков с кроличьими зубами и в пионерских галстуках, которых сегодня окрестили бы «ботаниками» и которые свою физическую хрупкость подкрепляли силой убеждённости и практическим применением вороха знаний. Судя по мультфильмам и киносказкам. Тогда, в детстве, «умные» словечки ещё не так часто слетали с языка приятеля, а книжное всезнайство не всегда находило применение. Что уж говорить про внешность...

Сутуловатый, походка неказистая, тяжёлая, которая, как ни странно, с лёгкостью и вдохновением несла его грузное тело. Когда Гуня шёл один, то либо сильно опускал голову, что-то бормоча себе под нос и выделявая пальцами лёгкие кренделя, либо так вздымал подбородок, сдерживаемый коротковатой аргентинской шеей, словно рассекал им, как носом корабля, густую для него толщу жизни. Плечи и верхняя часть спины его выглядели особенно плотными и крупными, словно специально созданными для того, чтобы нести Порядочность Мира, болезненную Совесть-подранок — ношу куда более тяжёлую, чем талант мыслителя, светлые лабиринты и тёмные тупики исканий, бремя любовных драм и лучезарную полётность самой любви. Крупная голова, высокий лоб, всегда осенённый прежде глаз, чёрные ямины под ними едва ли не с раннего детства... Однако во всей его нескладности звучала гармония, иногда — забавная, иногда — печальная.

Наконец он вдруг подошёл ко мне, молча стал наблюдать за игрой.

— Сыграем? — вдруг предложил я.

— Мы сюда ненадолго приехали.

— Сыграть не успеем?

— Я о другом. Мы на вашу улицу временно приехали. Новый дом достроится, мы переедем. В девятиэтажку. — Мальчишка пустил кистью руки бархатную волну воздуха в неопределённом направлении.

— Пока дом достроится, я тебя без штанов десять тысяч раз оставлю. Играем? — Я встал и встряхнул денежками в пригоршне.

— У меня нет денег.

— Можно «на потом». Или на игрушки. Например, солдатик стоит десять копеек. Играем по две. Десять копеек продул — несёшь солдатика. Если не боишься, можем сразу по «гунцу» поставить.

— Кто тебе сказал, что ты выиграешь? — Он посмотрел мне в глаза, обе его руки вознеслись и опустились на голову, сцепившись.

— Оба-на... Ну, ты выиграешь. Игра есть игра. Сегодня — ты, завтра — я.

— Тогда зачем играть?

— Ты даёшь... Все играют. Играть — это ж как... а выиграть, так вообще!

— А проиграть?

— У-уу... Кто об этом думает, когда играть берётся? Если трястись от страха, то и везуха не пойдёт. Зато когда выиграешь, то... — я ссыпал монетки в оттопыренный карман, но тут же сгрёб их обратно.

— Мне не нужны деньги. А солдатика я тебе и так принесу.

— Что, и солдатика не нужны? — Моё недоумение вызвало у него улыбку.

— Не-а... Э-э... Нужны, конечно. В принципе. А так...

Гуня прибежит на следующий день ко мне домой. На нём будет новая клетчатая рубашка. Он протянет руку и разожмёт кулак — на ладони смятый «трояк». Три рубля! Целое состояние.

— Сыграем? По «гунцу».

— По «гунцу»?! Идёт!

— Только, чур, не на улице. Зашухерят...

Мы взяли листок и карандаш (как ещё запомнить такое количество денег, когда три рубля неразменных?!) и приспособились у меня прямо в коридоре возле холодильника. Играли долго. Удача с переменным успехом переходила из рук в руки и не торопилась отдавать предпочтение. Но в какой-то момент проснулась и улыбнулась. Мне. Ставки возрастали. Однако Гуня будто и не нервничал. И всё-таки, когда у него остался всего полтинник, приятель засопел, заёрзал и в первый раз заспорил:

— Ты жлудишь! Ты биток пододвинул! Это нечестно!

Я не сдавался, огрызался вовсю. Тогда Гуня, обидевшись окончательно, решил прекратить игру и уйти. Я не жульничал, просто у Гуни сдали нервы. Но игра есть игра: выигранное — уже своё кровное. Я убеждал приятеля, что пятьдесят копеек, которые у него остались, могут вернуть ему всё, что он продул, и столько же сверху. Конечно, мне везло — я, признаться, горел выпотрошить Гуню вчистую. Только Гуне не нужны были деньги. Чужие. А проигрывать «последние свои» ему стало безумно жалко. И всё ж таки я его уломал.

Бросал сам Гуня. Он не собрался с мыслью, с духом, не взвесил биток в руке, не наметил взглядом, как он должен полететь и где упасть. Просто взял в горсть и подбросил неуклюже. И проиграл.

Он замер на секунду-другую, глаза его остекленели, а затем это самое стекло начало плавиться, подтаивать. Гуня фыркнул тихо и убежал без единого слова.

Выигрывать тоже нужно уметь: было мне как-то не по себе от победного барыша. И Гуню жалко, и деньги радовали с тенью досады. А я уже уговаривал себя, что всё по-честному и не надо бежать следом, не надо возвращать «трёшку». Смотрел на мятую зеленоватую бумажку, почему-то как на украденную, и всё же чувствовал себя настоящим богачом.

Теперь мою коллекцию могли пополнить три-четыре серии почтовых марок или, например, боевой корабль. Можно было разом купить

теннисную ракетку и хоккейную клюшку. Если чуть-чуть добавить. Или маску для подводного плавания — давнюю мечту половины мальчишек нашей улицы.

Мне тут же захотелось броситься по магазинам, чтобы присмотреть и определиться в выборе, что же именно купить?! Я сгрёб из сундучка свои сбережения и со всем внушительным капиталом выбежал на улицу.

В магазине перед прилавком трёхрублевка опять напомнила о себе, царапнув по душе чем-то острым и отравленным. Но стоило мне увидеть многое множество таких нужных и полезных вещей, которые мама вряд ли бы купила мне одним махом со своей мизерной зарплаты (мама к тому времени уже развелась с папой), да и вообще не известно, купила бы без серьёзной на то причины, такой, как, например, день рождения или четвёрки за четверть, я позабыл обо всём на свете, кроме жгучего желания. Свои деньги оказались очень кстати — маска стоила дороже моего выигрыша. А как же иначе — не овальная зелёная, как у всех, а синяя, с выделенным носом, «заграничная»...

Не терпелось её испробовать. Мне её испробовать! Я лётю к Волге — народу на пляже в будний день не меньше, чем в выходные, один на другом, как дрова. Разделся впопыхах, кое-как на песок одежду побросал и — к реке. Песок ноги жжёт, подпрыгиваю и маской в воздухе кружусь: хочется мне, чтобы её у меня увидели другие, хочется в их восхищённых глазах искорки зависти поймать.

...Каждую песчинку видно! Вода ровные горки на дне сделала, они — как волны, только из песка! Кара-Кумы подводные. Малька увидел! Блеснул стальным боком, юркнул в темень глубин. Клочок газеты, как камбала морская по телевизору, колышется, движется над дном, и буквы — все, как одна, хоть читай! Вода желтовато-зелёная, но просветная, исчерчена снопами солнечных лучей, а там, где они пропадают, ноги людей топчутся, как полземлекопа из мультфильма.

Ноги. Чьи-то... Подплываю — бац: купальник девчачий... Встал перед ней, отфыркиваясь, смутился как-то, чуть не врезался... Взрослая совсем, красивая. Она: «Интересно под водой?». Я, в нос, брызгами с губ: «Ещё бы!». И — снова под воду. Увидел огненно-белую ракушку, достал, вынырнув, её протянул. Улыбнулась: «Спасибо».

Один высокий худощавый парень, лет двадцати, как мне показалось, в глазах которого сочился замасленный подвох, — я знаю таких! — попросил поплавать с маской. Как мне ни хотелось — душу сжало, то ли от жадности, то ли от предчувствия! — отдал. Он примерил, разок ушёл под воду, вынырнул рядом, шумно продышался, выставил палец со сжатым кулаком, сияя глазами, мол, здорово! Вновь набрал воздуха и скрылся под водой. Показал, что вглубь идёт... Нет. Не всплывают воды, не видно маленькой головёнки с водорослями жидких волос. Как обидно, а-ах... Я осмотрелся. Шагах в пяти-семи вдоль берега за

частоколом людским — равнодушное тощее тело с руками, опущенными в воду, удалялось от меня. С него водопадом стекала вода, а на глади речной оставался бурлящий водоворот. Я в тихой панике кинулся вдогонку. Он обернулся. Мокрые длинные, как два червяка головожопых, губы поползли в разные стороны, будто кто их вспугнул.

— Отдай! — тихо сказал я.

Парень, сверкнув глазами, грозным шёпотом послал меня на три буквы, так же с матюками, показав кулак, обещнул меня отмутузить.

— Я у тебя ничего не брал. Спутал, — уже громко сказал он, обращаясь к окружающим.

— Отдай, говно поганое! — почти заплакал я и кинулся на обидчика с кулаками.

Он без размаха, резко ударил меня по зубам и я повис в воздухе. А он развернулся и пошёл себе, куда шёл.

— Отдай! — заорал я. — Дядь, он, козёл, мою маску украл!

Рядом, кроме той девушки и толстоватой пожилой женщины, никого не было. Я хитрил и брал на испуг. Он, не оборачиваясь, прибавил ходу и поднял демонстративно обе руки, мол, где ваша маска — нету!

Я нырнул следом и, истерически загребая руками, стал поедать глазами дно. И нашёл. Зачерпнув в горсть песка и вынырнув, я швырнул ему в спину и выкрикнул:

— Пидор гнойный!

Попал! Я попал. Он обернулся и бросился в мою сторону с выпученными глазищами, но меня заслонила девушка:

— Отвали, урод. Тронешь брата — твои бешеные зенки выцарапаю. А за попытку воровства — сядешь, вахлак. Мой пахан — главный ментяра в городе.

И теперь она послала его. Уже на пять букв. Парень смазлся, хорохористости ради что-то буркнул и отвалил, а на моём плече ещё несколько дней жило и играло тепло её ладони.

Круто она с ним разобралась. А как я ему песком — и в волосы, и по всей спине! Как автоматной очередью! На берегу девушка предложила мне ватрушку с творогом, но мне хотелось только лимонада. Она напоила меня прямо из бутылки и я, бегло поблагодарив её, пустился от греха подальше воссояси.

И дома я всё никак не хотел расставаться с новой вещью. Надевал, смотрелся в зеркало, таскал за собой по квартире, конечно же, сбегал к друзьям, Петьке Немцу и Шавкету, похвастал. «Ух, ты! Клёво...» — цокали они языками, примеряя на себя маску. И я был счастлив. Договорились идти на Волгу завтра, потому что время было после полудня и скоро должны прийти с работы родители.

Меня как обожгло: «А что я маме скажу?». В нашем доме строго на-строго запрещалось приносить домой чужие вещи. Если машинку взял

у дружка, то после допроса могли разрешить поиграть этим вечером — «завтра же верни!», если же нашёл на улице! «Отнеси, положи на место, кто-то её забыл или оставил, чтобы выйти и снова играть. Унеси немедленно!».

В квартире маску надолго не упрятать, мама найдёт и тогда — держись! Потому что сказать, что ты её выиграл, было равносильно самоубийству. Спрятать у Петьки или Шавкета — ничем не лучше. А если они скажут своим родителям, что маска эта моя, то те матери моей могут при встрече запросто ляпнуть, что «наш от вашего такую дорогую вещь принёс, может, нужна?» или «а сколько стоит маска, которую вы своему купили? Мы бы нашему тоже взяли».

Вспомнился мальчишка, который жил на соседней улице. Вернее, на нашей же улице, но в следующем за перекрёстком квартале. У него родители сильно пили и никогда не интересовались, чем и как живёт их сын. Беспокоиться было не о чем.

Я завернул драгоценность в газету и успешно договорился с ним о временном хранении. Однако вечером того же дня этот пацан прибежал к детскому саду. Синяк под глазом и вспухшая окровавленная губа вовсе не говорили о том, в чём он признался: его отец «пропил» маску за рублёвую бутылку самогонки.

Мы только что проводили дядьку Левкова и Серого и, расчертив круг на лысом, без единой травинки, клочке земли, огороженном под газон спинками от железных кроватей, играли в «ножечки». И затараторил, как из пулемёта:

— Я ушёл на улицу, а он её увидел и забрал втихую. Представляешь?! — он обращался ко мне, а глядел по очереди на Петьку и Шавкета. — Домой прихожу — они с матерью самогон хлыщут. Я под кровать — надо было лапту взять — маски нет! К ним: «Брали?». Те: «Нет!». Ни в какую не признаются. Что-то бормочут, типа, кто-то заходил... Да к нам домой из пацанов уже двести лет никто не ходит! Я раскричался на них, что мне её вернуть надо, стал заставлять отца, чтобы пошёл и принёс маску, а он меня взял и отдубасил. Гондон.

Позже он станет одним из них.

Из-за угла заборчика вынырнул Гуня и двинулся в нашу сторону. Я сразу почувствовал неладное, уж слишком непривычно быстро и уверенно он шёл, отчего неказистость его походки подкрасилась до смехотворности. Тревожной. Приятель остановился, не доходя до нашей компании, и кивком головы отозвал меня в сторону.

— Мне деньги нужны. — Без предисловий бросил он, в слове «деньги» после буквы «д» прозвенела «з», как заброс в «чику». — Предки обнаружили пропажу, пока ничего не могут понять. Думают, затерялись. Меня ещё не спрашивали. Но уже поглядывают с подозрением. Поймут — убьют.

— А ты не говори, — меня охватило лёгкое недомогание.

— Я не умею врать и не хочу. Я отыграться хочу. Вот тридцать копеек. — Гуня раскрыл ладонь, на которой рядом с монетками виднелись бороздами в коже красные полумесяцы, оставленные металлическими рёбрами. — Каждый гунец — рубль. Продую — потом отдам.

Я не стал говорить, что денег у меня уже нет. И, памятуя удачу, потерянную маску, с одной стороны, с другой — всё-таки надеясь на отказ приятеля (такие невнятные мысли лихорадочно роились в моей голове), неожиданно для себя сказал:

— Два рубля за гунец.

— Шесть на кон? Двенадцать рублей?! — с ужасом, паникой и восторгом пропел Гуня, озаряясь улыбкой и бледнея. — Вот это банк...

Во мне вспыхнул, разжигаясь, азарт, но и тот не смог растопить того сгустка ледяного страха, который охватил меня. Гуня же в буквальном смысле дрожал, то и дело пощипывая пальцами губы. Однако и его интерес к игре взбудоражил не меньше моего.

Гуня не захотел играть при свидетелях и мы побежали на свою улицу. Пристроились за Аркой, со стороны дворика, хотя плетенье лозы ничуть не скрыло нас от любопытствующего тротуара. Бросили жребий, кому начинать первому. Выпало Гуне, который вдруг перестал трястись и вновь обрёл своё философское спокойствие. Игра оказалась до умопомрачения короткой (не успели мы настроиться, вжиться, начать переживать!), в один заброс. Раскрылись в воздухе странным цветком эфемерные Гунины пальцы, серая дуга расчертила зыбкий брезжащий воздух, слитый с забором, газоном, брусчатой дорожкой, и бац: дзинь-дзень-дзяк — «чика»...

— Ну, как? — спросил меня Гуня...

Я встал в пять утра, оставил записку, что поел и ушёл играть в футбол, а сам взял кухонные сито и дуршлаг и ринулся на набережную. Это был наш старый испытанный способ обрести наличные — ползаешь по пляжу и метр за метром просеиваешь песок. Тут удача, бывало, дарила не только деньги, но и цепочки, брелоки, серьги, кольца, перстни... Нет, конечно, не за один раз! Это была легенда и история удачи. Лично нашим и мне за три года нечастых рейдов действительно удавалось найти одну серьгу золотую, несколько цепочек, и лишь одна была золотой, другая с — янтарём, обручальное кольцо золотое, остальное — всякая дребедень, а вот без денег с пляжа не уходили, другое дело, сколько их отдавал нам богатый, но скуповатый песок.

В этот раз мне повезло почти сразу, как я шлёпнулся на колени: я нашёл мужские наручные часы! — у меня аж колени задрожали. Целенькие, тикают. Я сунул часы в карман и продолжил поиски. Песок просеивался легко, но его на пляже, увы или ура, слишком много.

Через четыре часа, когда я выдохся напрочь, в моём кармане гремело всего восемьдесят копеек. День выдался тёплый, пригожий и с ка-

ждым часом пляж всё плотнее набивался людьми. Я вернулся во двор и зашёл к Гуне. Тут уже играли Шавкет, Петька Немец, Бердяй, Федул, какие-то девчонки.

Мои друзья были в курсе дела. Гуня часы брать отказался, но вызвался идти вместе искать деньги. Вся гоп-компания изъявила желание помочь мне найти двенадцать рублей. Кроме Бердяя: «Ты продул, ты ищи, мне-то что». Он изо всех сил пыжился сбить с толку пацанов, играть в «отмерного», в «чижа», в «ножички» зазывал, никто не пошёл. Гуню обозвал чушком и предателем (он знал Гуню второй год, встречаясь с ним во Дворце пионеров, куда ходил в «КИД», поэтому сейчас запретеновал на личное первенство в дружбе), и потерянно, хоть и с излишним весельем в голосе, примкнул к девчонкам.

Кроме пляжа, у нас имелись и другие места для детских заработков. Первым делом мы ринулись в аптеку, где иногда за деньги или гематоген и аскорбинку в таблетках раскладывали листы ландыша — работы не оказалось.

Тогда мы взяли дома сумки и отправились в сквер, а потом и на набережную за пустыми бутылками — брали всё подряд, кефирно-молочные, из-под лимонада и пива, водочные, из-под шампанского и вина. Тут мне и Шавкету одновременно пришла «путёвая» мысль: надо «толкнуть» часы.

Продавать часы было страшновато. Я приставал к прохожим на улице, врал безбожно, что часы отцовские, а он умер, а мать лежит в больнице, что мне есть нечего, а ещё и матери в больницу надо купить творога. Кто-то отворачивался сразу, кто-то выслушивал и сочувственно кивал головой, но без толку. Один бойкий пожилой дядька пожелал мне удачи, показав на своей руке, возможно, золотые часы и затерялся в людской толпе, насвистывая мелодию. Его задорный виртуозный свист, как благосклонность переменчивой судьбы, повисел ещё некоторое время в городском мареве и вскоре стих. Тут-то я чуть не загремел в милицию — какой-то мужик набросился на меня, будто часы я украл — еле ноги унёс. Стал внимательно вглядываться в людей, определяя в уме, кто и как из них себя поведёт, если... И что кому из них сказать. Так ушло много времени.

Эта походка приглянулась мне сразу. Приблатнённый «дяхон», во всём виде и манерах которого сквозило аппетитное вкушение свободы, а заводной и дерзкий взгляд уверенно и чуть снисходительно касался мира (он на ходу сорвал с дерева обычную зелёную ветку и подарил её проходившей мимо девушке, растворяясь в своей собственной улыбке под сияние золотого клыка), остановился и посмотрел на меня как на равного.

— Сколько просишь?

— Трояк.

— Ломишь, братишка. Больше рубля не дам.

— Дай два. Часы-то клёвые. Новые совсем. Почти.

Он засмеялся. Сошлись на полтора. И значок впридачу. Спортивный, с «заграничными» буквами. Значки я не собирал, но его можно было обменять на марки.

Дяхон, чуть приподняв рукав пиджака и белой сорочки, протянул руку. Это было предложение надеть на неё часы. «Сначала деньги. И значок», — серьёзно отчеканил я. «Уважаю», — игриво, но искренне посерьёзней он и расплатился. «Носи, не стаптывай!» — крикнул я ему вдогонку. «Будь осторожен, но ничего не бойся!» — откликнулся он и, кажется, подмигнул.

Я побежал на набережную, а мне уже с пустыми сумками навстречу шли довольные мальчишки. Выяснилось, что набрали они аж на три сорок. Всего плучилось пять семьдесят. Мы собрали деньги в кучу и я торжественно вручил их Гуне, пообещав постепенно вернуть остальные.

Гуня взял деньги и быстро рассовал их по карманам. Он повеселел, оживился, да и у меня камень с души упал, хоть пляши. Пацаны галдели, возбуждённые и, несмотря на усталость, обсуждали дело наперебой. Вдруг Гуня остановился. Достал деньги, пересчитал, часть отложил в карман — другую протянул нам:

— Держите, это ваше.

Пацаны изумились, но препирались недолго. От моего должка Гуня также отказался, а на шутовское предложение сыграть беззлобно послал меня куда подальше, буркнув «только на свои, лет через двести». Мы накупили дворовым собакам мяса, себе — мороженого, пирожных, лимонада и почтовых марок. Выяснилось, Гуне здорово повезло, нашёл целый бумажный рубль: «иду, думаю, кусок сушёной рыбы жёлто-серый увидел, ногой поддел, так, на всякий случай — ба... а у него край чуть оборван по кругу, но номера целые, сойдёт». Деньги в гастрономе обменяли на трёшку одной бумажкой, а остальное щедро прокутили.

Это был второй день моего знакомства с Гуней.

Пространство сгустилось, обрело цвет и ...форму Пастушки. Она застыла памятником своему усталому ожиданию и молча смотрела в сторону стада, в губах женщины перекачивался стебелёк от укропа. Мне стало стыдно, что я выпал из разговора. О чём мы говорили? Не вспомнилось. Зато вспомнилось, что еда была очень вкусной, что мне надо покреститься и что моя Арка сейчас одна-одинёшенька.

Я глянул вверх, будто кто меня окликнул. Облака чуть сместились, а главное — сплющились, как под тяжестью, и растянулись, поредели, потеряв не только массу, плотность, но силу, сквозь них, как сквозь дырявые простыни, уже местами проглядывало небо. И это ровным счётом ничего не значит.

По дороге я ни о чём особенном не думал: что должен чувствовать человек, когда сгорел дом, в котором прошли его детство и отрочество? — мне надо было *посмотреть*. Увидеть своими глазами.

Пожарище выглядело именно так, как представлялось: уныло торчали каменные рёбра, чёрные поваленные брёвна и балки, скрещенные в символические иероглифы утраты. Занявшийся после полудня мелкий неприятный дождь не сбил тяжёлый, въедливый запах горелого, в котором витали контуры игрушек, абажура с бахромой, маминой швейной машинки и серванта с треснутым стеклом и алюминиевой проволокой вместо ручки, нечаянно сломанной мною в пылу битвы на мечах с Петькой Немцем и Шавкетом. И неважно, что после того, как мы переехали, там жили другие люди, а несколько лет назад и вовсе помещение выкупили и приспособили под офис. Это был мой дом и я видел в голубоватой дымке — действительно, она будто не рассеялась со времени пожара! — свою сгоревшую жизнь.

Со стороны мои глаза, наверное, походили на глаза цапли, которая вернулась в места гнездовья, а река или озеро высохли — остался припудренный растрескавшийся ил. Всё изменилось. Только Аркой угадывалось знакомое место и теперь язык не поворачивался назвать его родным. Будто отодвинулись соседние дома и отвернулись, как сказочные избушки, то ли от сострадания, то ли от предчувствия схожей судьбы — улица поменяла очертания, стала безликой, чужой. То сочное и говорящее пространство, которое сервировал дом, провалилось в зев пустоты. Пустоту эту нелепо подпирала сплошная красного кирпича стена и сарай, неряшливо обитый кусками мягкого ржавого железа. Арка выглядела растерянной и жалкой и зывала к кому-то безмолвно, о чём-то молила своим одиноким видом.

Смотреть на это было больно. Но изменить случившееся я не мог. Зато мог полностью перестроить своё настоящее. Мысль о предстоящем взбодрила меня, я словно проснулся. «Может, и к лучшему», — подумал я. Там, в Испании, где нашло меня известие о пожаре, я расстроился сильнее. Но ведь это было далеко и до того, как я истинно понял, чего хочу и что буду делать в ближайшем будущем. Теперь меня здесь ничто не держало.

И если сначала я был несколько испуган, и не от того, что я увижу, а от того, как восприму увиденное, то сейчас на душе осталась лишь грусть. Тонкое чувство, которое размывало границы времени и пространства, смешивая воспоминания разных лет и мою сегодняшнюю привычку-потребность гулять по старому городу и сидеть возле Арки.

И тут моя спина онемела на миг, напряглась, а меня охватил ужас (видимо, я заметил *это* ещё тогда, когда подъехал, но мысли были заняты другим и я не обратил внимания на стройку) — за первыми маленькими домами соседнего квартала поднимался скелет бетонного

монстра. Я обернулся. Быстро же они ляпают: над землёй поднялись уже три этажа! Новый город шёл в наступление.

Воровато и жёстко, обезумевший от жадности, он мечется, хватается куски, сглатывает и тут же прибавляет в росте и массе (что-то удачно, стильно, к лицу, как говорится, что-то убого, как лыжные ботинки на пляжном празднике или как маскарадный костюм на похоронах) и без оглядки режет, топчет, стирает с лица земли прошлое, торопится... Он не гнушается жертвы и кровинки ближнего своего, следы Нового Города повсеместно отдают треском, дымом и мертвечиной — крепко ли фундамент, стоящий на прахе и костях *многих*?

В детстве я, как, наверное, и все мальчишки, мечтал о том, как мы «догоним и перегоним» Запад и Америку. Во всём. И по небоскрёбам, в том числе! В голове моей рождались ультра-супер- гипер-мегасовременные строения, устремлённые в сквозящее небо изящностью и красотой. Они взлетали и парили над Волгой диковинными космическими кораблями, отливая солнцем и поражая воображение причудливостью форм. И я гордился ими, будто каждое из них создал сам. Мне представлялось, как приезжают люди из других городов и стран, удивляются и восхищаются *моим городом*.

У меня и сейчас есть любимые новостройки, целые кварталы. И я отчётливо понимаю, что где-то надо разрушить старое, чтобы построить новое. И что-то при этом потерять (например, убогую заводскую стену и до того умерший завод), а что-то обрести. Да, смотря что потерять. С дымом Старого города уходит его душа. Для Нового города Старый — как «внутренний домик» для человека, в нём ритм, ценности, чаяния, память и коды жизни. Впрочем, у денег мозгов нет. Нет у денег чувств.

Мне не хотелось задерживаться здесь, я постоял ещё с минуту, наверное, прощаясь лишь с *местом*, в котором прошло детство, но не с самим детством.

Я поехал к нему. Это азарт жал на педаль газа. А в душе клубилось предощущение битвы.

Мы встретились с Тувитой, будто расстались только вчера. Времени у меня было достаточно, но я не хотел засиживаться, однако хозяин завалил меня фотографиями и рисунками. И уже совсем сразил меня, опрокинув в полнейшее недоумение, когда выложил передо мной почерневшие от времени куски дерева. Обработанного дерева. Кронштейн, фрагмент резьбы... Я не сентиментальный человек, но мне захотелось подержать их в руках. И, как ни странно, они вправду говорили мне о том, что чему-то принадлежали, что у них была своя жизнь, история... Как отрезанные локоны чьих-то волос. И всё же я его не понимал, но сейчас это было неважно. Важно было то, что Тувита существовал

в принципе — жил, фотографировал, зарисовывал, бродил по старым улицам в свободное от дежурств время. Я сразу заговорил о главном.

— Не бросайте этого дела. Сколько денег вам надо на издание книги? Теперь на лице Антона отразилось замешательство.

— Я не планировал. Не знаю. — Тувита искренне озадачился, разглаживая морщины на большом лбу.

— Издайте. Соберите всё и издайте. Много денег я вам не дам. Придётся поискать ещё спонсора. Попробуйте в фондах различных поспросить. Авось... Или на губернский гранд подайте. Если получится, то должно хватить. И такой вопрос: хотите возглавить общественный фонд по защите памятников архитектуры?

— Здорово... — Тувита в очередной раз изумился, но глаза его загорелись. — В смысле, идея — отличная. Я-то, может, и не потяну как руководитель. Но с удовольствием буду в нём работать.

— Пикеты, митинги, демонстрации, транспаранты, листовки... Добывать власть и будоражить общественность! Привлечь внимание, заставить сделать то, что нужно для сохранения памятников. Например, добиться моратория на застройку в исторической части города. Этим выиграть время и что-то уберечь. Привлечь специалистов, разработать альтернативный умный план застройки, определить её характер. Ну, и план реконструкции и реставрации старины. С идеей! С концепцией! Взвесить, чего будет стоить, тут уж думать, где денег искать. Главное, начать движение, шаг, ещё шаг, ещё...

Я увидел, что он несколько в замешательстве.

— Что-то не так? — поинтересовался я, уже сам удивившись тому, что моё предложение вдруг не попало в цель.

— Всё так... Просто я думал, что это будет, скорее, восстановление, реставрация, поддержание памятников в достойном виде... Я бы мог своими руками делать и резьбу, и...

— Понятно...

«Он тоже не боец, — подумал я с досадой и разочарованием. — Он творец и хранитель». Битвы не получилось.

— А знаете, — вдруг оживился Тувита, — у меня есть такой человек.

Он сорвался с места и достал из «стенки» стопку бумаг. Отыскал нужную папку, извлёк старую газету и протянул мне. «Здесь его статья», — с хрустом заломил Антон неподатливую страницу, которую открывать и не собирался. Это была газета, которая уже не выпускалась.

— Почитайте на досуге, а потом вернёмся к разговору. А вы правы, это ужасно, — сказал он, — надо действительно бить во все колокола...

Несмотря на разговор с вполне реальным Антоном Тувитой о реальном деле, у меня оставалось ощущение нереальности происходящего. Нет, сам-то Тувита каков? Найти в семейном архиве удостоверение дяди — курсанта суворовского училища — и отнести его вместе с фо-

тографиями в музей ПриВО? Реставрировать старинные часы, корпеть над поделками (те же деревянные дома, сценки из сельской жизни) подбирать и восстанавливать какие-то предметы, игрушки типа Деда Мороза, который тоже когда-то был самодельным — и всё это разносить по студиям, детским садам? Я никак не мог понять, я ли нахожусь в своей оболочке, я ли говорю, и вообще — что задумал? Да и задумал ли? Истерика в состоянии аффекта: пройдёт время и не вспомнишь, что было, что делал, лаской белый пустой шар памяти. Но вот почему происходящее виделось и воспринималось именно так?

Может ли быть возбуждение в состоянии отупения? Но пелена, висевшая на глазах в странной афере с Тувитой и спасением старого города растворялась тут же, стоило мне вспомнить о том, какой кульбит я решился провернуть со своей собственной судьбой. Однако я не привык действовать в полутьме и тумане. Доехав до дома, я бросил машину и зашёл в кафе-бар. Пристроившись за столиком возле окна, я заказал кофе. Посетителей было ещё мало, музыка едва слышалась, телевизор без звука менял картинки: хорошо. Я достал газету, которую дал мне Антон.

Целых две страницы были посвящены теме исчезающего старого города. Одна страница разворота, как удалось определить по заголовкам, обличала тех, кто рушит старые дома или не спасает их, а другая — обрушивалась на тех, кто обличает. Да, к моему удивлению, нашлись и такие. Оппоненты-критики всё больше напирали на покосившиеся дома, будто других нет, а с покосившимися и церемониться не стоит. Речь должна идти не об отдельных «убогих» избушках! Как и отдельно вынесенный музей под открытым небом — отступной вариант, сдача позиций! А понять, что стеклом и бетоном сегодня никого не удивишь — пол, четверть дела! О другом они все говорят! Не о том! Не о Городе...

Я закрыл газету и удивился, что мне до сих пор не принесли водки. Официант, похожий на футбольного хулигана, который в эту секунду играет в команде КВН, быстро заменил пустую чашку из-под кофе на рюмку ледяной водки.

Мысли мои о фонде, Тувите, его книжке с зарисовками, о старом городе и моратории, двадцать минут назад хилые и тощие, как скелет, вдруг обросли мясом, сочной плотью, налились пульсирующей кровью. Вот и ладушки...

* * *

Зудящий зов. Торжественный и приятный. Когда вдруг внезапно оглядываешься или что-то ищешь глазами по сторонам. Или просто не находишь себе места, начинаешь и бросаешь мелкие дела, и понимаешь, что тебе куда-то надо идти. Ехать. Перемещаться. Состояние непривычное, но светлое, радостное.

Теперь мы живём втроём. Очень весело живём, дружно. И лишь малая деталь — неприметное ощущение отъезда, витающее в воздухе, — заставляла искать решения: для полноты и завершённости жизненной гармонии требовалось сменить «среду обитания». Как только я это понял, сразу успокоился и принялся действовать. Причём, не раздумывая. А ведь предстояло жизнь изменить кардинально!

Тогда в деревне, даже при том, что подсознательно выбирал себе дом, даже при неожиданном предложении, сделанном *ей*, идею переезда я искренне считал безумием. И уж тем более абсурдным — перевезти Арку.

Я встретился с компаньоном и сказал, что ухожу из дела. И успокоил его: долю свою буду выбирать щадяще медленно. У того начался, по-видимому, аллергический чих. Как старый лодочный мотор, он затарахтел о сумасшествии, кидалове, жирном кресте на развитии, и, перебивая себя смачным чиханием, фонтанировал избытком влаги. От обморока его спасли две рюмки коньяка, выпитые подряд.

— И куда ты лыжи намылил? — спросил он, ослабляя узел галстука и расстёгивая ворот белоснежной сорочки. — Свой бизнес открываешь?

— Нет. Я совсем ухожу от дел. Денег у меня достаточно, чтобы старость не была в тягость.

— Подозрительно...

— Что подозрительно?

— Фирму бросил. Стихами заговорил... На тебя не похоже! — он налил ещё рюмку, но вдруг по-ковбойски отправил её на край полированного стола. — Не понимаю, хоть убей!

Короткостриженная голова компаньона качалась из стороны в сторону, как у пёсика — автомобильной игрушки, которая украшала панель его машины.

— И не старайся, — миролюбиво, но с многообещающей безнадёжностью в голосе бросил я.

Жёсткие черты его лица не разгладились бы и в том случае, если бы он меня понял и простил. Он встал из-за стола, зачем-то подошёл к окну — сухощавый, с молодецким пружинящим шагом и сутуловатостью старика: таким я знаю его уже долгие годы. Актёр от жизни, он мог воссоздать простодушный взгляд, в глубине которого всегда скрывались три старших козыря и раскалённый уют наготове, на всякий случай. Но не про меня. Вряд ли мы когда-нибудь ещё встретимся. При этой мысли словно кусочек оторвался от сердца, подплыл к горлу и застрял там, горячий.

Внезапно компаньон вырос передо мной. Мне показалось, что его глаза чуть покраснели. Он никогда не был сентиментальным, но вдруг сказал:

— Странно... У меня на душе так же, как восемнадцать лет назад, когда ты уходил, а я оставался. Правда, в том случае — не надолго. И куда ты теперь?

— В деревню.

Компаньона трудно чем-либо удивить, а тем более — заставить проявить своё удивление. Тем не менее, мой «подельник», словно мальчишка, лизнувший замороженную сталь дверной ручки, невнятно ойкнул и застыл в изумлении. Я не торопил его. Не стал ничего объяснять. Наконец он отмяг и скептически принялся рассыпать издёвки, медленно приближаясь к той самой рюмке.

— А-а... Слышал, слышал. И про корни, и про истоки, и про малую Родину... Коровку заведёшь...

Я перебил его:

— Это не про меня. Если так, то корни мои здесь: я родился и вырос на асфальте. Так уж получилось, что уезжаю в деревню. С успехом это могли оказаться какие-нибудь Алеутские острова — самый из них каменистый и необитаемый. Или Марс. Здесь важна не географическая территория, не точка на карте мира...

— А я, было, подумал, что ты на Запад, к своей цыганке...

Я опешил. И растерялся. И не потому, что вдруг проснулись чувства или полноцветная сочная память выдернула из бывшего струнные аккорды спрятанного. Нет. Просто разом будто распахнулись шторы, наступило прозрение.

Так сложилось, что в моём личном мире нашлось место сразу двум женщинам. И я долгое время не замечал этого — ни сердце, ни разум, ни душа, ни их усиленная комбинация — совесть не проявляли беспокойства и озабоченности ни малейшим образом. Вовсе не в силу абсолютной развращённости моей натуры. Станет ли доводом факт, который в общепринятом или мелководном видении вызовет бурю протестов: связь с одной из них не являлась изменой для другой?! Может показаться парадоксальным и безнравственным — любить одну женщину, а спать с другой. Точнее, спать и с той, и с другой. Но если об одной думал хоть иногда, мечтал увидеть, внутренне разговаривал, представлял, рисовал объёмные цветные картинки, как будет проходить встреча, как можно было бы жить вместе, то другая не вспоминалась, как иконка атеистом. В свою очередь, появление на горизонте *той*, другой, сопровождалось, а в последнее время всё чаще и острее, вздымающимся ощущением её неизбежности, данности, что ли, загаданной когда-то, где-то и кем-то неосознанной необходимости. А теперь ещё и обычной тёплой нежности...

Я счастливо посмотрел на компаньона, чем вновь испугал его. И тут вдруг понял, почему мы с моей цыганкой тогда в такси так и не сказали: «Что же мы делаем?! Давай никуда не поедём!». Нам глубоко искренне требовалось *просто мимолётно признаться* в том, что мы друг друга любим. И только. Это было главным. Это со всем сонмом чувств, открытий и переживаний было важнее, чем долгая жизнь вместе. Странная штука. И тем более странно, что всё от начала и до конца жило в нас и пульсировало по-настоящему. И боль от разлуки — настоящая. И опустошение,

одиночество — тоже настоящие. Теперь, спустя некоторое время и по происшествию известных событий, пришло откровение, может быть, не очень приятное, несколько унижающее чувства и отношения с моей цыганкой: опустошение и одиночество должны были войти в мою душу, чтобы напрочь высвободить её, чтобы потом впустить в неё и наполнить ими: *ею* и Пижоном, вобрать без остатка светлым образом.

— Да не забивай себе голову! — воскликнул я, махнув рукой. — Давай лучше выпьем на посошок!

Его глаза блеснули, но он принял удручённый вид — компаньон не сдавался:

— А я, наивный, ждал твоего возвращения. Ждал с надеждой. И не терял времени зря! Тут такие перспективы открываются! Такие перспективы... Короче, я хотел обсудить с тобой вот что: новое направление, кардинально новое, что нас с тобой поднимет качественно на совершенно новый уровень. Давай откроем производство! Заводик по производству медицинского оборудования. Пока ты устраивал свои дела, я уже кое-что присмотрел. Хиреющее предприятие — работать не умеют, рынка не чувствуют, от идеи до внедрения века проходят... Да с нашим напором и нюхом мы такого, такого! Мы купим завод. Это не проблема. Мы как никто знаем, что сейчас необходимо нашим учреждениям. Я был в Москве. В патентном бюро пылится куча гениальнейших разработок! Куча! Это ж копи царя Соломона! Наши деньги плюс кредит, плюс спецы, плюс отработанные каналы сбыта, плюс доброе имя... Ни одной остановки! Представляешь, своё проектно-конструкторское бюро будет. Испытательные лаборатории. Своё производство. Кругом чистенько, люди в белых халатах, всё автоматизировано и компьютеризировано. Наши, свои собственные приборы! Нами изготовленная техника! Разве не этого мы хотели, мечтали, как пацаны, фантазировали?! А теперь я точно знаю, насколько идея реальна. Точно. Реальна как никогда.

Он буквально горел. Теперь уже и не пытался сдерживать возбуждение. Мне передалось его волнение, что-то колыхнулось в душе, тронуло струны, а прожитые годы вдруг спрессовались в недостающем глотке воздуха. Но решение я уже принял и моё будущее будоражило меня совсем по-другому, может быть, чуть тише, но более объёмно, если так можно сказать, охватывало всего целиком трезвой прозрачной уверенностью.

Я ничуть не сомневался, что у компаньона всё получится. Он круто возьмётся за дело, пойдёт танком и обязательно добьётся своего. И будет работать завод, и будет выпускать приборы. Я искренне порадовался за компаньона, за фирму, которую создали и поднимали вместе и которая пока ещё была и моей, за её новое лицо, новые обретения.

Мне не хотелось его огорчать.

Я обнял компаньона за плечо и тихо пропел:

— Та-ам, у причала стоят мои корабли...

— Когда сдохнешь — найди меня. Будет о чём поболтать за рюмочкой... — после недолгого молчания, вздохнув, пробурчал он. — А насчёт Бердя не беспокойся. Я его отшил. Волка к овчарне не прикармливают.

Я шагнул за порог бывшего своего кабинета без всяких сожалений. Там, за спиной, остался человек, с которым было много пережитого и связывало, как связывают беды или войны, пережитые вместе. Так может связать спасение от смерти или прощённое предательство. Или особенно текущее время, исполненное особенного же бытия. Но ведь мы не прощались навсегда. Я ушёл, а кусочек сердца так и не водворился на своё место. Может быть, перекочевал к нему, когда мы обнялись последний раз.

Гуня умер не вовремя. Он всё делал не ко времени. Такие перемены зреют, что-то налаживаться начинает, а он умер и вцепился, как рак: отпусти меня, Гуня! Отпусти.

Кому-то со стороны мои «гунинские страдания» покажутся смехотворными отходами самокопания, кому-то — явными признаками психического заболевания. Как бы там ни было, Гуня, накрепко поселившись в моей памяти своей активной эфирной жизнью, досаждал нешуточно — я вправду смертельно измаялся, устал. Этот громкий смех, нескончаемые разговоры, впечатления и ощущения от встреч — всё заново и не по одному разу. И каждый новый визит, каждое, сотни раз слышанное и сказанное слово — под скальпель мучительных дум. Почему против моей воли являются видения-привидения? Что ищу я в этом мёртвом, по сути, прошлом? Постоянно находиться вдвоём с Гуней — неумолимо. Почему Гуня так настойчив, почему омрачает свежесть новых задумок и перемен? Звонить психотерапевту или психологу — «в падлу». Разбираться со своими проблемами я привык сам. Мне пришло в голову совершенно мистическое, гениальное, до одури простое решение: я должен похоронить Гуню.

А для начала нужно найти его могилу. Увидеть памятник у холмика в оградке, его фотографию и табличку с цифрами-датами, цифрами-границами его бытия, его времени, жизни. Родился и умер. Был и нету. Помянуть «соткой», сказать надгробную речь, в общем, проводить в последний путь — и вся недолга. Я сел за телефон.

День пролился из утра прекрасный, солнечный. А поскольку будний, машин за город ехало не так уж и много. Я спустился по «Авроре» до кольца, ушёл через «Южный» мост и остановился в «Солнечном»: водку и закуску я купил в городе, по дороге надумал прихватить банку краски и кисть на случай, если потребуются обновить ограду или памятник (Гуня умер совсем недавно — может, покупки потаённо мыслились как ритуал, как личное вложение в устройство его загробной жизни?)

Когда я узнал, что Гунина могила в «Рубёжном», а не на каких-нибудь «Сорокиных хуторах» или где-то ещё, очень обрадовался: «Рубёжное» — кладбище-мегаполис с бесконечными улицами и кварталами, где покоятся сотни и сотни тысяч бывших горожан. Он оказался *среди всех*. Как все. Хотя бы в смерти.

Кладбищенский служащий, долговязый сивый парень со щетиной и ранними морщинами на лице, равнодушно сунул купюру в карман рубы, запачканной на локтях глиной, и подвёл меня к мотороллеру, который стоял за зданием центральной проходной.

— Метро здесь не пустили. А *им* оно и не надо — беспокойство одно, — сказал он табачным дымом и подмигнул так, словно просто моргнул одним глазом.

Нужный мне участок находился довольно далеко от центральных ворот, а на своих автомобилях на территорию кладбища сегодня почему-то не пропускали.

— А, этот, что ли?! — воскликнул могильщик, — помню, помню... Столько людей здесь перезакопал, так сказать, в последний путь проводил — не упомнишь. А этот — как сейчас перед глазами.

Третий или четвёртый раз я перечитывал надписи на табличке и тут же сверял их с фотографией. Не ускользнули от меня и цифры (я не знал точных дат рождения и смерти Гуни и отнюдь не старался их запомнить по примеру школьника перед контрольной или экзаменом) — я искал уверений.

— Он был похож на Ленина. Только без усов и без бороды. На очень усталого Ленина, измученного революцией и венерической болезнью.

Я не думал, что у Гуни были венерические заболевания.

— У вождя-то, говорят, сифилис был, — продолжал рассказ могильщик и говорил он, оказывается, не про Гуню. — И одно яйцо меньше другого, съезжилось из-за болезни яйцо.

— Полушарие мозга...

— Что?

— Одно из полушарий мозга усохло и вряд ли из-за сифилиса.

— Теперь понятно, почему до такой жути додумался. Я так мыслю, всем правителям ещё до выборов надо рентген головы делать, исследовать, короче. Вообще-то я на *них* особо не смотрю. Мне как-то, ну чего врать, по фигу. Привыкаешь. Из-за каждого расстраиваться — рядом ляжешь. Нельзя. А на него глянул — так выглядит, как будто не нравится ему так лежать, как будто перевернуться вниз лицом хочет. Слышь, а когда имя прочитал — почему и запомнил... Какой из него Ленин с таким именем? Он на этого, из кино старого про царя, похож, ну, такой грязный, оборванный ходил, всякие загадки загадывал да будущее знал.

Гуня-то умер. Гуня умер! Умер, видите ли, Гуня. Умер. Не знаю, навсегда ли?

А как просто!.. Чтобы неявленная мне смерть Гуни стала правдой, надо его могилу с фотографией, имяреком, цифрами увидеть чужими глазами! Например, глазами этого гробовщика-могильщика. И своими засвидетельствовать. Не отопрётся! Я был уверен теперь, что Гуня умер и захоронен здесь, потому что если бы сейчас из недр земли громко раздался знакомый голос: «Привет, паря. Граната оказалась боевой. Но очень горькой, несъедобной совсем», — я бы не услышал его.

Гуня пересёк поверхность сферы. Из-за «горизонта» Шварцильда нет возврата. Хор голосов: привет сингулярности! У Гуни были критически мощные гравитационные силы, которые не влияли ни на что, кроме времени и спрямлённого пространства, оно стекалось к нему и обретало кривизну. Нормальную, естественную. Это я знаю точно, как знаю наверняка ещё один маленький секрет из этой огромной тайны: Гуня не испарится в виде излучения Хоккинга. Он обрёл выход из времени, а его душа — новый сладко-страшный (по-гунински!) грех, грех вечный, за который ему уже никогда не покаяться.

Только теперь я как следует оглядел могилу — тот, кто хоронил Гуню, совершенно не знал его или просто-напросто надсмеялся над жизнью и прахом усопшего: захоронение ничуть не напоминало о католических (или в какую другую веру он обратился?) традициях, православными обычаями так же пренебрегли (может быть, и оправданно, но, как ни странно, получилось глупо, бессмысленно, как-то беспощадно безнравственно). Пять низких столбов, связанных между собой, кроме входа, *цепями современности* никак не давали могиле личного пространства, защищённого микромира, необходимого для уединения в Вечности. С другой стороны — кандальность образа и вечнополётный Гуня? Бр-р... Выглядело всё неуютно, слишком открыто, как автопарковка у супермаркета. Металлический памятник, прямоугольный и почти плоский, со странной овальной полочкой, хоть и окрашенный серебрянкой, напоминал рукомойник из «Мойдодыра» — только крана и не хватало. Уж лучше бы соорудили огромный макет гранаты и подписали: «Руками не трогать!». И то пользы было бы больше. Каждый бы на всю жизнь запомнил. Мне стало обидно за Гуню.

Впрочем, могила была ухоженная. И вполне *обычная*. А в стиле погребения эклектически-сумбурно намешаны простецкие претензии и обыденная неприязнательность (похоже, так представлялась *им* Гунина суть, если, конечно, не примитивная случайность руководила *ими* в выборе ритуальных атрибутов и дизайна места упокоения). А я-то, я ожидал увидеть что-то сверхъестественное, из ряда вон выходящее! Абыч-на-я! Необъяснимо, но это открытие отозвалось в душе прозрачной радостью и отрезвило. Всё. Я нашёл могилу и, тем самым, Гуня умер. Теперь во второй и единственный раз. Умер во мне и для меня. И теперь я провожал приятеля в последний путь.

И я, наверное, впервые подумал о смерти Гуни *нормально*, как о смерти: «Жизнь, жизнь... Что это есть?». Мне почему-то представился молодой ещё Караченцов в роли графа Резанова — нервно, с вулканической самоотдачей и счастливой грустью в живых глазах, на которого смотрит из зрительного зала Караченцов больной, после аварии и операции... Аллилуйя любви... Какая дикая, какая безумная несправедливость! Всё есть, пока есть. Потом картинка погасла до полной темноты и где-то там далеко внутри остались беспомощные слёзы, словно бы не найдя выхода... Затем я чуть-чуть фальшиво перенёс колышущийся ступок видения и ощущений на себя, ужаснулся и захотел выпить. И это тоже было правильно. Это было чуть-чуть жизнь.

На стол между могилами, который я застелил газетой, из пакета перекочевали мои скромные поминки: чекушка водки, два расстегая с рыбой из обычной кулинарии, нарезка сёмги в вакуумной упаковке. И большое красное яблоко. И дурацкие пластиковые стаканчики, из которых я ненавижу пить водку. Сейчас я *знал*, что напишу в некрологе. Вырвав из записной книжки листок, я набросал несколько фраз и, расставшись со жвачкой, удовлетворённо прищёпнул творение на торец памятника.

Я знал — видел как-то, — что если ты приходишь на могилку, то надо обязательно присесть на корточки, вырвать какой-нибудь сорнячок, что-нибудь поправить, например, передвинуть влево на три с половиной сантиметра тарелку со стаканом, но главное — присесть на корточки. Между тенями проплыла другая тень. Ко мне за спину нельзя заходить — начинают ныть, чесаться, саднить дёсны. Будто клыки вырастают. Я оглянулся. Это была девушка — видимо, она не заметила меня между кустами сирени, пригнувшегося к земле. А когда увидела — испугалась: метнулась в сторону, чтобы улизнуть. Но, встретившись со мной взглядом, хрустнула сцепленными пальцами и осталась стоять, растерянная и покорившаяся.

— Помянем?

— А Вы кто? Я Вас не знаю.

Зато я сразу узнал её. Это была *утренняя девушка с остановки*. Я сказал:

— Если бы вы лизнули её утром...

У меня появилась возможность *быть причисленным*. И я захотел её использовать. Однако девушка ничего не понимала. К тому же, ей сейчас было не до меня — утренней девушке очень хотелось побыть наедине с чувством вины перед памятью усопшего Гуни, чтобы острее, чтобы до слёз. Видимо, она, так же, как я, пришла просить Гуню отпустить её. И была слишком причислена к тем, кто последним видел Гуню в живых. В том нет её вины. Как и моей нет в том, что я не расспрашивал Гуню, когда это требовалось, что не поехал с ним в Одессу, что...

Я бесцеремонно разглядывал её, будто мучительно старался что-то уловить, распознать, например, загадку жизни и смерти, любви и отрече-

чения. Она была прехорошенькая, с умными серыми глазами и красивым лицом. Обычная, современно одетая. В её взгляде появилась досада, которую тут же затмил блеск стали. Поднявшись, я перешагнул цепи и оказался у стола.

Она с усталым вызовом сказала: «А калитка на что?». Я оглянулся, понял, что она говорила о том, что проходить надо через проход между цепями, и, пока я думал над смыслом замечания, снова услышал её голос:

— Я не была на похоронах. И на поминки не поехала. Сессия, экзамены...

— Я сейчас уйду. Я тоже не был на похоронах, хотя, как выяснилось, видел его за день до...

— Оставайтесь. Не уходите.

Она умудрилась не допить водку, несмотря на то, что налито было всего-то «на мизинец». Когда я сказал, что оставлять нехорошо и кивнул в сторону Гуни, она кое-как затолкала в себя остатки, скривилась. Схватила яблоко, но так и не откусила. Стаканчик с хрустом смялся в её руке и полетел в кусты: «Всё, я больше пить не буду».

— Всю дорогу сюда я ехала в таком страхе, что боялась плакать. Думала, умру.

— Хотелось?

— Сидела и ждала. И очень хотела реветь и реветь, и реветь... Но слёзы куда-то подевались. Только тело дёргалось, как в конвульсиях. И всё. Только один раз, когда подходила к воротам кладбища, потекли. И тут же спрятались. Я изо дня в день собиралась сюда приехать и откладывала, откладывала, находила всякие причины...

— Экзамены?

— Но я больше не могла со всем этим жить. Похоже, вы — тоже. Можете ничего не говорить, я не слепая. И не дура. При его жизни мы все старались, как могли, ведь, правда?

Я спохватился: всё это время невольно изучал линии чёрных облегающих брючек. Очень низкие, они сидели на бедрах, открывая тазовые бугорки и самый низ живота, который плавно и рельефно стекал к завершённости. Чёрная облегающая маечка — мягкая ткань лепила округлости и откровения, как затаённое предвкушение (мельком подметилось: на голове — чёрный, свернутый в полоску прозрачный платок: она тоже хоронила!). Сами собой возникли в моей голове картинки, как она и Гуня занимаются сексом. То, что в моём воображении делала она, выходило очень сочно, тонко. То, что и, главное, как выкаблучивал Гуня... Я поймал себя на мысли, что уничижаю уже мёртвого Гуню, потому что вдруг увидел в нём соперника. Потому что уже видел с ней себя. Мысль эта, суть фантазии почему-то не тронули совести (Гуня мне не был другом, пришёл я не убиваться горем, хотя мне было искренне жаль приятеля детства) — так, передёрнуло от мимолётной брезгливости. Ведь это было грубо, дико, смешно. Слишком обыденно-

нудно. Обыденно-пошло. К тому же, у меня есть, кого любить... И тут я поймал себя на том, что с момента Гуниной смерти прожил с ним вторую жизнь — яркую, насыщенную почти ежедневными встречами и событиями, что нас здорово сблизило. И теперь где-то в душе зрело и просилось наружу слово «друг». И мне стало стыдно. Где я себе врал?

— Правда.

— Не уходите. Главное уже случилось, — она помолчала, и, мельком глянув на фото покойника, глубоко вздохнула. — Гуня рассказывал мне о вас.

Интересно, что рассказывал обо мне Гуня?

— Что за листок вы налепили на памятник?

— Некролог.

Она спросила разрешения прочитать, я не возражал. Она бежала взглядом по строчкам с тревожным ожиданием и вдруг грустно улыбнулась:

— Точно. Лучше не скажешь. Вы его поняли. Жаль, что не сказали ему об этом. А некролог — в самую точку. И всё — в Гунином стиле, даже листок. Только предлагаю жвачку заменить на лак для ногтей.

Она совсем не шутила. Девушка вдруг открыла сумочку и выудила сложенный вчетверо тетрадный лист. Он показался мне знакомым. Не успел лист, послушный тонким пальцам, развернуться до конца, как я уже понял, что это тот самый эскиз памятника Ледовой Вечности, Покаяния и Скорби.

— Дайте его мне, — я уже для себя всё решил. — Потом верну, черкните на нем свой телефон.

— Я должна вам что-то сказать.

Я посмотрел на неё вопросительно.

— Здесь, — она чуть кивнула головой в сторону могилы, — не могу. Смешно, конечно, но... Пройдёмся?

Мы шли по длинной-длинной прямой улице города мёртвых, пустынность которой с полнотой подменял единственно уместный вопрос, витавший всюду, но не требующий озвучания. Приземистая архитектура печали и скорби высачивалась в пространство противоречием смысла и бессмысленности, сделав воздух осязаемо густым, как в переполненном людьми переходе метро. Может быть, поэтому мы шли медленно, словно стараясь не задеть плечом этих незаметных прохожих. Или потому, что Само надменное самоуверенное и поглощённое собой Время вдруг запнулось и растерянно замерло в недоумении: идти или не идти? Оно теряло здесь свою сущность, оставляя секунды и минутки у каждого креста, надгробия, памятника, прилипло к последним после тире цифрам и поэтому выглядело уродливым. Четвертованным, колесованным кастратом... И неестественным. Лишним. А уж наше присутствие и вовсе сбивало его с толку. Глупенькое ты, над загадочной персоной которого ломаются копыта учёной мысли,

преисполненное самодовольства и гордыни, что ты со своей объективностью значишь БЕЗ НАС?

Девушка заговорила лишь тогда, когда мы отошли достаточно далеко.

— Гуня так подробно и точно вас описал, что я узнала сразу. Как будто видела вас часто-часто. Иногда он так много о вас говорил, что мне казалось, что мы живём втроём. Ужас, да?

Вместо гордости от *причисленности*, я подумал, что она хочет сделать мне больно, вызвать во мне чувство вины смертное — ей это почти удалось.

— Мы виделись с ним очень редко, раз или два в год.

— Я знаю, но этого хватало, чтобы мы утонули в вашем ореоле на очередные полгода. Я, конечно, немного преувеличиваю, тем не менее, он гордился знакомством с вами. Уважал. Восхищался откровенно. И, мне кажется, старался походить... На вас. Вот, видите, как мало мы иногда знаем? В частности, о том, кто мы есть для окружающих, что мы им даём или могли дать?

Новость была напичкана психотропными веществами, угнетающими волю, подавляющими личность — скомандуй: «Рядовой Фигов!» — «Я» — «На пулемётный дзот марш!» — «Есть».

— Блин, я и не знаю, как себя вести, извиниться, что ли? Или ждать, что вы сейчас достанете из сумочки пистолет и выстрелите мне в живот?

— Вы не так поняли. Хотя... Правильно и неправильно. С одной стороны, я уже начала вас ревновать. К нашей с Гуней близости. С другой — ненавидеть, что вас слишком много. С третьей — обижаться, что вы недооцениваете его, что ли, мало дружите «на земле», то есть редко встречаетесь, а иногда и открыто смеётесь над ним...

— Этого не было в принципе! Никогда!

— И с пятой стороны — поняла, что влюбляюсь в вас. Да, представьте себе. При том, что я никогда не считала себя романтической книжной натурой. У меня рисовался зримый образ, расцвеченный похвалами и восхищением Гуни. В какой-то момент я нестерпимо захотела вас увидеть. Но Гуня всё откладывал встречу и знакомство, будто чувствовал, чем это могло кончиться.

Я хмыкнул и спросил без всякой надежды, но не без любопытства:

— Ну и?..

Она повернулась ко мне, чуть склонила голову и хитро прищурилась, но лишь прозвучат первые слова, её взгляд отлетит к небу:

— Все мужчины кокетливы. Когда это чуть-чуть, как озорство — это нормально. На самом деле вы хотели спросить, понравились ли вы мне теперь, когда я вас увидела. Получилось ли бы у нас с вами? Я правильно перевела с мужского языка на человеческий? Отвечаю! Думаю, получилось бы.

Мудрая девчонка, очень органичная. Как правильно, как хорошо она всё сделала! Чирк — вкусный *отрезок*. Отрезок — это прямая *без продолжения*! Так славно, что мне не нужно изображать, надуваться, теряться в надеждах или глупо мычать, прячась в паранджу тугодумной якобы девственности. Здорово.

— Странно. Я хотела поговорить с вами совсем о другом — о себе и о Гуне. О наших отношениях. О том, в чём я виновата. А получилась так, что специально отвела вас в сторону, чтобы признаться в каких-то флиртовых чувствах. Не в чувствах, а желаниях. Получается, что мы... я снова обошла его стороной. Хотя на самом деле, всё просто: даже здесь, возле смерти, жизнь остаётся жизнью, а случайность — нелепой и ненужной закономерностью. И снова ищешь оправдания. Или прощения...

— Не усложняйте. Не накручивайте себя. Это всего лишь метафора исповеди. Вам просто хочется новой боли и новой вины. Как сказал бы Гуня — нового греха. Так пусть будет! Мы же оба знаем надутую «страшность» этого «греха». Когда сердце рвётся наружу, не указывайте ему путь. Вам, видимо, много нужно сказать — говорите. И не думайте о том, как вы будете выглядеть. Иначе что-то останется внутри невысказанным. А ведь хочется так, чтоб наизнанку. — Здесь я задумался и понял, что говорю о себе. — Будете сигарету? А я, с вашего позволения, закурю.

— Да. Гуня вас не придумал... Спасибо. И вам тоже некому высказаться? — она немного подумала и уверенно заговорила. — Тут я вам не помощник. Не люблю слушать. Люблю говорить. Слушать могла только Гуню. Хотя, мне кажется, я сильно изменилась. По крайней мере, уже научилась присматриваться. И прислушиваться. И призадумываться. Чуть-чуть. Сначала я совсем не воспринимала его как мужчину. Хотя заметила сразу. Но первое чувство — недоумение. Первое и долгоживущее, если так можно выразиться. А временами он вызывал даже брезгливость. Не знаю, почему. Но он так смотрел на меня в больнице... Притащил цветы и огромный арбуз. Потом подсунил клочок бумаги со стихотворением. «Это тебе» — и втиснул в мою руку. На меня просто обрушилось откровение — *такие тоже могут любить?* Я была молода и не знала жизни. Нет, правда, иногда так можно сказать и о годе прожитой жизни. Я считала, что любить могут только красивые и молодые. Вообще говоря, я поступила мерзко. Вначале я подсмеивалась над ним, над его чувствами. И как-то решила похулиганить, поддразнить его (я так и никогда не смогла ему в этом признаться). Я буквально представляла бурю в его голове оттого, что задумала. Почему-то мне казалось, что у него никогда не было женщин, а уж красивых молодых — тем более.

— О... Это великое заблуждение...

— Да, я потом это узнала. К нему ходили сопливые студентки, женщина постарше меня и одна особа примерно одних со мною лет. Та

могла часами стоять под окнами, а Гуня метался по больнице, словно искал выход, хотя их там было как минимум два, или утыкался лицом в подушку. Моё удивление сменилось тенью, призраком ревности. Меня просто укололо, что покушаются на моё, ненужное, но вроде как моё. Я не собиралась с ним сблизиться. Короче, однажды я в перевязочной притворилась, что упала в обморок. И обнажилась. Так, чуть-чуть. Обморок нужен был, чтобы он оказался близко, чтобы не только видел, но и запах почувствовал, тепло и волны. Но он... Хотя я и не придумывала себе, как он поступит!

Я знал эту историю и мог ни о чём не спрашивать.

— А он глумливо воспользовался случаем?

— Представьте, почти да. Но не глумливо. Просто взял, что плохо лежало. Мне было неприятно. Очень неприятно, но выдать себя я не могла. Я разозлилась на себя, а его стала сторониться. Короче, вместо легкомысленного возбуждения я корила, не-ет — презирала себя, дуру, и почти возненавидела его.

Да, Гуня обманул утреннюю девушку, разломал с треском её представления о нём, о жизни...

— Затем я выписалась. В тот день, когда я с сумкой и одетая не в больничный халат ждала выписки у сестринского поста, Гуня бродил по коридору и не смотрел на меня. Он прошёлся мимо меня уже в двадцатый раз. Я не выдержала, напала на него: «Чего ты ходишь тут, чего ты привязался ко мне. Неужели ты думаешь, что между нами что-то может быть?!». А он без тени сомнения и юмора отвечает: «Почему нет?» Я говорю: «Посмотри на себя». Но это его не смутило ничуть, он показал мне гордый свой профиль, выставив подбородок. Я проглотила слово «уродец», которое вертелось у меня на языке, и про себя рассмеялась... Через три дня я пришла к нему в больницу. Да, так. Но он встретил меня будто без особой радости, будто так и должно было быть. Это-то меня удивляло, бесило и восхищало. Причём он ничего не изображал из себя. Какая-то тень светлого лёгкого оживления мелькнула в глазах — и всё. А он всучил мне толстенную пачку каких-то тетрадных листов, бланков рецептов, журнальные пустографки — это оказались стихи. За всё время наших отношений я узнавала его каждый день и каждый день новым. Он может быть трепетным и очаровательно невнимательным. В ухаживаниях — галантным и неуклюжим, страстным до беспамятства. Он мужчина, хоть и странный. Он жутко отважный и сильный духом, хотя как-то параллельно слабый и растерянный. С ним безумно интересно и также безумно тяжело. С ним надёжно и, как на ноже, всегда настороже... Я не могла понять, что я от него хочу, чего жду от наших отношений. Но меня к нему тянуло, хотя иногда и отталкивало. Он втянул меня в себя так, будто это было магией или магнитом, воронкой, омутом...

— Мы оба знаем, почему с ним было трудно.

— Если вы о практичности и приспособленности к жизни — ерунда. Одним ребёнком рядом больше, какая разница. Хотя, конечно, рядом нужен мужчина-добытчик, мужчина-защитник. Тут другое... Он на самом деле был порядочным и кристально честным, чистым. При всей своей взбалмошности. И только своим присутствием рядом со мной он каждую минуту, каждую секунду своей чистой жизнью вызывал у меня чувство вины, без слов доказывал, что я — гнусенькая пакостница. Исподволь мне приходилось соизмерять каждый мой шаг, каждый свой поступок с его жизнью и это напрягало. Невыносимо напрягало. Иконы, образа — можно завесить предусмотрительными(!) занавесками на нужный случай. Гуню...

— Ты рада, что так вышло?

— Не провоцируйте меня. Я думаю, что Вы, как никто, всё понимаете. И это самый искренний ответ.

Я хотел расспросить её про то утро на остановке — именно там, наверное, крылась последняя (именно только последняя!) капля, которая переполнила чашу Гуниной жизни. Но девушка неожиданно смело и очень интимно прижала свой палец к моим губам — было в этом что-то противоестественное, оставляющее без мыслей.

Ещё полчаса мы провели с утренней девушкой на могиле Гуни. Поговорили о ней, о новом торговом центре, который возвели между «Оврагом Подпольщиков» и глазной больницей (Даёшь к 2010 году каждому жителю города по торговому центру!), вспомнили о «Девятой роте» и «Гарпастуме» (она его не смотрела!), поболтали о дороговизне высшего образования, осмотрели соседние могилы, читая даты и почему-то с неподдельным интересом всматриваясь в лица, а у меня всё крутилась в голове песня: «Это всё, что останется после меня...». А небо над кладбищем было невыносимо огромным и пустым *без крика*. Оно с укором ждало и взывало к крику, испрашивало его всей своей бесцветной необъятностью, жадной, голодной готовностью всосать его и насытиться, наполниться им, как лёгкие — воздухом.

Где-то затарахтел мотороллер, гул приближался и чуть отделил от меня колкое небо — я вздохнул с облегчением.

— Как договаривались, шеф. Поехали, а то мне ещё заказец на могилку подвалил: без работы не останемся... Хлебное место. Девка с нами?

Мы с девушкой почти одновременно оглянулись на могилу: прощай, Гуня. Только сейчас я заметил, что мы почти не говорили о Гуне. Но ведь думали о нём? Думали! Я почувствовал, как её рука обвила мою талию, я обнял её за плечо. Мы потянулись друг к другу щеками и слегка коснулись, не переставая глядеть на памятник. Прикосновение было тёплым и нежным, как признание. Оно говорило о том, что ей нужна поддержка, что у нас есть что-то общее, очень важное, такое, как любовь, смерть, прошлое, будущее... И немного Времени.

Половину дороги, как раз до въезда в город, мы молчали. Это было не тяжёлое молчание, это была тишина осмысления, прощания. Сначала она смотрела в окно, затем вздохнула и положила голову ко мне на плечо, прижалась доверительно. Сидеть ей в таком положении было, похоже, неудобно, но я почти не трогал рычаг коробки передач, тем самым не беспокоил её. Город только надвинулся на нас первыми домами, девушка уже улыбалась, что-то пока ещё сдержанно говорила, то и дело по-свойски, чтобы расставить ударения и передать мне свои эмоции, касалась то ноги моей, то руки, лежащей на руле. А сердце моё порхало воздушным мотыльком в звонких просторах неба. Значит Гуня отпустил нас. Каждого из нас. Теперь впереди у нас были разные дороги. И это было здорово. Светло и трогательно. На прощание она поцеловала меня. Два раза. Глаза у неё были счастливыми (лишь где-то на самом дне — затаённая грустинка). Я чувствовал, что девушка преисполнена ко мне благодарности, она горела поделиться со мной своим счастьем и поблагодарить за то, что мы оба знали Гуню, за то, что помогли друг другу похоронить его, за новую жизнь впереди. Спасибо и тебе, утренняя девушка. И прощай.

Я заехал в агентство, которое специализировалось на наружной рекламе и с которым наша фирма работала давно и благополучно. Тетрадный листок перекочевал из моих рук в руки директора, а через полминутки, вздрогнувший от «кх-кх», предстал пред ясны очи дизайнера. Я попросил, чтобы с макетом не тянули, чтобы в качестве материала предусмотрели белое, голубое и синее стекло, самое бронебойное, указал примерные размеры. И пригрозил, что если раздуют смету, то уйду к знакомому скульптору. С необычайной лёгкостью на сердце я помчался через весь город в противоположную сторону света, в знакомую уже деревеньку.

«Хороший был человек Гуня. Безобидный. Светлый человечек был», — грустно подумал я.

Я всё-таки купил дом. На границе двух областей. «Зады», как называли в этой деревне противоположную от главного входа сторону участка, выходили к реке. Берег за речкой утопал в светлом сосновом бору, который чем дальше, тем становился гуще, темнее, непролазнее из-за других видов деревьев и кустарников, и почти сказочного бурелома.

Это был особенный пейзаж. Дело не в красоте, которой он, несомненно, обладал. При всей своей обычности в нём словно сквозила, читалась какая-то информация. Что-то он говорил. Или содержал в себе некое тайное знание.

Сам дом, срубовой «пятистенок», был просторным и покойным. Он понравился мне сразу. Невероятно, но в нём возникло ощущение *моей* жизни. Это ж нужно было оказаться здесь «под старость лет», чтобы понять: я жил *не свою* жизнь! Каково, а?!

Покупателей на городскую квартиру нашёл очень быстро. И тем самым оборвал все нити, связывающие *мою* жизнь с *не моей*. Последний, но самый важный штрих — Арка. *Не моя* жизнь началась, как я теперь понимаю, не с самого рождения. Но как только я расстался с Аркой (то ли оттого, что семья переехала, то ли тогда, когда вдруг навсегда забыл загадать желание) — вышел из неё, а назад не вернулся... — так и попал в *не свою* жизнь.

* * *

Как-то в прихожей в углу возле двери я увидел бейсбольную биту. Настоящую, увесистую. Она довольно приятно лежала в руке и будто сама раскачивалась для мощного удара. Но было отчётливо ясно — появилась она в квартире не из спортивного интереса. И вообще я уже знал, что случилась беда. Бита долгое время висела перед глазами сама по себе, куда бы я ни смотрел, а за окружающей её млечностью слышалась возня, тлел запах страха и смерти.

Сходив к тому самому «гражданину начальнику», я сторговал миллиейскую дубинку нового образца — достойная пара бите. И подвесил её в том же углу.

Я спросил его:

— Я могу чем-то помочь?

Пижон немного подумал и сказал:

— Я, наверное, съеду на некоторое время.

Вот так запросто: «съеду». Он сказал, а мне сразу представилась безрадостная оголённая комната, из которой только что вынесли новогодною ёлку. Я прижал подошвой своё «эго»: только debil мог не понять — такими вещами не шутят. Более того, он не сбегал, он пытался оградить от опасности нас. Что, с одной стороны, вызвало у меня уважение к нему, а с другой — ещё больше насторожило. Нужно было разговорить парня и я спросил:

— Что, так серьёзно?

Предательский мимолётный кивок согласия он решил закрасить жиденькой бравадой:

— Дела прошлые, ты не думай. Разберёмся...

Глухое тупое ожесточение стало возвращаться ко мне уродливой мумией, как мне казалось, давно и тщательно замурованной в саркофаге *той* жизни. Я сопротивлялся этому, как мог.

— На днях переезжаем. Может, обойдётся, перемелется... — сказал я, прекрасно зная, что не птицу прячут от бешеных лис — лис отстреливают.

Наверное, я старею. Или неведомые мне чувства примерного мирного папаши по отношению к оступившемуся сыну потекли через край, как кефир из переполненного стакана. И ещё — я почему-то устыдился сказанного, может быть, даже покраснел. И от этого ещё больше озлобился.

Он взглянул на меня вдруг неожиданно весело, будто не стояло в воздухе бедового марева.

— Я схожу за пивом, — сказал он, улыбаясь, и направился к двери.

— Леца возьми! — крикнул я вдогонку. — Только не копчёного, а сушёного!

— Неужели это никогда не кончится?

Это был *её* голос. Он прозвучал так горько, что я ощутил во рту вкус надкушенной сосновой шишки. *Она* стояла в дверях прихожей, опав на косяк и скрестив на груди руки. Взгляд *её* был устремлён сквозь длинный коридор, навывлет простреливающий кухню и окно в розовой тюли. Тоннель, пробивающий гору, чтобы ярким арочным сводом открыть убегающую ленту дороги, окружённую по обочинам зеленью, а вдалеке — радужный край нового мира. Видимо, *она* всегда мысленно была на той стороне тоннеля. Но жить приходилось здесь, с двумя бродягами и песком реальности на зубах.

И вдруг *она* посмотрела на меня. Так, будто пыталась воскресить только что умершего. Серо-зелёные глаза казались необыкновенно сильными. Полными, как небесное тело — раздающейся плазмой, скрытой лишь тонкой, обманчиво спокойной оболочкой.

Я обнял *её* и зашептал в волосы:

— Поверь, мы справимся, потому что мы наконец вместе. *Иначе* вместе. И скоро ты будешь на крыльце чистить рыбу, которую мы наловим на речке. Не зря же я купил-таки гобелен с оленями!

Пришлось раскрыть тайну. Преподнести сюрприз я хотел после переезда. То есть новинка уже нашла своё место на стене в новом доме. Но *так* сейчас было нужнее.

Другие глаза, дрогнувшие, как гладь заводи от играющего малька, стали искать и искать моего взгляда, хотя я не переставал смотреть на *неё*.

Теперь у нас всё получится.

* * *

Кое-что из мебели было продано, что-то я перевёз в деревню. В гулких комнатах громоздились коробка с отобранными для новой жизни вещами. Пока Пижон мылся, я без всяких-яких прелюдий завалил *её* на полу, наскоро расстелив, словно для смеха, свою рубаху. *Она* мягко отстранила меня, одной рукой упершись в грудь, пальцем другой коснувшись моих губ.

— Была бы фуфайка, — чуть усмехнулась *она*, затем замерла, унесясь куда-то мыслями, и, начала бегло ощупывать меня взглядом. — Скажи мне что-нибудь шёпотом.

Я насторожился... и вдруг взвыл волком: «Ау-у-у...».

— Дурачок, напугал... Надо собираться, — шепнула *она*. — Скоро машина придёт. Да и он уже помылся — слышишь, вода не шумит, слышишь?

Мы поцеловались и я угрожающе съехидничал:

— Ладно. Твоя взяла. Но приедем в деревню, утащу тебя на бабкин сеновал. Вот тогда запоёшь!

— Эх, спую... — мечтательно протянула *она* и блаженно раскинулась на полу.

Открытое окно выглядело куда более живым, чем наше жилище. Воздух за гранью проёма был так насыщен цветами, звуками, запахами и движением, что, казалось, его можно зачерпнуть ложкой. Но — и это было ошеломляюще необъяснимым! — попадая в комнату, мир таял, рассеивался, терял яркость и сочность. На улице возле самого окна замерла ветка клёна. Свежие зелёные листья едва трепетали в золотистом свете, взволнованном птичьим щебетом и трелями. Один из листочков приютил на себе стрекозу. Наши взгляды встретились. Я, бестолковый, никак не мог понять, что она мне говорит — такое смешное детское впечатление у меня возникло. Тут стрекоза внезапно снялась с места, влетела в комнату и, сделав полукруг, приземлилась на моей голове. Я замер в удовольствии, затаённо радуясь случайности. Казалось — вспугни — прибавится седины и морщин. Вдруг стрекоза шумно жужжала крыльями: видно, пыталась взлететь, но запуталась в волосах. Это было похоже на взлёт вертолёта, который силится подняться в воздух целый город. Осознав неудачу, стрекоза, грустно петляя, словно потеряла силы, исчезла в золотистых струях.

Всё это время *она* заворожённо смотрела на меня, держа в руках мою рубашку. Раздался звонок.

— Машина, наверное, — торопливо сказал Пижон, вошедший в комнату.

Пышущий чистотой и свежестью, с полотенцем через плечо, он сутеллся с неподатливой пуговицей на шортах. Бросил затею, не доведя до конца, схватился за коробку и воскликнул:

— Чего стоите? Берите что-нибудь — и вперёд! Начинать новую жизнь!

— Штаны застегни, помощник! — ухмыльнулся я и пошёл открывать.

На лестничной площадке стояли трое. У двери — яйцеголовый паренёк, наверное, ровесник Пижона. Наши взоры встретились и мои глаза словно утонули в тёмной подворотне, в глубине которой маячили силуэты беды. За ним, прислонившись к стене — хорохористый «качок» с пухлыми губами, лет двадцати трёх. Он украдкой глянул вниз, в сторону окна — сквозь ажурные металлические ступени, где я разглядел третьего. На вид ему было около тридцати. Сидя на корточках на низком подоконнике, он курил и смотрел куда-то под ноги. Потом перевёл взгляд на меня — даже проникая в фигурные просветы лестницы, взгляд упёрся в меня стальным прутом. Я сразу определил, что этот — тёртый, с богатым тюремным прошлым.

Их излишне безразличные лица только подчёркивали угрозу, плотно насытившую пространство.

Пацан вытянул изо рта леденец в виде зайчика на палочке, который купил, видимо, ради своего обычного эпатажного прикола, и сказал:

— Беса позови.

— Здесь такого нет, — ответил я, лихорадочно выстраивая план действий.

Пацан заглянул вглубь квартиры и крикнул:

— Бес, выходи! Мы пришли!

Неожиданно для самого себя я забормотал: «В мой лес ветер влез — не хватило ветру мест. Я пришёл...».

— Молишься? — прорвался к моему сознанию почти участливый голос Младшенького. — Молись, молись, помогает.

— Это ты прав... Точно, помогает, по себе знаю.

В мозгу мелькнуло прикрыть за собой дверь, но с голыми руками против вооружённых, в чём у меня не было никаких сомнений, бандитов идти глупо. Мне нужна была дубинка, поэтому я сыграл «валенка».

— А... Понял, о ком вы! Сейчас позову, — радушно улыбаясь, расцвёл я.

— Только не дури, мужик, — увесисто пробасил Качок, не уверовавший в мою искренность. — Пусть ответит и мы уйдём.

Едва я оказался в прихожей, тут же столкнулся с Пижоном. Он был возбуждённо бледен, глаза блестели. В каждом движении — решимость. Он протянул мне милицейскую дубинку, а сам чуть поиграл битой. Отсидиваться за дверью было бессмысленно: подъедет машина — выйти придётся и, если не навалятся тут же, то проследить маршрут — дело нехитрое. И тогда — хана, по-тихому. Скорее всего, всем нам. Следовательно...

Дверь превратилась в огромное сплошное ухо, поэтому мы с Пижоном изъяснялись знаками. Я буквально видел, как на лестничной клетке пришлые заправляли в рукава заточки и ножи, а их главный играл губами, как лезвием для бритвы. Что-то мне подсказывало, что пистолетов и обрезов у них нет. Значит наши шансы увеличивались. Если, конечно, я не ошибался.

Я пожалел, что так и не успел «расколоть» Пижона — так и не узнал, что же всё-таки случилось. Возможно, мне удалось бы «развести» урок или хотя бы более серьёзно подготовиться к встрече. А так...

— Бес, ты прямо волшебник! — раздался с гулким эхом голос за дверью. — Ты включил своё время. И оно потекло в обратном направлении. И чем дольше ты сидишь за дверью, тем меньше у тебя его остаётся.

Это был Младшенький. С таким умением разговаривать, с жёсткой пружиной отчаянности внутри и ранним стажем (я увидел на его пальце наколку: перстень со светлой диагональной полосой на синем фоне, что читалось как «Дорога через зону»), этот паренёк далеко пойдёт и

в «светлом» будущем может рассчитывать на «коронацию» и на место «смотрящего» в уголовной иерархии.

То, о чём я спросил Пижона, меня, собственно, уже не интересовало, так, для пушнего ожесточения:

— Твоя вина есть?

— Уже нет. Верь мне. А её и не было: чужим словом привязали.

— А шансы на разговор?

— Поздно. Исполнять пришли.

— Ну, тогда повоюем.

Мы договорились так: я широко открываю дверь, Пижон выбегает первым и с лёту, как кием, наносит удар влево-вверх, где должен находится Младшенький; следом я бросаюсь на Качка. Его нужно вырубить с первого удара, так как оставался Тёртый. А там — резня покажет!

Всё так и получилось. Почти. Мне с первого удара удалось оглушить неповоротливого Качка. Он стал заваливаться в угол, одной рукой прикрывая голову. Другой же он внезапно крепко ухватил меня за ворот и притянул к себе, как пуховую подушку. Я полетел на бандита.

Пижону повезло меньше. Младшенький, который стоял там, где и предполагалось, отклонился при выпаде Пижона, а рукой чуть отвёл биту. Сам же полоснул Пижона по правой руке ножом. Пижон не ожидал, на долю секунды уставился на рану и получил второй удар — колющий тычок лезвием в левое плечо. Он успел чуть податься назад, с круга ухнул битой и попал по руке с ножом — оружие загремело на металле ступеней. Следом второй удар биты со свистом, шмякнув, впился в бедро Младшенького. Тот охнул и рухнул, как подкошенный.

Мой противник всё никак не хотел расставаться с сознанием. Притягивая меня к себе, лишал возможности крепкого удара. Без раздумий я утопил большой палец левой руки в его глазнице — под подушечкой что-то упруго перекатывалось, пока, как мне показалось, я не достал до затылка. Я не расслышал, как он заорал, только почувствовал свободу — встал на колено и, как кавалерист шашку, опустил дубинку на голову бандита. И всё это время не забывал о Тёртом — уж слишком аппетитной для него была моя спина. Я оглянулся — он был уже возле меня и занёс руку с обоюдоострым ножом. Пытаясь увернуться и одновременно использовать движение тела для удара, я развернул корпус и выкинул вперёд руку с дубинкой. Удар пришёлся по уху — хрясь! Слетел по ступеням... Однако чуть раньше мой бок ожгло с неприятным скрипом. Тут пространство подъезда взорвал истошный, нечеловеческий крик:

— Порежу на мясо, суки!

Окровавленный Пижон, вихрастый, с горящими расширенными глазами, ещё более заострившемся носом, и вправду был похож на вышедшего из ада. В его руке блестел нож Младшенького. Как бы я хотел остановить его сейчас или оказаться на его месте! Но только увидел,

как он раз за разом, неумело — с длинным махом, но чертовски сильно всаживает железо в тело Тёртого. Наконец бандит упал и захрипел.

Младшенький сидел на ступени и вздрагивал при каждом ударе, смотрел, потрясённый, темнея лицом. Потом закрыл его руками, словно отёр чувства, и потерянно-безучастно уставился в пол, где в лужице крови лежал леденец на палочке.

Однако то, что творилось, происходило как бы не наяву, а во сне. Фигуры — тёмные, пространство — меняется в размерах и формах. Что-то вроде бы узнаётся (например, ажурная чугунная лестница, некоторые лица и голоса), а что-то кажется увиденным впервые (и услышанным: не мой голос звучит из меня, утробный, сдавленный, в то же время ископаемо-трубный, как рёв исполинского динозавра, подслащённый прозрачным эхом детского дисканта) — потолок был и вдруг будто бы не стало его — ночное пронзительное небо, на вечность пронизанное звёздами, внезапно сменилось сомкнувшимися над головой мутно-зелёными водами. Я что-то кричал. Кричал, всюду раздувая меха лёгких. Но не слышал себя — только мысль действия, мысль желания сопровождала словесный порыв громко, осязаемо, с вязкой тяжестью на языке: я схватил за грудки Младшенького, подтянул к себе, встряхнул, как ветку яблони, и прокричал в лицо:

— Я ответил?!

Он промолчал.

— Сука, я ответил?!

Мой голос был похож на голос Пижона. И вот я вижу со стороны, как не я, а он, Пижон, стоит и трясёт молодого урку:

— Не молчи, падла! Я спрашиваю, я ответил?!

— Ответил... — глухо бубнит Младшенький и изо всех сил старается смотреть в глаза Пижону, хотя голова его и глаза в этот момент будто бы жили в разлуке.

— Так вот... Если с ним что-нибудь случится... Ты слышишь меня?! Если с ним (он тычет в меня пальцем, трясущимся, словно пляшущая тень голоса), не дай Бог, *с ним* что-нибудь случится! Тебе отвечать до скончания века — не ответить...

Пижон недобро качал головой, а взгляд его накатывался многотонным асфальтовым катком, из-под барабана которого во все стороны плескала веером вода — так мне и видится, как Пижон нескончаемо, будто привязанный струёй к стенам и полу, поливает из шланга опустевший подъезд.

То ли мне стало лучше, то ли хуже — я почувствовал какое-то покалывание в пальцах, а перед взором вдруг потекла тонкая стена воды. И понял, что теряю равновесие. Я присел, кажется, на ногу Качка, не переставая держаться за горячий бок. В мозгу сквозь шум прорвалась какая-то мягкая кельтская мелодия, забавно приправленная русскими дудками. Пижон подбежал ко мне, упал на колени и горячечно задыхал мне в лицо:

— Не умирай, только не умирай, слышишь?! Ну, пожалуйста!

Он плакал. Тряс меня. И слюнявил моё лицо быстрыми неуклюжими поцелуями. Потом вскочил на ноги, приговаривая: «Это я во всём виноват. Я, я... я...».

— Не суетись, — прохрипел я, собравшись с силами. — Там, в прихожке под зеркалом — коньяк. На посошок приготовили. Неси...

— А-а! Ага! Несу уже... — он так обрадовался, будто бросился за живой сказочной водой или эликсиром вечной жизни.

Тем временем Младшенький стал выводить своих — Тёртый оказался несказанно живучим: держась одной рукой за живот, другой обняв Младшенького, «зек» покидал «поле боя» на своих ногах (хотя Пижон потом клялся и божился, что у него в руках и в помине «железа» не было, что мне привиделось. А я? Я... Я ему верю, как себе.). Завозил-ся подо мной, засопел и Качок. Я сполз с него и прислонился к стене. А бандит, повернувшись на живот, на корячках пополз к лестнице.

Пижон нашёл коньяк, но никак не мог разыскать стакан. «Ну, где же, где же он...» — слышался его нервный шёпот. Затем раздался радостный возглас. Руки Пижона дрожали — в приоткрытую дверь было слышно, как звенит стекло о стекло. Наливая коньяк в стакан, он всё шептал: «Прости и не умирай. Я не смогу без тебя». А когда вышел на площадку, вдруг заревел в голос: «Я, может быть, всю жизнь тебя искал! Ты мне... ты нам нужен... А ты! Ты...».

Я выпил и последнее, что увидел, как по лестнице поднимается *она*...

* * *

Так получилось, что я не умер: однажды умершего не постигнет дважды та же участь (простите, пафос — лучшая одежда для цинизма и иронии). Рана в боку оказалась глубокой, но внутренностей не зацепило. От больницы я отказался — я *знаю*, как лечить такие раны. *Она* тоже *знала*.

Машина так и не пришла: по звонку из автохозяйства мы узнали, что «застучал двигатель». *Она* видела, как «гости» с трудом загрузились в чёрную мятую «иномарку» и отчалили со двора, о чём и рассказала Пижону, который полоскал из шланга подъезд.

Она была бледна, и я понимал, как *она* переживает, беспокоится за нас. За наше общее будущее, которое только стало обрисовываться в счастливых и спокойных очертаниях.

Не думать о происшедшем было трудно — лезла в голову всякая чушь и страхи: дело подсудное. А если всплывёт, если не признают самообороной, я решил: возьму всё на себя. И где-то, словно взволнованный воздух над вспаханной землёй, теплилась надежда: может, и вправду не было никакого ножа? Ведь Пижон дрался битой! Видение из прошлого? Нет! Я придумал в своём помутнённом увядающем сознании жестокий смертельный конец этой пляски ненависти! Ненависти к своей юности, к не моей жизни; ненависть, которая вспыхнула

из-за того, что эта сраная не моя жизнь никак не хотела отпускать меня, более того, крысино жаждала уничтожить зачатки нового первого счастья. Это я. Я бил её ножом, я грыз зубами и душил... Теперь она больше не существует, даже под сердцем, даже в тёмных закоулках памяти, потому что не существует и памяти о ней.

А *она*? *Она*... Хотя малая радость проступила в её глазах — хорошо, что живы остались. Я чувствовал рядом *её* тепло, мне было хорошо и ни о чём не хотелось думать. Абсолютно ни о чём.

Мы с Пижоном ходили, перевязанные бинтами, и подсмеивались друг над другом. Его раны оказались ерундовыми и почти не беспокоили.

— Ты тоже трепанг, — сказал я. — Голотурия. Из нашенских...

Пижон посмотрел на меня, как на сумасшедшего, и зашептал:

— Да ты не переживай так... Всё обойдётся... Всё уже позади, всё хорошо! Слышь?

Я рассмеялся. Но не стал ничего объяснять.

Пижон как-то разом возмужал, приосанился: он, как мог, скрывал свою гордость, свою залуженную победную гордость...

* * *

Я знал: теперь с ней церемониться не будут. Уничтожат. Теперь она для *них* — только помеха. Щ-щас!

Когда я подъехал, грузовик уже стоял возле забора. Тут же следом подружили автокран и бригада рабочих на двух машинах. Они высыпали из «будки», потянулись за сигаретами. Главный из них, определив «главного» во мне, вразвалочку тронулся в мою сторону.

— Что будем делать, начальник?

— А вот... — я указал рукой на Арку.

— Скобу выковыривать? — сплюнул он жёванный огрызок спички.

— Только аккуратно. Очень бережно, понятно? Или расчёта не будет!

— Обижаешь, начальник! Всё будет чики-чики. Доставим по адресочку, запылится не успеет! — Он тут же забыл обо мне. — Давай, народ, два отбойных молотка. Троса готовь. Вань, ну, чё сидим?! И болгарку, на всякий случай. Это за тобой, Степаныч. Изюмцев. Изюмцев Толя! Окошечко опусти, когда с тобой без пяти минут прораб разговаривает. Ржут, ети, кони... Толя, кран разворачивай вот суда. Не сейчас, потом. А ты грузовик задком суда подгонишь. Лопаты тащи, кирки, по носу мороз!

Он ходил, показывал каждому своё место. Руки его, необыкновенно живые, двигались как бы сами по себе, очень наглядно и толково. И зашумело, загремело вокруг. Как реквием оркестра, который заслужила *не моя* жизнь. Какова жизнь, таков оркестр, такова и музыка. Но мне было весело. Так весело, будто впереди лежала новая, долгая-долгая жизнь, светлая, как в детстве, настоящая, как *истина*, тёплая, как доверчивая кошка, сочная, как яблоко, прозрачная, как отсутствие мыслей, как небо... в окружении тех, с кем должна была проживаться.

Арку установили не с передней стороны участка, как следовало бы ожидать, а на «задах». Причём «лицом» внутрь. Даже если учесть, что орнамент раньше был с обеих сторон одинаковый, а сейчас она и вовсе была голенькая, без лепнины, я чётко знал, где у неё *вход*, где *выход* — мне предстояло *возвращение*.

Деревенский умелец тщедушный Мишка Ноздрёв и работавший у кого-то мастеровой турок за несколько дней по картине и двум фотографиям один-в-один восстановили орнамент. Арку выкрасили розовым колером, а выступающие фрагменты декора забелили снежной свежестью. Нет, за время своей жизни ей приходилось бывать и голубой, и жёлто-коричневой, салатовой и даже серой. Но *в моей* жизни она была розовой с белым.

Мы все вели себя странно: занимаясь обычными делами — кто стряпней, кто по дереву мастерил, кто с журналами в тени сада валялся или бряцал на гитаре — нет-нет, да и бежали в огород, глянуть на свою красавицу, будто она могла улететь, рассыпаться или быть выкраденной лихоимцами. А мне — так вообще просто зуделось подойти, приклонить ладонь или щёку к её тёплому, чуть шершавому боку, после чего и работалось-то веселей.

Но, если честно, наша Арка, установленная «во саду ли, в огороде», вызвала в деревне настоящий ажиотаж. К нам потянулись «паломники» из тех, с кем мы успели познакомиться, или тех, кто хотел бы что-то у нас узнать, спросить муки или молоток, например. Об истинной цели визита можно было догадаться по тому, как вытягивали гости шеи, проглядывали ищуще сад. Захаживали и такие, кто лупил вопросом не в бровь, а в глаз, мол, «зачем это?» Вторая часть деревенских паслась у соседей по обеим сторонам от нашего участка, экскурсии у детворы проходили и того откровеннее: тут и смех, и перст указующий висящих гроздьями на заборе. Пижон нервничал, иногда дерзил, но потом и он стал лишь усмехаться на атаки воинствующего любопытства или такие легенды завирал, что хоть сам языком цокай...

Очень уж моя красавица приглянулась местному батюшке. Отец Симеон, видный осанистый человек, внешне более похожий на породистого купца (взгляд лишь, пожалуй, говорил о готовности более отдать, чем взять, а если и взять, то как бы тебя вместе с даром, да на крыло!), весьма хозяйственный и, более того, предприимчивый, приходил ко мне дважды и рассудительно убеждал меня отдать ему Арку, потому как он сейчас уже учиняет замену церковной изгороди и моё сооружение оказалось бы как нельзя кстати, и по его образцу изготовили бы недостающие... Мол, крестами украсить, а в ниши — иконки: лепота... Ну, что ж с ним поделаешь?.. Пусть забирает. Хоть на кирпичи!

Кому-кому, а уж Серому деревенские просторы понравились больше всех. Я обновил и чуть перестроил конюшню, часто выезжал с ним

на речку, в луга на окраине леса. Конь принял Пижона сразу: не просто подпустил к себе, а помогал ему учиться сидеть и ездить, как мог.

Как-то вечером я убирался в конюшне. Вошёл Пижон, уже переодетый в рабочее — с утра он уезжал в город, чтобы узнать, сможет ли он ещё поступить в какой-либо техникум и что для этого необходимо. За его плечами возвышался мешок сухих опилок — свежая постель для Серого.

— Привет, — он сбросил мешок и поставил его в угол.

— Привет, вернулся? Что узнал? — я высвободил вилы из-под огромного навиляника сена, водворённого в кормушку.

— Есть кое-где недоборы... Надо тебе съездить, переговорить с начальством. Я записал адреса.

— Съездим... — ответил я и сказал: — Заноси.

Пижон вновь взял мешок и пронёс в стойло. Серый приветливо боднул его головой, на радостях и не думая посторониться.

— Ну, здорово, здорово, Сергун... Ща, погоди, будет тебе, дай постелю... — миролюбиво и деловито проворчал Пижон и, повернувшись ко мне, заинтересованно спросил: — А не знаешь, где учат лошадей разводить?

— Ого... Конезавод?! Отличная идея. Как мне это в голову не приходило? Надо подумать, надо подумать...

Я растерялся, но воодушевление быстро охватило меня. Мысль разводить лошадей была такой неожиданной и такой естественной, что сбила с толку. Я заметил, что застыл, предаваясь в бездельи праздному созерцанию навозной кучки.

Он расправился с опилками, достал из кармана кусочек сахара и угостил им коня. И уже собрался уходить, когда я окликнул его: что-то меня насторожило. Мне показалось, что Пижон зажат, слишком молчалив и погружён в себя.

— Надо бы овёс замочить. На завтра, — сказал я.

— Воды принести? — спросил он.

Я кивнул и отправился за зерном. Пижон громыхнув вёдрами, растворился в темноте сада.

После того, как дело было сделано, я, расставляя по местам вилы и вёдра, спросил как бы невзначай:

— Как там, интересно, Маня-Ира...

Пижон пристально посмотрел на меня:

— А ты откуда знаешь, что я заезжал к ней?.. — Тут он в сердцах махнул рукой и тяжело выдохнул. Затем сдвинул брови и, выдержав небольшую паузу, тихо заговорил:

— Я рад, что ты спросил. Только ничего хорошего я тебе не скажу...

— Всё так же пьёт? — осторожно поинтересовался я.

— Нет, больше не пьёт.

Эта новость могла бы обрадовать, если бы не тон, с которым её выложил Пижон. Я насторожился, а он продолжал:

— Маня-Ира... Иришка умерла. Открыла газовые колонки и легла тут же, у плиты, спать...

Известие ошеломило. Да, Маня-Ира не была для нас (для меня!) другом или близкой знакомой, с которыми обычно длительное время или события связывают нас, наполняя отношения совместными переживаниями и эмоциями. Даже для Пижона. Я не знаю, встречались ли они ещё, кроме тех двух раз, но, судя по тому, что произошло с нами за последние недели, увидеться им не пришлось. Однако почему-то груз сказанного мрачно лёг на сердце и предательски ослабил ноги. А в сознании вновь возникло чувство вины, напрягающее и перекрывающее воздух. Весь дальнейший разговор я знал наперёд, а во всём, что мы друг другу скажем и ответим, будем правы оба. И эта безыстинность или истина, просто подтверждающая сложность и неоднозначность жизни, давила усталостью.

— Ого... Да... Что тут скажешь... — тихо проговорил я, не успевая подобрать слов. — Видно, и впрямь ей жизнь та обрыдла. Всё мечтала вырваться... Вот и вырвалась...

Я говорил медленно, делая между фразами значительные перерывы. Но Пижон молчал. И я понимал, почему. Тогда я спросил прямо:

— Ты себя винишь в её смерти?

Он промолчал и на этот раз. Только опустил голову и смотрел куда-то сквозь пол, будто именно там и были ответы.

— Тебя самого надо было тогда вытаскивать! Что ты мог сделать? И должен ли был?

Мои вопросы впустую сотрясали воздух, Пижон не отвечал. Лишь Серый встревоженно поводил острым ухом. И снова заговорил я:

— На планете миллионы людей, которым нужна помощь и поддержка. Пойми, всем не поможешь!

На этот раз он отозвался и поднял голову:

— Пришли не все. Пришла одна она. И попросила помочь. А мы... А я...

— А ты сам нуждался в этой помощи. И *наша*... А потом и — я. У нас у всех была куча проблем. Таких же настоящих! И, если помнишь, которые так же могли стоять кому-то из нас жизни...

— Да не мучайся ты так! — вдруг хмуро и тихо сказал он. — Ты, похоже, не меня, а себя убеждаешь... Я всё сам понимаю. Просто на душе ...погано. От безысходности. И жалко. Она такая светлая и наивная была, как будто ей не двадцать пять, а семнадцать... Я, когда к ней забежал, у неё дома всё было вымыто и прибрано, так чистенько и уютно... И если бы не въевшийся запах курева... И сама она: волосы вымыты, расчёсаны, маечка и джинсы свежие...

Он замолчал тяжело, отвернулся.

Когда мы вошли в дом, *она* принялась накрывать на стол.

— Вы чего такие угрюмые? — спросила, улыбаясь и гремя тарелками. — Не поделили чего?

Мы как-то отшутились, хотя балагурить особо не хотелось. Я достал из холодильника бутылку водки и поставил на стол. Вполголоса спросил Пижона:

— Помянем?

Он несколько озадачился, а затем решительно отверг предложение:

— Этим? Не-е... Думаю, ей это не понравится...

Я тут же согласился и удивился, как не додумался сам — предложил... как насмешку над смертью Мани-Иры.

Пижон же вдруг замаялся и негромко проговорил:

— Давай лучше съездим её похороним. Она одна жила. Я хотел с тобой об этом поговорить, да не знал, как сказать и как ты воспримешь...

— Замётано, — сказал я и перевёл тему разговора: — Что, родная, долго мужиков будешь голодом морить?

Всё это время *она* усердно делала вид, что не слушает нашего разговора, и не вмешивалась. Однако по напряжённой спине было видно — ловит тревожные волны настороженно и чутко. И это было не праздное бабское любопытство: мы все старались оберегать друг друга от случайностей, потому что всё ещё боялись за наше настоящее, всё ещё никак до конца не могли поверить, что мы все вместе живём для всех новой жизнью, будто что-то могло её разрушить. И, когда *она* убедилась, что ничто никому не угрожает, обернулась с тёплой улыбкой и поставила на стол фаянсовую супницу.

— Ну-ка, работнички... Подавай тарелки!..

Она приоткрыла крышку — супница, как курительная трубка великана или кратер планеты лилипутов, пыхнула дымными клубами ароматного пара. И мы с Пижоном огласили дом радостным возгласом:

— Рассольник!

Мы молча съели по тарелке и потянулись за добавкой. Тут и языки развязались. Пижон вдруг вновь вспомнил про моего деда.

Бабушка мало рассказывала о нём. Главное, в чём повезло деду, бывшему офицеру царской армии, — умудрился погибнуть в первые дни войны в бою, а не в застенках НКВД. Его историю, спасибо бабушке, она не приукрасила: дед был отважным рубакой, страстным игроком, человеком чести и долга. И даже — дуэлянтом (из-за неё дрался!). Это в те времена, когда сатисфакция уже слыла экзотикой и легендой.

Я рассказал ему всё, что помнил из бабушкиных историй. Пижон был восхищён и выглядел так, словно говорилось о нём самом.

* * *

Маню-Иру похоронили быстро и тихо. Тело из морга домой не повезли — сразу на кладбище. И прощавшихся было только двое: Пижон да я.

Постояли у гроба, подумали каждый о своём, пожелали ей, чего положено желать в таком случае и — камень с души.

Но поминки всё же сделали. Кого приглашать — не знали. Привезли пироги из столовой, *она* наварила картошки с гуляшом, щи да компот. Не забыла и про кутью и мёд под блины. Позвали соседей да старушек, которые сидели на лавке возле подъезда. Однако вскоре и та самая публика из рюмочной подтянулась — нюх, что ли...

Они пили и плакали, хвалили Маню-Иру, нас, за то, что собрали поминки — «как без «последней» отпустить её, ведь любила, грешным делом, побаловаться горькой...».

Когда мы только ещё готовили поминки и завешивали зеркала, я увидел в прихожей записку, вставленную в раму.

1. *Прибраться.*
2. *Босоножки в мастерскую.*
3. *Съездить на кладбище.*
4. *Сдать бутылки.*
5. *Купить яйца и пожрать.*
6. *Позвонить в ателье.*

Не знаю, видел ли эту записку Пижон, но я ему её не показал.

Пижон держался ровно, водки не выпил, был сосредоточен на думках своих. И тлела в его глазах грусть светлая, как у ребёнка. Последняя детская грусть. Так мне показалось, потому что встал из-за стола Пижон другим, повзрослевшим после первой серьёзной утраты в его юной жизни.

* * *

День стоял солнечный, тихий. Совсем как летний. В ровной глади реки затаилось голубым безоблачное небо. Одинокая чайка, сделав круг над водой, опустилась неподалёку от нас и теперь суетливо бегала по берегу, недоумённо покрикивая. Мы под приглушённую музыку радио, смолили лодку. Недавно во время рыбалки Пижон наткнулся на неё, затонувшую на мелководье. Вытащили. Бесхозная лодка, к нашей радости, оказалась целёхонькой. Она была длинная, с плоским дном и не очень высокими бортами. Лодку просушили, благо, погода баловала. Лавки внутри и доски выкрасили в светло-голубой цвет, а сегодня взялись на всякий случай прогудронить снаружи днище и борта. Пижон назвал посудину «Доротеей» — пусть летает по тихим волнам. И всё сокрушался, что парус к ней нельзя приладить. «Зато, — возразила *она*, — моторчик будет нашей девочке очень даже к лицу».

Костёр ещё горел, а дело было уже сделано. Время близилось к обеду. Пижон тут же придумал запечь картошки и убежал в погреб.

По радио начались новости, но я не вслушивался. Вообще в последнее время я смотрел на радио, как, например, на пачку сигарет, то есть нечто ограниченное контурами, замкнутое формой. Какое там информационное пространство, связи с миром... А всё, что говорится, о чём рассказывается — так воспринималось, — происходит в этой пластмас-

совой коробочке, как если б вещается о микросхемах и транзисторах. А значит, не имеет для меня ни малейшего значения. Я не обдумывал это, просто отметилась в голове далёким еле различимым эхом.

Но *она* новости, что по радио, что по телевизору, слушала внимательно, не пропускала хотя бы вечерних выпусков. Нет, *она* не бежала к телевизору или радиоприёмнику сломя голову, просто вовремя оказывалась возле него и вроде бы делала обычные дела, гладила, например, или что-то готовила на кухне (там у нас тоже есть телевизор), но было видно, что *она* слушает как-то особенно и воспринимает по-своему. Вот и сейчас, как сидела расслабленной на поваленном дереве, так и не отозвалась телом, лишними движениями, но я знал: слушает.

Я ходил вокруг лодки и всё никак не мог налюбоваться. Новенькие вёсла уже стояли в сарае и мне не терпелось испытать «Доротеей», облазить здешние заводы и лиманы. Моторчик мы, конечно, купим, но на вёслах пройтись, если недалеко, особый «кайф».

Она тихо подошла сзади, обняла меня.

— Мне тоже нравится наша девочка. А ещё мне нравится смотреть, как ты работаешь, что-то мастерить. Красиво. Сразу появляется уверенность. И покой. И вообще, странно, да? В мире черт те что творится: всякие бархатные и апельсиновые революции, перевороты, кровавятся клыки, готовые оттяпать куски земли, словом, дробило и крошево целых народов и государств, а мы творим свою маленькую историю. Греем любовь, устраиваем ма-алюстенную личную и семейную жизнь...

— Ты против? — шутливо нахмурился я.

— Я тебя люблю. — *Она* чмокнула меня в плечо и, в раздумьи, мягко проговорила: — А чем не вселенской трудности задачка? Чем не Божьей милости дело?

Кто бы спорил...

В последнее время все наши разговоры счастливо кружились вокруг бытового устройства да хозяйственных мелочей — деловые обстоятельные обсуждения пересыпались шутками, а каждый бережно и с трепетом ловил в глазах другого огонёк небывалой лёгкости. И мы дорожили этим и радовались, как старатели — первым золотым песчинкам.

Жизнь входила в новое русло и была полна каких-то свежих или давно забытых впечатлений и ощущений. Главные из них — покой и уверенность. «Покой» не от чего-то, а сущностный и необозримый. Он сочился в крови, как неотъемлемая часть её, и растекался в пространстве, покрывая его до самого горизонта. Им же были прозрачно насыщены мысли и дела, с ним засыпали и вставляли — и воздух был сладким, и дело спорилось. Возможно, это всего лишь эйфория начала начал, от долгожданной встречи и перемены мест, от того, что сбываются мечты и оправдываются надежды. Оно и было бы так, если бы не тот факт, что *покой* был предметным. И томился он не в волнительных ожиданиях, а в уверенном знании, когда уже видишь в долгом пути тот самый пово-

рот дороги, за которым стоит венец мечты и скитаний — Дом, а, скорее всего, — видишь уже сам дом. Вот тут, наверное, и сливаются найденные вместе Дом и *внутренний домик* и рожают на душе предметный покой обретения.

Как-то само собой перезнакомились с соседями, сходили в гости и сами успели накрыть стол для новых знакомых. Так что обживались.

Более всех преуспел Пижон: несколько раз подрался с местными парнями — разок из-за своего вида, разок из-за девчонки. Завёл себе подружку. Таня, Танечка, Танюша, краше не было в селе... Хорошая девчушка. Живая, с изюминкой. И умненькая. Как-то я случайно услышал их разговор. Они сидели на лавочке под открытым окном, я что-то читал, валяясь на диване. Молодые то оглашали улицу громким смехом, то переходили на шёпот. И тут Пижон с романтическим выдохом сказал, что для настоящего мужика на свете не существует иных формул, кроме той, что обозначает силу свободного парения. Мне представилось, как он при этом широко повёл рукой и уверенно просверлил взглядом заветные дали. «Эм же квадрат на два, — Таня произнесла каждое слово отдельно, но мягко, — эта формула существует вне зависимости от того, знаем ли мы её или нет. Помнить о ней не мешает хотя бы для того, чтоб не применять». Оба были исключительно красивы в своём юношеском пафосе: сколько силы, надежды и резона! На следующий день, сжигаемый любопытством, я полез в учебники и справочники и нашёл: хм, девчонка была права.

Однажды Пижон пришёл, хитрющий и весёлый, сказал, что теперь кое-кто в галстуках и шляпах на дискотеку в клуб приходит: в моду, значит, вошло, с его лёгкой руки. А на днях подмигнул загадочно и пригласил вечером заглянуть в клуб. Выяснилось: наш Пижон теперь солист в ансамбле и играет на танцах! Стоило посмотреть!

А лично я...

Я никогда не понимал, что *ей* от меня надо. Да и не искал объяснений, зачем *она* мне. Такая. Нет, теперь это не затерянное в ожиданиях мира существо и вовсе не смешной обветренный одуванчик... Это милая, родная до сладкой щемящей тоски женщина. Я её просто люблю. Я как бы уверенно не думаю о ней, потому что знаю: она рядом, она со мной здесь. Но будто каждая мышца самовольно воспроизводит в ткани своей её образ, каждая клеточка помнит её и тогда, когда я на крыше бани меняю ветхие доски обрешётки и когда уезжаю с Серым на речку или в луга, когда вдруг посмотрю на неё и поймаю её тёплый нежный взгляд... Удивительно, не правда ли?

Однако между нами ещё висело нечто тёмное, как если перевести взгляд от светлого окна в серость комнаты, то яркое пятно помешает всмотреться и разглядеть окружающее, но очень быстро это раскалённое пятно помутнеет и станет темнее мглистой пелены помещения. Конечно же, оно и вовсе растает. Со временем. А пока...

А пока мы избегали в разговорах тех тем, которые могли бы нас *обнаружить* в наших знаниях друг о друге и представить, может быть, в новом качестве. Лишь однажды у Арки она рассказала мне свою страшную историю, вернее, лишь предысторию. А ведь было и её продолжение. У меня же в душе просилась на свет другая история, неуёмное счастье первой и долгой любви — самое яркое, ликующее и солнечное из моей чёрной юности.

Она повернула голову в сторону тропинки, по которой убежал Пижон, и посмотрела таким взглядом, будто он ещё шёл по ней и только входил в Арку. И сказала:

— Дай Бог, чтобы у него всё было хорошо. Чтобы он был счастлив...

Я понимал, что её пожелание исходит из нашей юности, из нашего прошлого, будто оно способно, как магическое заклинание, как волшебные слова, изменить, осветлить наше ушедшее время. А может быть, желая счастья ему, искала счастья себе, и понятно, почему. И тогда я сказал, что примерно в его годы я был счастлив как никогда, что храню это счастье. Она так удивлённо посмотрела на меня, что я засмеялся. Она смутилась. Наверное, у костра было жарко и она отодвинулась от пламени. И оказалась ближе ко мне. Я положил голову ей на колени и подумал, что обязательно расскажу ей *эту* историю. Сегодня же вечером расскажу...

...Я юркнул в кусты и побежал. И сделал это, не задумываясь, о последствиях. Да в тот миг мне вдруг так стало наплевать — гори всё синим пламенем! Это было, как глоток воздуха перед смертью в омуте, как родиться! Ощущения не складывались в слова, нет, пронеслись ураганом картинок, словно подсмотренных, но прочувствованных до покалывания в пальцах.

«Не выдаст. Нет, он — не выдаст!» — мелькнуло в голове, прежде чем я бросился бежать. Его глаза в сумерках светились озорством и азартом, а во всём облике сквозила неюношеская взрослость. Казалось, он ничего и никого не боится. Шепнул: «Давай, пацан, ломись! Вижу ведь, намылился».

Он приглянулся мне ещё в поезде. Мы курили сигарету одну на двоих — он оставил мне больше. Вместе перекусили, у кого что было. Стук колёс не нарушал тишины в вагоне, все в большинстве молчали или тихо разговаривали по норам-хатам, в основном, думали о своём. Лишь одна троица вела себя так, словно уезжала на курорт. Показуха и шум раздражали. Они изредка цепляли пацанов, кого-то позвали играть в карты, тот отказался — его оскорбили. И никому не было дела. Нашёл повод и для меня. В общем, я сцепился с ними, а за меня — и тот паренёк, который теперь снова с риском для себя мне помогал... Спасибо, друган. Свидимся ещё!..

Песчанник заглушал топот моих лёгких полуботинок. Целых три-четыре первых минуты, а может, и более, за спиной не было слышно ни

звука. Вдоль полотна растянулся посёлок, видимо, железнодорожников. Деревянные бараки в один и два этажа темнели в окружении жалких палисадников и хозяйственных построек. Чёрную фуфайку в глубоких сумерках не сразу заметишь — значит ещё есть и время, и шанс. А перед глазами стояло её лицо. Красивое. Опоённое юной нежностью.

Когда поезд заходил в тупик, они сидели втроем возле насыпи. Сиротливо. Жалкой стайкой на каких-то узлах или прямо на песке. У ног — рюкзачки и хозяйственная сумка. Чуть дальше за ними, вынырнув из-за деревенских домов, под острым углом к путям проходила асфальтовая дорога, запруженная автотранспортом: легковые и грузовики, вперемежку с мотоциклами и автобусом ждали, когда откроют шлагбаум. Несколько поодаль неуклюже замер на обочине «газон» с железной будкой. Капот у него был поднят, а водитель копошился в двигателе, стоя на бампере, как циркач-дрессировщик на губе невиданного монстра, по поясу утонувший в его пасти в ожидании аплодисментов.

Она подняла голову и вдруг наши взгляды встретились. Девчонка очень смело, внимательно посмотрела на меня и грустно улыбнулась. Так тепло и нежно. А у самой — тоска в глазах неизбывная!.. Поезд медленно полз мимо, а мы всё не отрывали друг от друга взоров. И, когда смотреть было уже неудобно, я прилип к холодному стеклу щекой и увидел, как она поднялась, сделала два коротких шага, но её одёрнули.

И словно кипятка плеснули на сердце: и боль, и обида, и страшная чёрная пропасть будущего с оскалом истошных криков, липкой опасностью за спиной, жарким льдом заточки, прорывающей плоть, безвременное одиночество в собственной, но будто чужой коже, потому что этого никак не могло случиться с тобой... И такое пронзительное желание любить, быть живым, дышать небом, взять тепла и любоваться девчачьим перламутровым лаком для ногтей, как всеми чудесами света, и замазать им копеечку... решку на счастье... Мне безумно, дико захотелось ей сказать (кто ещё ей это может сказать сейчас?): «Будь счастлива!». Так сказать, чтобы почувствовала. Чтоб ей, похожей на озябшего котёнка, стало теплее, а пожелание непременно сбылось. Сию секунду!

...Я бежал, пригнувшись, и сначала не очень быстро. Словно во сне: стараешься быстрее, а ноги, как ватные, еле волочатся. Но, когда передо мной открылся короткий проулок — забор опоясывал лишь один дом, — припустил что есть духу. Ветви садовых деревьев, перемахнувшие через ограду, к осени потеряли почти все листья, поэтому больно хлестали и царапали. Пришлось склонить голову и прикрыть глаза, лишь изредка срисовывая направление быстрым взглядом из-под руки. Сначала я сдерживал дыхание — слишком уж шумно, как казалось, вырывался воздух из лёгких. Однако это мешало бежать и я отдался бегу, вбирая в себя улицу, самый её дальний тёмный конец, и глазами, и частыми порывистыми, но глубокими вдохами.

Не снижая хода, я время от времени прислушивался к звукам позади меня — ничего подозрительного. Напротив, до боли мирно коротко угукнул далёкий паровозный гудок да по громкоговорителю женский голос с эхом сообщил что-то там: «...сортировочная, дайте...».

Круто завернув направо, я едва не вцепился в колонку и вдруг почувствовал нестерпимую жажду. Однако страх и желание гнали меня дальше. Я бросился прочь. И тут же снова надумал хотя бы смочить губы, хватануть из пригоршни студёной воды, оросить прилипающий к небу одубевший язык. Вернулся. Нажал на «плечо» — рычаг поддался, но характерного шума не последовало, лишь затерянная капля, дразня, блёсткой сорвалась к земле. Вновь налёт, уже всем телом — и струя с грохотом ударила в железный жёлоб у основания колонки. Подставил руку, но капли разлетелись в разные стороны от силы напора. Долю секунды я взибал помутившимся взглядом едва ли не на каждую из них так, будто тормозил их полёт, ставил преграду... И, крикнув от досады, кинулся бежать, на ходу облизывая мокрые ладонь и пальцы.

И тут на насыпи у вагонов раздался шум, крики и топот ног. Сердце моё вздрогнуло, ударило в голову, аж кожа на лице похолодела. Я прибавил. Впереди внезапно выросла крупная собака: громкого лая, а ещё хуже — препятствия мне только не хватало! Но псина, тихо заскулив, метнулась под калитку и затаилась в темноте двора.

Улочка была прямая, достаточно широкая. Дома, за редким исключением, стояли лишь с одной стороны, фасадом к железной дороге. Напротив них, ближе к рельсам, среди деревьев прорастали гаражи, сараи, погреба.

Когда-то улочка была засыпана битым кирпичом, но со временем почти вся заплелась грязью. Выпячивали лишь острые углы кирпичных обломков. Они жутко мешались под ногами. За один из таких горбов я запнулся и растянулся в пыли. И тут же болью обожгло колено — другой обломок впился в ногу торчащим сколом.

Я прислушался — шум кружил только возле поезда, поднялся и побежал дальше, чуть припадая на подраненную ногу. Ни с чего пришло решение не жалеть ногу, а как можно сильнее налегать на неё, и вскоре боль спряталась, отступила. Бежал я остервенело. Пока не объявилась погоня, я не хоронился даже светлых мест, освещённых редкими фонарями. А погоня вот-вот должна была захлестнуть улочку. Я чувствовал это спиной и поэтому лихорадочно подыскивал место, куда бы вильнуть.

И вдруг улица сама по себе кончилась. Проезжая часть растворилась слева за домами, а передо мной вырос кустарник, за которым серегла гладь неширокой реки. «Не может быть!» — смятённо пронеслось у меня в голове. Я, хоть убей меня, не помнил, чтобы мы пересекали её. Не помнил этого мостка. И уж тем более не мог представить, что мы так далеко отъехали от того места, где сидели девчонки. «Хрен вам! Не угадали!» — прокричал я в душе, обернулся и показал улице кукиш.

Выбирать путь было некогда. Я на ходу стянул фуфайку и полуботинки (благо модель была модная, на резинках), сбежал по склону, которому буйно обрадовался. И бросился в реку. Сначала вода показалась, как ни странно, тёплой. Но, чем выше поднимался уровень, чем больше проходило времени, тем колючее, тем пронзительнее выстужалось тело. Почти половину реки мне удалось пересечь по груди в воде. Ноги вязли в иле, больно, до рези в ушах, полосовались о бритвенную остроту ракушек. Но плыть с одной рукой было бы медленнее. Я старался делать широкие шаги, застревал, падал в воду с головой и снова устремлялся вперёд. И вдруг дно резко пропало из-под ног — я ушёл под воду и захлебнулся. Как громко звучал мой кашель, потрясая пространство, когда я вынырнул, с каким долгим эхом летел над водной гладью!.. Скрытые пальцы — они виделись мне белым узлом моей силы — чуть ослабли, выпустив один полуботинок. Но горевать?! До того ли?!

Наконец я добрался до берега, поросшего ветлой и ивняком. Плюхнулся от усталости в грязь и никак не мог заставить себя подняться. Захотелось сжаться в комочек, уснуть, а проснуться в своей комнатке, чтобы разбудило тёплое радостное солнце и сытный запах маминых беляшей. И к сердцу просочилась нежность, нежность длиною в детство. Наполненная поцелуями мамы перед сном, какими-то игрушками, подаренными ко дню рождения, ароматом чая с малиной, которым поила меня мама, если я простужался. А за всем этим полупрозрачно проглядывало лицо мамы в кудряшках русых волос — такую причёску она делала на праздники или когда мы ждали гостей.

И тут меня вознесло в воздух топотом множества ног. Первым делом, как мне того ни хотелось, я вновь бросился в реку — уж слишком грязными были моя одежда, лицо, руки. Наскоро и кое-как омывшись, я выскочил на берег. Сначала вспомнилось, что я бос. Потом дошло — полуботинок остался один! Однако я по-прежнему ожесточённо силился его нацепить на скользкую, в глине, ногу. Башмак упрямо не поддавался, а непослушные ступни казались стеклянными, ударясь посильней — расколются на десятки кусочков. Когда в сознании всё-таки отпечатались бестолковость моих действий и потеря так нужного времени, я с нутряным рыком зашвырнул его в воду. Карбаться наверх пришлось, прячась за жидким кустарником.

Вершина берега оказалась почти голой — лишь кое-где торчали бустыли сухой травы. Я осмотрелся. Впереди, насколько хватало взгляда, длинной вереницей располагались склады, а это было намного хуже, потому что здания могли караулить сторожа. Пакгаузы тянулись и слева, и справа, и, обращённые друг к другу входами и эстакадами, образовывали широкую, ярко освещённую, улицу.

Перегораживая эту улицу в самом её начале, с левой стороны нависала над берегом тёмной громадой крытая постройка, имевшая, как выяснилось, лишь три стены (если не считать двухметровой ширины про-

стенок у каждого угла). Оттуда, где чернел широкий проём, вытекала блестящая нитка рельсов и устремлялась вдоль складских помещений.

Я скрылся в темноте проёма и бегло огляделся. Затем кинулся изучать полы — пусто! Те, что попадались, были растерзаны безжалостными каблуками! Ноги заледенели и ныли до беспамятства. Поочерёдно, как цапля, поднимая их, я грел ступни руками или прислонял подошву к икре другой ноги. Так и скакал. С мокрых брюк, которые облепили выстужающим холодом, всё ещё стекала вода. Меня трясло, как в лихорадке. Я клацал зубами и вприпрыжку осматривал вёдра, верстаки. Увидел лист жести, валявшийся на полу, отогнул и чуть не вскрикнул от радости — в темноте белел довольно большой окуроч. Сигарета оказалась из «народных», без фильтра. «Только бы не замочились спички», — испуганно мелькнуло в голове. На счастье, спички, как любимый фольклорный инструмент, весело треща, отбарабанили в коробке. Я облюбовал диванчик, прикреплённый к стене и, видимо, снятый в своё время из купе плацкартного вагона. Уселся с ногами, соединив ступни. И чинно прикурил. Дым, горячий и резкий, вызвал приступ кашля. Я знал: надо откашляться и выждать малость. Следующая затяжка пошла мягче. Голова поплыла, конечности знакомо немели, будто таяли. Я прятал, на всякий случай, малиновый огонёк ладонью, заодно грея руки. И забывался. И где-то там, под затылком, всплывали смешные картинки, как мальчуган в клетчатых штанах следит за соседом на лестнице подъезда и подбирает дымящийся окуроч, который секунду назад, как сбитый вражеский самолёт, рухнул с неба и дымным всплеском обнаружил место своего крушения...

Улицу в школах и парторганизациях *одушевляли* не зря. Говорили, укоряя: их воспитала *Улица*. И вкладывали в это своё бессилие и подгузнический страх. Приговор жидких. У меня не было подгузников. Я просто ссался в трусы. Но быстро бросил это, в общем-то, мирное дело. Только из-за любви к комфорту. А улицу никак не мог представить в роли злобной маниакальной тётки, которая, по *их* словам, соблазняла нас, развращала, слабых и подверженных дурному влиянию, взмахом веера интересов превращая в падших... Какая чушь! Как сладко мне всякий раз в *это* не верилось! Я-то знал, какая она *истинно*! И, к слову — у каждого была *своя* улица. И своя единственная *арка*. Но кто это может понять?! Именно на улице я увидел парня, который в отважно заломленной шапке хрестоматийно помог дедку подняться со льда. Именно на улице отыскивались настоящие клады из украшений и монет, если рабочие выгребали канализацию. Я помню, как, ковыряясь в гнилой смердящей гуще, я вдруг обнаружил сначала цепочку, а потом серёжку и кольцо с красным камушком! Каково же было моё удивление, когда мама, для которой я всё это принёс с гордостью добытчика, отвергла, посоветовав сплавить «чужое» богатство туда, откуда принёс... Именно там, на улице, мы играли в «замри» или «мой солдат» — ты подчиня-

ешься любому, самому нелепому приказу, но очень чётко знаешь, что может последовать самый страшный и позорный: снимут твои трусы или прикажут снять прилюдно... и ты *сам*, несмотря на правила, выбираешь своё решение — подчиниться или пойти против правил. Да, если ты не удовлетворишь при этом «интересов всех заинтересованных лиц» — поворчат, повозникают для приличия (могут, конечно, и отлупить, если позволишь) и отступят милосердно — завтра снова играть! Когда двое старшеньких, растянув за крылья голубя, протягивают тебе прут и предлагают отстегать птицу... А ты в растерянности смотришь, как бьётся она в их руках.. А они говорят — это просто; ты — самый, ты — сильный, ты — отважный и смелый... А ты, малёк, хочешь быть таким, но что-то тебя смущает... Как разобраться? Ты хватаешь прут и наотмашь сечёшь незащитного голубя. И будто кто-то так же пронзительно хлестко бьёт тебя по мозгам — ты теряешь формы, как персонаж кукольного театра, висающий на нитях, и понимаешь — тебя накололи! Вынудили! Сделали как бы за тебя, но тебе же и отвечать. Тебе! Перед самим собой. Перед птицей. Ты понимаешь это сердцем и по тому, как они хохочут. И вдруг чувствуешь, что этот голубь бьётся в твоём сердце, пленённый, раненный. И ты, внезапно понимая не столько разумом, сколько чутьём, что тебя надули, а птице — больно, распарываешь той самой веткой-обидой и адской ненавистью воздух, и хлещешь по лицу хотя бы одного, ведь надо успеть убежать!.. И там же, на улице, в мои четыре прожитых года взросляки продали мне за песню первую затяжку папиросы — как безудержно и сказочно густо валил дым из их ртов... И я спел! И чуть не умер, когда та самая прелесть оказалась едким удушающим смрадом, прущим из всех щелей... Школа открытому дерзкому обману улицы противопоставляла омораленную ложь поджатого хвоста «официальных» взрослых, частенько — трусливых, подлых, циничных и наглых (за некоторым светлым счастливым исключением). То есть, очень похожих на Улицу. Только напрочь лишённых её правил и законов, свободы, умной стихийности и честности. Обман на улице всегда был честным: он никогда не кутался в ореол святости, он подразумевался, даже если был замаскирован. Он мог быть обидным и злым. Но почти всегда — отмщённым или хотя бы объяснимым. Но как отомстить всевластию деспота-учителя?! Как восстановить справедливость, если тебя не слышат? Как объяснить, если тебя обвинили в том, в чём ты не виноват, а слушать — некому? И признать ошибку, соответственно — некому. Именно на улице я познал горечь несправедливости и тут же — счастье возмездия за неё: пнул ублюдка, которого суетливой кучей колотила вся улица за то, что он пырнул ножом женщину, потому что та не дала ему на стакан, и который помял бурные всходы овса, которые я посадил на маленьком участке земли — надо же кормить лошадь, которую «я когда-нибудь очень скоро куплю». Какая звонкая свобода, сладкая, как дух дуба и тепло асфальта, как карамель ночного

неба, стекающая в рот, если лечь на газон и открыть рот... Улица, которой непонятно почему доставалось, была свободой «классиков», замкнутым кругом «штандера» с безграничным окружающим пространством, бесконечными стрелками на поворотах в беготне казаков-разбойников... Там, на улице, я впервые заметил красивых улыбающихся женщин. Вкусно пахнувших и иногда, иногда безумно притягивающих, о которых поздно ночью вспомнишь и будешь представлять их до дрожи и изнеможения. Главное, загадать желание, проходя через арку... А Улица у нас звалась вовсе не улицей, а Двором...

Вскоре пальцам стало масляно-горячо — от сигареты осталось не более сантиметра. Я вытащил из коробки две спички, сложил пинцетом, зацепил окурки и ещё коротко трижды затянулся. Но, когда уже и по губам вместе с дымом побежал палящий живой огонёк и они покрылись жирной горьковатой смолой, гениальное подобие китайских палочек в подпалинах посередине пришлось выкинуть. Окурочка же осталась ровно на толщину спичек, миллиметра три. Это было щемяще вкусно. Как глоток памяти, глоток прошлой жизни... Забыто.

Теперь я внимательнее разглядел помещение. По углам валялся разного рода металлический хлам, свёрнутые провода, пузатились бочки. К стенам прилипли почерневшие деревянные верстаки с наковальнями и тисками. Что-то вроде летней ремонтной мастерской нерадивого хозяина. Где-то до середины цеха доходили рельсы и упирались в полосатый барьер. Но главное — а её я увидел сразу, просто обдумывал, насколько удачна находка в моём случае — на рельсах стояла дрезина. Как ими пользуются, я видел только в кино. Усевшись поудобнее, я взялся за рукоять. Приложил усилие — машина словно прикипела к месту. Мне подумалось, что её нужно будет сначала толкнуть, раскатить, а затем уже... Я прыгнул с дрезины и подкрался к выходу. Выглянул осторожно, осмотрелся, прислушиваясь: звуки погони слышались повсюду, но не близко. Сама же территория, хорошо освещённая, как в кино на производственную тему, выглядела слишком нарядно и вполне мирно.

На левой стене, которая была в полосе света, на гвозде висела старая перепачканная форменная фуражка. Идея мне понравилась до истерики: я будто оживал. И уже в этом бегстве засквозило не только желание сказать тёплые, так безумно нужные слова, но и непременно быть с той девчонкой, быть, как мужчина, быть, как в первый и последний раз, да и просто оголтело оторваться по жизни, отчаянно весело, с куражом и дерзостью взять эту самую жизнь за грудки, встряхнуть, чтоб увидела и покорила от холки до пят! И дышать ею, пить её неспешными глотками, болтать ни о чём, остро чувствуя её близость и биение даже тогда, когда ты один-одинёшенек в бескрайнем поле под бездонным иссиня-чёрным небом. Фуражка оказалась велика и болталась на голове, как крынка на околышке из плетня. Тем не менее, решил на дрезине выбирать именно в ней: мало ли — какой-то рабочий получил задание, а чего только на

железнодорожных станциях ни случается. Мне хотелось верить в силу собственного убеждения. А внутри всё пело: «свободен», сладко щемило от предвкушения встречи. Я почувствовал, что горжусь собой. И вдруг уловил такое о жизни, что никому и знать неведомо! В путь.

Тут обжигающе колко где-то очень близко прозвучали негромкие голоса и шаги. Я нырнул к дивану в дальний тёмный угол. Рядом валялся метровый обрезок увесистой арматуры. Я поднял его и прислонил к стене.

Голоса стали отчётливее. Мужской. И женский. Они надвигались пронзительным светом выпученных фар летящего локомотива — я непроизвольно на мгновение прикрыл глаза. Вскоре послышались и шаги. И вот уже я сопровождаю их взглядом сквозь стену, вдоль которой они проходят. Я не испугался. Не пытался гадать, что делать, если... Просто сидел и ждал.

Наконец в проёме, как на киноэкране, появились две фигуры. Я разглядел их в облаке света прежде, чем они вошли в мастерскую: молодые, улыбающиеся... Девушка почему-то остановилась, но парень, обняв её за талию, увлёк за собой ещё на пару шагов.

— Куда ты меня привёл? — изумилась она. По голосу почувствовалось, что лицо девушки тронула гримаса брезгливости.

— Тут и диван есть... — нараспев ответил парень. — Царские хоромы...

— Я здесь не хочу. Тут грязно!

— Было бы желание... — жеманно промурлыкал парень и попробовал поцеловать девушку в шею.

Она резко отстранила его и высвободилась из объятий.

— Да перестань ты! Тут не только желания..., тут фригидной навеки станешь! Пусти! Меня передёргивает от того, как тут противно. В конце концов, я тебе не шмара подзаборная!

Но тот не собирался отступаться, тянул девушку за рукав, лез целоваться. Внезапно на меня накатила мутная тяжёлая волна, от которой судорогой свело живот. Я отёр ладонями лицо и тихо выдохнул воздух, изгоняя неприятные ощущения. И подумал, если этот жлобина не угомонится — вмешаюсь.

Девушка на какой-то миг сдалась и настороженно-тихо проговорила:

— И вообще, мне кажется, тут кто-то есть...

— Да кому тут лазить в такое время?

Я старался не дышать, но сердце стучало очень громко. Мне удалось выровнять и умерить его пыл, я затаённо ждал.

— А вдруг здесь этот... тот, который сбежал? — она совсем перешла на шёпот.

— Со мной ты можешь никого и ничего не бояться! Не таким носы отшибали! — бравировал парень.

— Герой, тоже мне... Я уже замёрзла.

— А я согрею. Что ж ты так легко оделась?

— Я думала, до клуба — и домой. Мне там рядом. А ты меня вон куда затащил.

На ней было светлое цветастое платье и лёгкая шерстяная кофта, девушка накинула её на плечи, не вдевая руки в рукава. И к тому же — в летних туфельках, из-под которых белели короткие носочки. Она и в самом деле выглядела такой озябшей, что я поёжился. Однако её спутника прохлада осеннего вчера ничуть не беспокоила: чего не ходить нараспашку, если ты в кожаной, подбитой мехом (по-настоящему зимней!) куртке!

Положение, в каком я оказался, начинало меня веселить и забавлять. Пусть невольное, но всё-таки тайное вторжение в частную жизнь, тем более, в такой пикантный момент! О чём я думал, едва сдерживая смех?!

Парень пошёл в решительное наступление: собрал девушку в охапку и стал задираť ей платье, показалась белая полоска трусов...

Видимо, её глаза привыкли к темноте и она меня увидела. Пронзительный крик взрезал пространство и оглушил меня. Сердце моё тут же ответило дробью и затем — растворилось. Прерывая словами истошный вопль, она спряталась за парнем. Тот обернулся, зыря глазами по сторонам. На вид ему было года двадцать два. Сухощавый. В модных брюках «клёш». А вот с причёской пролетел: прямые светлые волосы закрывали уши, на лбу доходили до бровей и были выстрижены дугой, будто на его голове была надета резиновая плавательная шапочка. Вот только лица и глаз я никак не мог рассмотреть.

— Вон он! Мамочки, я боюсь... — прошептала девушка.

Парень двинулся на меня.

Я встал с дивана и шагнул навстречу.

— Ты не должен мне помешать, — тихо, но уверенно сказал я.

Мне не нужен был шум драки. И время моё текло по другому, чем у незваных гостей, руслу. Я надеялся решить дело миром и попытался объясниться, так сказать, по-человечески:

— Друг, иди... идите отсюда... мне нужно, понимаешь...

Но парень не хотел ничего понимать. Он был уверен в себе, а уж какие мысли крутились в его голове по моему поводу...

— А-а, беглый... Его в посёлке за речкой ищут, с ног сбились, а он тут, в промзоне куркуется! — Вдруг он вспыхнул, как сухая солома. — Какой ты, на хрен, мне друг?! Я таких, как ты, падла, без почек оставлял! Ты, урка, у меня, кровью ссать будешь...

Я не слышал его угроз и они ничуть не задевали моего мальчишеского самолюбия: не до того. Последняя попытка.

— Ты же не «мусор»...

И тут меня осенило: патлатый, в клешах... как полухипарь, в заводском-то районе, да такой борзый... Почему-то догадка зацепила меня за живое.

— А-а... Ты — комсюк! Стукачок, гнилуха...

Комса, как их называли дворовые пацаны, — что-то вроде комсомольских отрядов помощи милиции. Этакое «народное ополчение» из молодёжи при участковых милиционерах. Туда редко попадали по убеждениям, в основном — кто из-за карьеры, кто — чтобы получить защиту от зла, и власть, чтобы мстить, мстить, мстить, творя зло отнюдь не меньшее... А лидеры их, отличавшиеся от хулиганов только внешне: одеждой, причёсками, — по сути вели себя с окружающими так же нагло, развязно, и дела зачастую творили самые что ни на есть зековские. Больше всего и без разбору от них доставалось малолеткам. По городу ходили слухи, что комсюки насмерть забили на танцах в парке «Родина» одного девятиклассника, нормального мальчишку, спокойного и вполне мирного. Самые активные из комсы чаще всего в дальнейшем поступали на службу в милицию, потому что, с одной стороны, так насолили кому-то очень злопамятному, что только форма и могла спасти от ножа возмездия; с другой — вкус защищённой силы, вкус вечной правоты. Кому что по нраву... Комсу не любили ни хулиганы, что вполне естественно, ни обычные ребята, и понятно, за что.

— Дурак ты, — бросил я, — я же сказал: к девушке. Мирно тебя просил, мирно-о! Я же говорил: мне надо... Тебе бы этой проволочкой не руки-ноги, а горло укутать, урод... Живи, сучий хвост...

Мне хотелось петь во всё горло и смеяться. Встретить по пути улыбающихся людей и шутить, балагурить и подзадоривать их, поделиться с ними своей радостью и счастьем. Я и впрямь принялся насвистывать весёлую мелодию, подмигнул забавному (хоть и пытался он дуться!) черепу с перекрещенными молниями на трансформаторной будке — поехали, родная, ай понеслись-поехали!

— Комсюк, комсюк... Кранты твои, вот кто я для тебя!

— Коля, пойдём! Пусть себе...

Услышав голос девушки, я без особенной надежды попытался достучаться до её сердца, чтобы она хоть как-то повлияла на воинственного друга:

— Тебе к девушке, — с презрением передразнил он и снова взорвался, разжигая себя: — В жопу тебя палить, а не к девушке!

Я вынудил его. Он бросился на меня. Я успел схватить двумя руками арматуру и с криком: «Иди сюда, комса», — сплеча вписал ему железом под рёбра. Он охнул и рухнул на пол, корчась и извиваясь от боли. Девушка завизжала, бросилась из цеха на улицу с криком: «Милиция! убивают!».

Ага, сейчас. Ни тёпленького, ни холодненького меня им не взять, пока я не скажу той девчонке: «Милая, будь счастлива...». И тут перед глазами возник «газон» с железной будкой и задранным капотом!.. А вдруг, мелькнуло в голове, ремонт машины уже закончили, и *её там нет?! Увезли?!*

Но предательская мысль саднила, потрошила нутро и выпивала силу из мышц, делая их ватными: а если они всё-таки уехали? Тогда что? Зачем? Как без неё теперь? Ради чего было?.. И мне казалось: не я сам, а кто-то неведомый то ли извне, то ли изнутри хлестал меня по щекам, отрезвляя и приводя в чувство. При этом мой позвоночник вдруг пророснул крепким стволом с цепкими корнями и силой ветвей нерушимого дуба — векового, мощного, спокойного и уверенного в себе: врѣшь, не возьмѣшь! Не уедут, будут ждать...

В раздумьях я не заметил, как череда складов и пакгаузов осталась позади. Впереди открылась поблескивающая в ночи паутина железнодорожных путей. Они сходились и расходились, а справа их было бесчисленное множество! И главное — это была освещѣнная открытая местность, абсолютно голая, обозримая отовсюду для всех и каждого!..

Я судорожно сжал пальцы на рукояти рычага, но чуть не вылетел из дрезины: она мощно шла вперѣд. Вдруг меня резануло: ветка, по которой неслась моя дрезина, сворачивала вправо! Именно там кто-то очень хотел бы меня увидеть...

В мгновение ока я вывалился влево — мне казалось, что я успею...

Шум стоял невообразимый: всё звенело, гудело, вибрировало. И больно исходило изнутри. Я вдруг увидел себя откуда-то сверху: лежу, нелепо развалившись, на гранитном щебне, пробитая голова упирается в рельсы, через которые свесились руки, а рядом — тѣмная лепѣшка крови. То, что это кровь, додумалось постепенно и воспринялось как данность. Это было странно, глупо и неестественно. Однако картинки (чѣткие и ясные неожиданно сменялись покрытыми пылью или проступали сквозь вальсирующие снежинки) напирали как какой-то затылочный взор. При этом моѣ тело подѣргивало и я сблѣвывал себе на щѣку желтоватую с комочками слизи. Одновременно, я не знаю, как увиденное объяснить, я бегал, мучимый желанием пописать. Мочевой пузырь, как и прежде находясь внутри тела, где и положено, собственно говоря, имел размеры неба, что меня обескураживало и пугало. И не было вокруг места, где можно было бы излить натерпевшееся: то люди почему-то пристально вглядывались в меня, то бабушкин цветочный горшок оказывался под рукой, м-м, нехорошо... — я бежал дальше. А когда подходящее место нашлось, на брюках не обнаружилось гульфика! А терпеть уже неумоготу!.. Вдруг под пальцами откуда-то взялись пуговицы — наконец-то! Расстѣгиваю ширинку, достаю хозяйство и писаю. Какое безбрежное облегчение! Полѣтное опустошение и сладкая небыль... И тепло нежное внизу живота до самого бока. И вижу, что стою на вершине Арки. На высшем её пике. Напористая струя, описывая дугу, хлещет на черепаший панцирь. Панцирь плющится, коробится морщинами и слегка бледнеет: теперь это лицо женщины. Женщина измученная, по моим меркам — старая и усталая. Еѣ губы сжаты, как две слипшиеся ржавые швейные иголки, но голос

женщины впечатывается в затылок, оставляя барельеф из мозгов: что, дружок, всё ж таки натворил дел? Неуловимый мститель... Скрывался, прикидывался паинькой — нутро не спрячешь, жизнь не обманешь: вляпался! Да так, что всю школу опозорил! А ещё он — вор. Признайся! Очень громко, обидно до слѣз звучат еѣ слова из сжатых губ. Пронизывающе звучат. Летят сквозь меня невидимыми стрелами, смоченными ядом. Бьют навывлет, оставляя отраву в теле, в каждом органе, в каждой клеточке... Тут я понимаю, что лицо не женское, только голос визгливый, девчачий. Это лицо неприятного человека. А он, не жмурясь, всё продолжает о чём-то спрашивать. Я ему говорю правду, а он спрашивает и спрашивает. А брызги разлетаются от лица, как от камня. Это камень. Шероховатый, жѣлтый. Что он делает в моей руке? Как поместился в неё, такой огромный? Зачем он мне? Я разжимаю пальцы и роняю его. Но он улетает в бездонную пропасть с частью моей руки. Однако внезапно возвращается и с треском бѣт меня по голове, чуть выше лба. Мир вокруг, подѣрнувшись поволокой, плывѣт, переворачивается. Вдруг подбегают две тѣмные фигуры. Эти люди хватают меня под руки, куда-то волокут. Я вырываюсь, кричу: мне надо!.. Ищу глазами лицо той девчонки с полустанка и не нахожу его. И начинаю плакать. Горько, как ребѣнок, не стесняясь слѣз, гримасы, исказившей лицо, западающих рулад голоса: как же так? Как же она без моих слов? Боль и обида такие сильные, что отнимаются ноги. А эти — тянут. Я всё ещё озираюсь, вытягиваю до боли шею. И — вон она! Она. Сначала я увидел тоску в еѣ глазах, как бы саму по себе, как ощущение на расстоянии. Потом — сами глаза, прозрачные, грустные. В них — ожидание и надежда, будто ждут они именно со мною встречи. Слов моих ждут, как спасения. Следом — лицо. Наши взгляды встречаются на секунду и расходятся, блуждающие: опять меня дѣргают за руки, опять тащат. Я набираю полную грудь воздуха, намереваясь окликнуть девчонку, прокричать то, что ей нужно крепче... Но меня опрокидывает неведомая сила. И слѣзы с большей силой текут по лицу, скулы сводит судорога, а во рту становится кисло. Она не услышала. Потому что я так и не произнёс самых важных слов в своей жизни...

Когда веки разлепились, а помутненное сознание, преодолев кровавое пятно боли, очертило для себя окружающее, я понял, что лежу на насыпи из гранитного скола. Пару лет назад я специально ездил к «железке», чтобы набрать гранита для аквариума: большие фигуристые камни — оставить, остальные — раздробить в хлам, в копейку, в булавочное ушко. Красивое дно, настоящее получается.

Как болит голова... Руки, которые перевесились через рельсы, ныли в местах лиловых ушибов. Пальцы почти онемели. Но вот, оказывается, зудят и плечи, ноет бок, колено готово взорваться... Я поднял глаза: меня легонько тряс за рукав и пытался уволочь с насыпи какой-то человек. Это был дедок. Лицо его в темноте было похоже на сушѣную рыбу.

Рельсы под рукой гудели, поигрывая, пульсировали. Дедок указал вдаль рукой и что-то сказал. В его глазах поблёскивала тревога. Мой непослушный взор отправился в указанном направлении и упёрся в тёмную массу, оправленную в три ярких жёлтых пятна. Медленно и тягуче, гораздо медленнее, чем шёл локомотив, до меня доходила опасность положения. Надсадно протаранил пространство гудок тепловоза.

— Давай, внучек, соберись! Близко уже, — тихо сказал дед, вздохнул, перекрестился, крикнул и перевалил меня на спину.

Боль пронзила тело сразу в нескольких местах. Я застонал.

— Потерпи чуток. Приподыми голову-то... И мне подмагни маленько. Сам. Ногами-то... Не на печи разлѣгся...

Он ухватил меня за шиворот и, упираясь ногами в насыпь, принялся оттащить на безопасное расстояние. Дедок сильно пытел и сопел, пуская над моей головой клубы пара. Ядрѣная смесь чеснока и хрена ударила мне в ноздри и вызвала в душе какое-то подобие смешинки. На душе потеплело, а в мышцы лёгкой струйкой потекла сила. Я стал отталкиваться одной ногой (вторая горела огнѣм и не сгибалась), чтобы хоть как-то помочь деду. Лязг железа надвигался вместе с разрастающимся снопом света и вскоре пронёсся мимо, оглушив нас и сдѣрнув с места воздух. Пока состав громыхал рядом, я лежал на спине, поглядывая то на далѣкое небо, то на дедка. Тот отѣрся скомканным носовым платком и молча глядел под ноги, восстанавливал дыхание. Вскоре шум поезда оборвался и стих вдалеке. Я попытался оглядеться.

— Ну! Не сорочь головой-то! Нет вокруг никого, — проворчал дедок.

— А вы — прыткий... — сказал я и, устраиваясь удобнее, коснулся ладонью головы: кровь отпечаталась не очень большим пятном.

— А ты — крепкий... — живо отозвался дедок. — Видел я, как ты рельсу торпедировал. Токмо, видать, подзабыл, кто из вас железный?

Он беззвучно засмеялся, но как-то разом посерьѣзнул, чуть прищурил глаза, посмотрел внимательно. Потом полез в старенькую женскую сумку, у которой замок отлетел ещё несколько лет назад, а кожа на ручках потрескалась и облупилась, и тихо заговорил:

— Что, внучек, так много накуролесил, что под поезд бросаешься? Негоже... Негоже себя жизни решать. Стерпеть надо. Прожить, вынести. Потому как ответ главный найдѣшь в испытании этом. А там — перемелется...

— Это пусть они под нас бросаются, а мы уже посмотрим: давить их или отпустить с конфетой.

— Ух, ты какой... — Дед забыл про сумку и хитро, но без иронии посмотрел на меня.

— Так, что я, дедуль, не от ответа бегу. Я ещё и вопроса-то главного не знаю...

— А вопрос — дело нехитрое. Он всегда чуть позади нас поспешает. Вот, вроде как, и не видим. Мчимся, сломя голову. Так можно и совсем

убежать. Но по тебе сказать, так ты со своим вопросом в ногу шагаешь. Он в тебе будет. И неважно, найдѣшь ли ты слова для него али делом к ответу придѣшь. Мудрёно?

— Мудрено... Да и я не дурак. Кое-что понял. А башка подживѣт — остальное дойдѣт. А как ты узнал, что я ...

— С моѣ поживѣшь — видѣть научишься, даже если зрение ослабнет.

— Ты меня не сдашь, дедуль?

— Пороть-наказывать — дело отцовское. Чтоб впредь неповадно, чтоб не до глупостей было. А нам, дедам, учить прощать надо. Чтоб души ваши не околели, в тепле были... Чтоб глаза на мир теплом глядели.

Говорил, как ворчал по-доброму.

— Я вот от детей иду. Они у меня хорошие. Заботливые. Дочка рюмку налила. Капусты опять же дала. Простокваши банку поллитровую. У меня с неё понос, а всё одно она мне её всурупливает. Две помидорки... Нам, старикам, много ли надо?

Голова моя гудела, соображала туго, я обхватил её руками, но присутствие деда, тембр голоса, его тихий и забавный говорок будто снимали боль.

— Что, болит? Дай-ка погляжу...

Я с опаской чуть склонил голову и почувствовал, как сухие лёгкие пальцы бережно касаются кожи.

— Ну... Кости, кажись, целы. Больше крови напекло. Ранка не очень большая, — раздумье улетучилось из его интонации, он оживился: — Не дрейфь, до свадьбы заживѣт!

— Сегодня свадьба, дедуль.

— Ось-ты... Кто ж из нас прытче — поглядеть... Свадебка, чую, на славу выйдет...

Чудный дед. Как рядом с ним хорошо и спокойно! А уж до чего смешно!.. Я улыбнулся, а мой спаситель, наверно, принял улыбку за гримасу боли. Спohватившись, он со словами «вот дурья башка» снова запустил руки в утробу сумки и вытянул оттуда кочан капусты. Оторвал широченный лист, всучил его мне, вытащил из шлѣвок плаща пояс и приказал лист приложить ко лбу. Я отпрянул в недоумении. Однако дедок властно подтянул меня за ворот.

— Ну-кося, сиди, кобелѣк, не рыпайся, — прогундосил он и примотал лист к голове.

Затем вновь полез в сумку. Шапка-ушанка мешала ему, сдвинулась на глаз — он снял её, положил рядом — обнажились просвечивающие редкие волосы на маленькой голове. И таким показался беззащитным и милым, каким мне в детстве представлялся в воображении домовой, всегда помогающий и обладающий тайной справедливой силой. Покой и уверенность вселял дед, житейскую свободу от собственных тараканов в голове. Но где же то место? Сколько ещё до него идти? Я всма-

тривался вдаль, чувствуя, что восстанавливаюсь. А в воздухе витал приторный запах погони: было слишком тихо, звуки преследования смолкли совсем, только на противоположной стороне, за бесконечными струнами рельсов бегали тёмные фигурки людей. Дедок стукнул легонько меня по руке, протягивая какую-то ветошь.

— Путь-то далёк? — тихо и участливо спросил он.

— Да, казалось, рядом совсем! Ползти, как черепаха. И вроде не долго ехали, а тут... Может, вы подскажете? Где-то тут дорога асфальтовая пути пересекает. Шлагбаум есть, будочка, кажись...

— А-а... Переезд-то! Переезд недалёко уже. Вот энта ветка, — дед указал на ту, по которой только что прошёл состав, — от сортировочной влево уходит. Видишь там лесопосадку? Прямо за ней. С километр ишшо. На-ко, намотай на ногу. Заболеешь, неровен час... Там не мамка, лечить путём не будут. И идти всё легче.

Пока я в растерянности соображал, что мне делать, дед стянул с худенькой шеи шарф. Шарф старый, в заплатках и штопке, но чистый.

— А ентот на другую... И давай, не ерепенся, стилига. Не на танцы! А если и на танцы, так до них тебе ишшо добраться надобно. А то и танцевать нечем будет...

Я возмутился:

— Что я, как фашист в зиму сорок первого? Мотаный-перемотанный буду... Не по чужой, по своей земле хожу! Она, дед, греет, если дело важное есть...

— Умён ты, вижу, не по годам. Эт хорошо. И что войну помнишь правильно — тож хорошо. Значит и беду свою правильно поймёшь. Глядишь, а там и жизнь наладится... Ну, мотай, как портянки, заматывай... И беги делать своё дело... важное.

Я повиновался, склонился — в голове вновь зашумело, а пространство поплыло-поехало. Завидев это, дедок сел передо мной.

— Давай сюды ногу-то!

Я положил ногу на его колено — он заботливо и тщательно обернул её ветошью, то же проделал и со второй. Закончив, дед довольно крикнул и огляделся.

— Эвон, гляди, товарный ползёт! Быстро не пойдёт, потому как на станции остаётся: ему локомотив менять будут, чтоб в обратную сторону гнать. Он встанет как раз на повороте, где энта ветка отделяется.

Товарный поезд шёл по соседнему полотну с тем, которое уходило после сортировочной влево. Шёл, и вправду, медленно, коротко посвистывая и почти без лязга колёс. Но направлялся он оттуда, откуда я пустился в бег. А вдруг там засада и из темноты пустых вагонов зорко прощупывают местность жёсткие глаза опасности? Впрочем, товарняк могли осмотреть и пропустить. Рискнём.

— Ближе к хвосту садись, меньше топать... — услышал чуть трескучий голос. — Стой, пацан! Погоди-ко... Не «твои» ли там...?

Да. Я уже их заметил всколыхнувшимся сердцем. В третьем от головы поезда вагоне, в его чёрном зеве виднелись два тёмных силуэта. Огоньки их сигарет то вспыхивали, то терялись, то роняли, дробясь, искристый праздничный шлейф, таявший в темноте ночи. Всё пропало. Неужели придётся пересекать этот жуткий пустырь, где ты, как на ладони? Ковылять, теряя золотое время? Я подумал, что всё равно пойду. И буду идти, пока меня не схватят. И от принятого решения почему-то на душе вновь полегчало.

Тут радость стала медленно разрастаться приливной волной: они же курили! Курили, не таясь! Не могли преследователи позволить себе такого безрассудства! И уж слишком беспечно сидят (один — чуть в глубине, другой — прямо на краю, свесив наружу ноги) и громко разговаривают. Я даже разобрал, когда состав проплывал мимо нас, обрывки разговора! Есть шанс...

Принялся считать вагоны — сбился: темно. Поезд будто вылеплялся из чёрной тверди ночи, закрывая своим могучим телом сортировочную, утопающую в свете множества фонарей. Выждав некоторое время, я разглядел открытый вагон, похожий на тот, в котором ехали рабочие, и пересёк ближайшие рельсы. Быстро обернулся:

— Пока, дедуль! Спасибо... Я никогда не забуду...

Дед оборвал меня строго:

— А ну, садись! Нашёл время лясы точить...

Кажется, он что-то ещё бормотал себе под нос, но меня ждали мои важные дела: я приготовился к прыжку. Если нога ещё ныла и плохо сгибалась, то руки вполне окрепли: я вцепился левой за край стены, а правой упёрся в пол вагона, чуть подтянулся с раскачкой и сделал рывок, вытолкнул вверх грудь и плюхнулся ею на пыльный дощатый настил. Вполз, упираясь о стену, и перевернулся на спину.

От усилий в висках снова загудело, а там, где была рана, — запульсировало. Медвежьей силы невесомость в животе потянулась к горлу. Но мне нужно было увидеть его. Я приподнял голову и поймал взглядом щуплую фигурку — дед семенил прочь. Спасибо, тебе, дедуля...

Нужно отдохнуть. Я закрыл глаза. Боязно, честно признаться, как-то страшновато остаться наедине с самим собой в минуту передышки: голова свободна — лезьте тревожные мысли, выворачивайте душу, сбивайте с понталыку! Однако вопросов — почему здесь? что будет потом? не вернуться ли самому? — к тихому и сладкому облегчению, не возникло. Только её лицо перед глазами. Побоявшись отрубиться от нервной перетряски, я разлепил веки и повернулся набок. Ногам, спасибо деду, было тепло, мягко, уютно, а то, что горели ступни да саднили подошвы — лабуда на постном масле по сравнению с мировой революцией!

Когда долгожданная лесопосадка появилась перед глазами, я собрался, сел, свесив ноги из вагона. Настроение поднималось вместе с

нарастающим волнением от предвкушения встречи. Только бы в последний момент её не сорвала судьба, будь то погоня или отремонтированный и заведённый «газон». Поезд, как назло, еле-еле тащился. В мыслях я подгонял его, непроизвольно подталкивая плечом воздух в вагоне.

Позади, в промзоне, которая всё ещё была видна маленьким золотистым пятном, удалось-таки разглядеть заметное оживление — фигурки людей мельтешили, перемещались из стороны в сторону. Впереди — обнадёживающая тишина манила полумраком, нежным, с запахом женщины и счастья. Пора!..

Есть!.. Автомобиль, как и прежде, стоял с открытым капотом! Меня затрясло от радости. Они были на месте... Они не уехали! В лужайке света под фонарём уныло жались друг к дружке три девчонки, чуть поодаль — довольно крупная женщина. Но как же быть теперь? Как подойти, как остаться с ней наедине?!

Но, видно, меня так неудержимо влекло вперёд, что я опомнился лишь тогда, когда понял, что вхожу в круг света. И замер, будто наткнулся на плотный ершистый взгляд: несколько пар глаз елозили по мне с ног до головы, словно стирая ластиком корявый, неудачный до отвращения рисунок. Затем в них появились недоумение и страх. А от моего вида можно было не только испугаться, но и упасть замертво. Мне уже почудилось, как пронзительный крик разрезает небосвод и уносится по темноте в разные стороны света.

И полетели в сторону дедулин шарф и ветошь, поясок от плаща с капустным листом... Запоздалые и неуклюже-суетливые приготовления мои были встречены коротким смешком, что немного сняло напряжение и подняло всем настроение. Больше всего меня тревожило, как поведёт себя женщина. Но та не двинулась с места. Лишь быстро пересыпала семечки, которые смачно грызла, из правой руки в левую, при этом тут же с большого расстояния отправила точно в рот новую.

— Ты чо, бес? — с потаённым азартом охотника тихо спросила она; звук «ч» выстрелил изо рта вместе с шелухой, но одна кожурка прилипла к губе. — Куда тебя, сучонок... О-о!.. Так ты, я вижу...

Я перебил её:

— Да я с того поезда. Отпустили меня на минутку...

Если первые слова я произнёс твёрдо, то на последних замялся и смешался. Вот она, девчонка, здесь, рядом, а взгляд мой прирос к земле. Я всё же мельком глянул на неё и по жилам побежала, зафонтанировала кровь: сколько всего было в её глазах под бровками, взлетевшими домиком! Сквозь сдержанные слёзы сочилась затаенная мольба, перемешанная с радостью и гордостью, а растерянность уже уступала место отважной готовности... Женщина наконец выловила языком кожуру с губы и медленно направилась в мою сторону.

— Как я — твоя мама... Отпустили! Веселиться бегать, в прятки иг-

рать... А я тебя ведь заметила в окошке: как смотрел, как смотрел! И как чуяло сердце моё, ёкнуло, что-то будет. Ты её знаешь?

Я неуверенно пожал плечами, взглянул на мою девчонку и тут же лихорадочно согласно закивал головой:

— Она — невеста моя. Дайте две минуты. Не успели мы... Поговорить. Пожалуйста...

Какое-то мгновение взгляд её был тяжёлым, полным жёсткой решимости и открытой угрозы. Потом меня будто подкинули на ладони, взвесили, вывернули наизнанку и вытряхнули содержимое, а когда позже собирали, будто намеренно некоторые детали не тем местом приладили — так нескладно я себя почувствовал. Затем она посмотрела на девчонку — та привстала на цыпочки, коротко кивнула головой, а скорее — вжала её в плечи. Наконец глаза женщины смоляно блеснули в мою сторону и до меня донеслось со вздохом:

— Эх вас обоих угораздило... Но уж, коль встретились... Возьму грех... Что ж мне с вами делать?

Вопрос она задала себе не праздный — озадаченно осмотрелась, потирая подбородок. Тут я увидел бутылку с минеральной водой, которая стояла прямо на песке. Девчонка уловила моё желание, проворно подхватила бутылку и оказалась передо мной.

— Пей.

Нежный тихий голос с клубами тёплого дыхания — так близко она стояла! — пронял меня чуть ли не до слёз: я замер, забыв про воду. Всё любовался, чего-то ждал, что-то берёг, ни о чём не думая...

— Ну? Пей же! — она втиснула в мои руки бутылку.

Захлёбываясь и расплёскивая, я жадно глотал воду — холодную, колючую настолько, что та вставала в горле комом. Едва остановился, чтобы протолкнуть её, но нечаянно икнул. Девчонка хихикнула. Но стоило мне вновь потянуться к горлышку, как из моей утробы выпрыгнул круглый и громкий рык. Теперь засмеялись все, гоготнула даже женщина. Но тут же зыркнула на других девчонок: «Тихо всем! Сидим, как мыши!». А я тем временем отпил ещё пару глотков, набрал в рот минералки, зажал бутылку между колен, а воду изо рта выплеснул в ладони — так хотелось умыться! Девчонка тут же вырвала у меня бутылку: «Подставляй руки!».

— Так, голуби мои! Только быстро... Вон сараюшка — бегом туда! Сунул-вынул и назад! Бегом, сказала... Я с вами бздеть рядом буду. А вам, — обратилась она к остальным двум девчонкам, у которых, не смотря на положение, вдруг проснулся в глазах огонёк жизни, — сидеть тихо, куры. Не дай Бог...

Девчонки загадочно переглянулись и хитро потупили глаза. А мы, взявшись за руки, бросились к сараю. Ладони и пальцы у неё были мягкие, горячие. Они тут же трепетно впелись в мои — такие долгожданные и уже знакомые, такие говорящие...

Странное было чувство... Странность сквозила во всём: в том, что получилось добраться до неё, в том, что не укатил «газон», в том, что тётка не тормознула нас, в том, что девчонка, не задав ни вопроса, бросилась со мной в этот странный сарай, который также кстати оказался на перепутьи и замок на его двери висел, будто для близиру — сломанный был замок, не закрывался.

Мы забежали в сарай. Заметались в серой мгле, как испуганные воробьи, бессмысленно озирались по сторонам, не зная, что делать! Наше сильное сбивчивое дыхание перебивалось шарканьем ног — звуки были режуще-громкими, и, казалось, не застревая, вылетали на улицу через щели в дощатых стенах.

Нет. Мы просто транжирили драгоценное живое время. Живое и плотное. Пульсирующее. Кричащее взволнованным пыльным светом уставшего оконца, каждым ребром переломанных яблочных ящиков, распахнутой дверцей старого холодильника, пепельностью бутылок, сваленных грудой, продранной тканью погнутого абажура, бесформенными в морщинах башмаками... Транжирили в силу обычной стеснительности. Наконец мы просто столкнулись и жадно, но осторожно посмотрели друг на друга.

— Ты из-за меня оттуда..? Ты ж ко мне прибежал... Что ж ты наде-
лал, дурачок... — нежно и быстро затараторила она, легонько коснувшись моего лица пальцами. В голосе слышались гордость, забота, которая зарождается вместе с первыми чувствами и живёт в сердце, скорее, по традиции: так надо, так заведено у взрослых, а в глазах мелькнуло совсем не юношеское беспокойство.

— Я не смог... Не смог...

Она вдруг, будто о чём-то вспомнила, со словами: «Что ж я стою, дура», — деловито засуетилась, выбирая место и на ходу расстёгивая верхнюю пуговицу жёлтой болоньевой куртки.

Там, снаружи, в том чёрном и опасном мире, слышались шаги. Мы вновь метнулись друг к другу. Обнялись и замерли. Долю секунды поедали друг друга глазами, словно спрашивали самое главное и отвечали самое нужное. В помещение протёк, будто прибавил ненужного сейчас света, голос женщины:

— Ты чего вернулся, Елистратов?

Ей ответил вялый мужской голос, к тому же, расцарапанный простудой.

— Подумал, вдруг тут беглый объявится. Не случилось бы чего...

— Ой, блин, мальчонку испугался! Защитник хренов! Тебя бы самого кто защитил!

— На твоём мальчонке мокруха висит!

— Висит, потому что повесили! Иль не слышал, что дело там тёмное. А то ты не знаешь, как бывает... Иди, куда сказано! И без лекарства не возвращайся — девке совсем невмоготу!

— Насрать на неё...

— А когда она тебе в машине насрёт?! Раз десять? Валяй бегом, бес-
толковый. Я ж не о ней, я о нас беспокоюсь!

— Где я тебе его на ночь глядя возьму? Медпункт, наверное, за-
крыт уже.

— В хаты стучись.

— Я не выговорю название.

— Я бумажку, тебе, балбес, зачем написала?! Отдашь её хозяйке. Она разберётся. Всё. Иди. Пока сходишь, шофёр запчастей найдёт или другую машину пришлют. Дуй, давай. С беглым как-нибудь без тебя разберёмся... Не первый день замужем...

Прошла вечность. А у нас она была одна-единственная. Во время всего разговора мы стояли, прижавшись друг к другу тёплыми лбами и, скорее, слушали стук наших сердец, чем перепалку мужчины и женщины. Мы уже были чем-то одним целым, проникая друг в друга запахом, капельками испарины, сладким упоением от того, что рядом, что близко-близко. Так доверительно и откровенно страшно близко, аж дух захватило.

Опомнились мы разом. Суетливо ткнулись губами. Это был поцелуй признания и окончательного согласия. Поцелуй-поощрение. Поцелуй пройденного этапа, давнишней совместной жизни. Девчонка быстро отбежала в угол, в котором невысоким штабелем сели сложенные доски. Оттуда блеснули её глаза. Во всём теле её, в том, как она стояла — полубоком и слегка обернувшись, чуть склонив голову — в пластике движений читалась стеснительность. И в то же время струился призыв, исполненный самого сокровенного доверия, без остатка, как с самым любимым, самым единственным на свете человеком.

— Иди скорей... — громко прошептала она.

Девчонка села на доски — пуговица так и не поддавалась. Она старательно возилась с нею, даже прикусила губу от усердия, как вдруг с силой, куражисто дёрнула полу и где-то в дальнем углу щёлкнула в металлическую крышку отлетевшая пуговица.

Я ринулся к ней. Видно, слишком стремительно: одновременно и нога, и голова дали о себе знать тупой болью. Какое там — воля восстала: подавить и забыть! Короткое время я всматривался в неё, пил, впитывал — во мгле угадывалось, дорисовывалось лицо, виденное прежде. Только глаза блестят серые, светлые глаза. Да русые, чуть встрёпанные волосы смешно топорщатся, будто только что отрезали сочную косу. Я замял её, неуклюже лег рядом. Неистово и бестолково тиская грудь сквозь толстую куртку, всё тянулся и тянулся губами к её лицу.

— Давай, миленький, — горячно шептала она, — иди ко мне. Ты же этого... Ты ж за этим... Тебе надо, милый мой, родной... и я... и я тоже хочу... с тобой. Только с тобой.

В этой мятежной сутолоке наши губы всё же соприкоснулись. У неё они были жаркими и немного шершавыми, словно обветренными или

покусанными, с мелкими жестковатыми чешуйками кожицы. Я старательно стремился буквально поймать их и впаяться. Наконец я подтянулся повыше — губы уже были более влажными и мягкими. Во рту сразу стало тепло и так сладко, что у меня помутилось в голове, а внутри что-то оторвалось и полетело.

— Какой же ты страшненький... и красивый, — с горькой жалостью и теплотой в голосе сказала она и её глаза вновь чуть не наполнились слезами. — Тебе больно?

Я действительно выглядел не лучшим образом: за последние месяцы сильно похудел, осунулся, щёки, подёрнутые первым чернявым пушком, ввалились, а нос заострился. А сейчас к тому прибавились синяки, ссадины да грязь.

Не переставая целоваться, я судорожно пытался подготовить главное. Но у нас ничего не получалось. Мешала одежда и неудобное положение, чтобы от неё хоть как-то избавиться. Я быстро поднялся и почти рывком поставил девочку на доски. Та тихо взвизгнула птичкой и обвила меня руками. А я принялся задираť всё ещё застегнутую куртку. Мне хотелось обязательно дотронуться до груди, хоть на мгновение. Кожа оказалась почти горячей, чуть влажноватой и гладкой. Я зажмурился. И вдруг ощутил, что от моих, видимо, холодных рук у неё вдруг высыпают гусиные мурашки. Это почему-то заставило меня улыбнуться и слегка сняло напряжение. Я добрался до лифчика — он был плотный и почувствовать через него хоть что-то из того, что ожидалось, было невозможно. Но мне так нужно было дотронуться до её груди!.. Я полез за спину.

— Просто подними его. Здесь, спереди... — тихо сказала она.

Я слишком осторожно попытался проделать это нехитрое задание и опять провалился.

— Да смелей, не оторвешь, — прошептала она и я сквозь темноту услышал её улыбку.

Вторая попытка оказалась удачной: как только лифчик скользнул вверх, в мои ладони влилось и наполнило их что-то тёплое, нежное и округлое. Одновременно и мягкое, и упругое. А когда по пальцам прошлись твёрдые бугорочки сосков, я на секунду задержал их и тут же выпростал руки, обхватив её за спину. Я уткнулся ей в плечо и шумно, с дрожью выдохнул, подавляя плач.

— Ну, ты чо... — ласково пропела она, чуть отстранившись, а потом крепко прижала мою голову к себе. Затем поощряюще-нежно спросила: — У тебя это первый раз?

— Угу, — откликнулся я, размазывая сопли по болоньевой ткани. Затем решительно отёр нос рукавом фуфайки, ширкнул им пару раз по куртке там, где лежала моя голова (она опять нежно и тихо просмеялась) и принялся искать под курткой резинку, верх у колгот. Она легонько отстранила меня.

— Ты сам давай... А я — сама...

Она задрала куртку и выглядывавший из-под неё голубой свитер и стянула колготы до самых ботиночек. Мои штаны уже тоже болтались ниже колен. Вдруг меня осенило: я, путаясь, торопливо снял фуфайку и бросил на доски.

Наверное, это выглядело забавно, раз девочка коротко и мягко засмеялась и трогательно прошептала: «Заботливый мой».

И вновь я маялся, а она снова помогала мне, нашептывая: «Мой милый, мой хороший... не торопись, родной мой, мой самый-самый...».

А когда лёг рядом, восстанавливая дыхание, над головой вдруг на мгновение увиделось бирюзовое небо, бездонное, тихое и полётное. В его прозрачности висели белые кучерявые облака. В детстве мы наперегонки выбирали самые крупные и красивые из них — это ж огромные бесплатные мороженые! — вытягивали языки и лизали каждый своё, причмокивая и приговаривая: вкусно! у меня эскимо по 11 копеек! — эскимо в шоколаде, а на этом шоколаде нет! — я его уже съел! — тогда у меня пломбир за 20 копеек!

Мы обнялись, прижались щеками, как смогли. Молча думали каждый о своём, а скорее всего, об одном и том же. Её щека была горячей и очень вкусно пахла — наверное, так пахнет первая близость, первая любовь. Мы не смотрели друг на друга, слова утонули в нас. Мы просто жались и жались друг к другу до тех пор, пока к горлу не подступил комок, а судороги плача пробежали по лицу — такая нежность поднялась, такая тоска гремучая обожгла сердце!

Теперь мы во все глаза смотрели друг на друга: непрерывно что-то спрашивали взглядом, о чём-то просили, благодарили, клялись и успокаивали, смотрели так, будто этот взгляд был всё и единственное, что осталось живого в ночном космосе, будто он способен был сотворить чудо, и нас никто и никогда не разлучит!

— Эй, вы там, новобрачные, чего притихли? Скоро, что ли? — раздался грубоватый, но тихий голос тётки.

Вздрогнув, мы вновь прижались ещё крепче. Она отстранилась — в глазах её блеснули слезы:

— Ты — мой. Мой. Слышишь, — горячим шёпотом заговорила она. — Ты — мой единственный навсегда.

— А ты — моя. Моя, моя... Моя... Будь счастлива, ладно? Будь обязательно!

— Обязательно буду. — Она держала моё лицо в руках, трогала пальцами мои губы, глаза, брови. — Буду! Только, чур, с тобой!

Мы быстро и неловко поцеловались, сквозь поцелуй я сказал, что ей пора уходить. Она ещё сильнее, так что наши зубы стукнулись, прильнула к моим губам, запечатывая страшные слова и отдаляя миг расставания. Я сдержанно, но настойчиво отстранил девочку.

— Тебе надо уходить. Придут — будет поздно. Из-за меня и тебе достанется.

Послышался топот ног, мужские голоса и приглушённый злой говорок тётки: «Доигрались, бляха! Ну ё...».

Вот уже стали различимы слова:

— Смотри, вон сарай какой-то!

Я встряхнул её:

— Уходи бегом! Нет, поздно...

А девчонка вдруг села, поправила волосы и твёрдо сказала:

— Я никуда отсюда не пойду.

— Дура. Дурочка! Милая! Тётку подставишь — и от неё достанется! Она резкая, похуже мужика будет, если разозлить.

— Я остаюсь с тобой. Всё.

Она выдохнула собранно, расправила плечи, встряхнула головой волосы, а руки вдруг по памяти попытались найти косу. Я бросился осматривать сарай — была же снаружи большая заплатка! То ли жёсть, то ли фанера. Значит должен быть и лаз!

А голоса угрожающе приближались:

— Возле сарая кто-то стоит!

— Так, вы трое — к сараю! Остальные — за мной к деревне! Через лесопосадку!

Тут я увидел проём, с внешней стороны забитый фанерой. Я ударил по ней ногой. Старался не шумно — лист остался на месте. Тогда я вложил в удар всю силу, на которую был сейчас способен — фанера на удивление тихо хряснула и в проём пролился серый свет. Дробный топот нескольких пар ног страхом давил на ушные перепонки.

— Давай милая, бегом! — Я стремительно вернулся к девчонке, схватил её за рукав и почти швырнул к лазу так, что та отлетела и еле удержалась на ногах. — Я найду тебя. Слышишь, милая моя, обязательно найду.

Внезапно зычный зов окатил пространство пронзительной ледяной струей:

— Сюда! Сюда-а! Здесь он! Здесе-есь, рради-имый... Поганец...

Кричала тётка. Вот тебе и добрая тётка. Выстрелом раздался треск вспоротой болоньевой куртки и подошвы ботиночек девчонки исчезли в лазу. А тётка... Тётке теперь надо о себе побеспокоиться!

— Здесь, стервец. Вот стою, стерегу. Но он сам пришёл! С повинной. Заблудился, говорит. Пошёл по большой нужде и заблудился! — Тётка уже говорила не нараспев, уверенно чеканила слова.

— Далеко ж его занесло нужду справлять... Давай открывай дверь, разберёмся...

Я сел на пол, прислонился к стене. Тепло ещё держалось во мне, но постепенно ускользало. Чтобы сохранить его, я поджал колени, обняв их руками. А в голове гуляла шальная пустота и безразличие к грядущему. Вдруг раздался скрип двери и в проём ударил острый луч света, докатился до меня и чуть не скосырнул глаза. Я прикрыл веки, откинул голову к стене и улыбнулся...

Пижон всю шерудил у костра, присыпал картофелины углями. Я не заметил, когда он вернулся. А она всё прижимала к себе мою голову и баюкала её, как ребёночка. Затем потрепала по щеке и сказала со смешком:

— Вставай! Уснёшь ещё. У меня уже ноги затекли.

Я побурчал, потягиваясь, поцеловал её в живот. Затяжная тёплая осень грела душу умиротворением: хотелось все делать неспешно, размеренно, наслаждаясь тишиной. Но только не Пижону.

— Так! — Прокричал он. — Надо ещё помидоры и сала! И это... Может, лодку обмоем втихаря?! Там вино поспело...

— А ты откуда знаешь? — с шутливой угрозой она двинулась на него. — Распробовал?! А я смотрю — убывает!

Я вмешался, вызывая огонь на себя:

— Это я прикладывался. По чуть-чуть. Вечерком. Для здоровья. Как врачи приписали!

Вдруг раздался телефонный звонок. Пижон заметался по берегу в поисках трубки: он был в плавках. Обнаружил на бревне, вжал в ухо:

— Ага... Ага... Тань, уже бегу.

Мы переглянулись понимающе. А Пижон уже натягивал брюки.

— Картошечка мне не светит! Обедайте без меня. А лодку обмоем, когда на воду спустим. Буду вечером. Или утром.

— Поел бы быстренько, — без всякой надежды сказала она и обвила мою талию.

— Ну! Не!.. Ага! Я забегу на кухню: молочка, помидорку... Всё, пока!

Я обнял её за плечо и мы побрели к воде. Чайка пискнула, коряво перебежала к бревну и вспорхнула на него. Настороженно уставилась на нас почему-то с открытым ртом — что ты хочешь сказать нам, чайка? И небо убегало от нас по воде, чем ближе мы подходили к реке. И гладь водная темнела. Но вот уже светлеет она, наполняется прозрачностью. Близкое золотистое дно ожило под вездесущим солнцем: колышутся водоросли, вздымая лёгкие песчинки, проносятся мелкие рыбёшки, играют светлые зайчики от пузырьков на поверхности; вот тёмное продолговатое пятно поползло по донной лучистости — тень от щепы или древесной коры. А на самой чёрной щепке, которую медленно несло вдоль берега, сучил ножками паучок-касиножка. Так его называли в детстве. И если оторвать его худую лапку, то она сама по себе двигаться будет, по примете, письмо чиркать — оно и придёт.

— Танька — хорошая девчонка, — почему-то сказал я. — И Пижона вроде бы любит.

— Да и он по ней... Без обеда убежал...

— Дело молодое...

Мы, не сговариваясь, развернулись и побрели обратно к костру. На душе было то ли пусто, то ли слишком полно, что говорить не хотелось.

Или, наоборот, хотелось так много сказать, сказать важное — а слова затерялись в событиях памяти, словно прятались по боязни.

Наверное, мы оба ждали *этого* разговора именно сейчас, ждали, кто же заговорит первым. Я без надобности подбросил в огонь сухую веточку — пламя обняло её жадно, заиграло веселей — и представил себе: я спрашиваю, не глядя в её сторону:

— Ты отдашь мне письмо?

Она отвечает без заминки, не отрывая взгляда от костра:

— Возьми на моей полке. В шкатулке. Оно там на дне.

Я поднимаюсь, затем почему-то останавливаюсь.

— Иди, — тихо говорит она. — Я знаю, как тебе это нужно. Я могла бы всё рассказать сама, но мне не хватает духа. Даже сейчас, когда прошло столько лет. Иди... Может, и мне будет легче...

Костёр горел, а я сидел и думал — спросить у *неё* письмо тети Веры или оставить всё как есть. Но как ни крути — жить и делать вид, что ничего не было, что ничего не тревожит и не тяготит, не получалось (вру, получалось отлично, пока не пришла пора *начать жить*), хотя мы оба вовсю старались начисто вычеркнуть горькое прошлое из памяти и наших нынешних отношений. Да, мы оба *всё знали* друг о друге, и о той роли, которую каждый из нас сыграл в злополучной истории, которая, как проплешина отравленной земли, всё никак не порастала быльём. Знали. А нужно было перестать знать, вылить из себя, словно из сосуда протухшую муть, наполнить свежим из чистого источника. Насколько тяжёлым для нас обоих мог быть этот разговор, я понимал до безумия ясно, к чему мог привести — со страхом догадывался. Поэтому долгое время искал пути избежать его, не отложить на неопределённое. Потом, а уничтожить саму необходимость такого разговора. Жизнь делала вид, что у меня получалось.

Она предложила попробовать одну картофелину на готовность и я стал разгребать угли. А внутри у меня все сжалось от предчувствия и неизбежности.

— Смотри, — сказала она, — чайка рыбку поймала... Ах, гляди! Выронила!.. А-ай! Смотри-ка, опять поймала! Прямо на лету подхватила, молодчина какая!

Странно: мы так искренне переживали за чайку! На самом деле, в эти пролетевшие секунды нас перебудоражило яркое смешение чувств: вспыхнула радость, её сменили грусть и досада, и вновь бурное ликование — есть! получилось! Сбегали? Примеривали на себя?

Тут она повернулась ко мне, в глазах усталость, в движениях — напряжение.

— Всё не то!.. Что я за дура такая? Ладно... — она собралась, провела рукой по лицу. — Слушай. Может быть, я сейчас всё разрушу... Всё, что только начинает складываться. Разрушу всё так же, как тогда...

— Ты можешь не говорить... — настороженно сказал я: давно ожидаемый и неизбежный разговор застиг меня врасплох.

— Не могу. Не могу, понимаешь?! Не могу больше с этим жить. Не могу повторять дважды похожие ошибки. Я просто жить *так* не смогу с тобой! В общем, прости меня. Если можешь. За всё прости. Там, в доме, на моей полке лежит письмо. Я нашла его у тёти Веры. Оно адресовано тебе. Я видела у тебя, поверь, случайно, фотографию, которую она тебе прислала. И вдруг всё поняла. Всё, в чём сомневалась и о чём догадывалась. И испугалась. Так что хоть в омут. И ещё поняла, что... Подожди, мне трудно говорить... И подумала...

Я остановил её, порывисто встал и ушёл в дом — я не задумывался, где его искать. Где оно лежит я знал давно.

Свёрток был похож на музейную редкость: жёлто-коричневая газета со старыми шрифтами, свернута конвертом и перетянута бечёвкой. Её ветхие края осыпались в руках чешуйками сброшенной кожи постаревшего времени. Я держал в руке послание из прошлого, разгадку и карту перепутья моих и чужих дорог. И прислушивался к себе — ни малейшего волнения. Повертев в руках пакет, я заметил дату выпуска газеты — никому ничего не говорящие цифры — годы моей юности. Юности, которая так и не хотела меня отпускать...

Я вернулся к костру и сел на песок.

— Мог бы и в доме прочитать, — глухо сказала она.

Она была права. Кто знает, может быть, строчки письма, невольно выученные ею наизусть из-за боли и чувства вины, стали бы оживать поочерёдно перед её глазами, по мере того, как мой взгляд выхватывал их с тетрадного листа. Получился бы тот же самый страшный рассказ, почти что вслух, и уж точно — от сердца.

Решение, видимо, уже давно летело со мной по времени: я поднёс уголок пакета к костру — газета занялась, потемнела там, где её прихватил огонь, искорежилась. Когда пламя чуть увереннее охватило бумагу, я бросил свёрток в костёр. Она удивлённо посмотрела на меня.

— Я и так всё знаю, — сказал я.

Стало необыкновенно легко. Возможно, мне нужно было только *её* собственное признание, что она — это *она*. Доказательством могло послужить письмо тети Веры, изъятое ею у старушки, для того, чтобы скрыть истину. Или, напротив — открыть её мне *самой*. Что, собственно говоря, и случилось. Но радость наша трепетная пела в душе ещё оттого, что мы обрели себя уже дважды. И второй повод для нас обоих, для нашей встречи и дальнейшей жизни был куда важнее и счастливее! А уж если я ей расскажу мою историю про сортировочную станцию, то... Да, я сейчас же и расскажу, сколько ж можно тянуть!

Литературно-художественное издание

Владимир ?????? Миклавчич

АРКА

Роман

Книга издана за счёт средств бюджета Самарской области

Самарская областная писательская организация
искренне благодарит за поддержку и помощь
в реализации проекта

«Народная библиотека Самарской губернии»

Ольгу Васильевну Рыбакову,

Лидию Алексеевну Анохину

Руководитель проекта

«Народная библиотека Самарской губернии»

Александр Громов

Издание подготовлено издательством

«Русское эхо»

Самарской областной писательской организации

Адрес: 443001, г. Самара, ул. Самарская, 179,
телефон (846) 333-48-01

Подписано в печать 21.02.2012. Формат издания 60х90/₁₆.
Объём 15 печ.л. Гарнитура PetersburgС. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Тираж 550 экз.

Отпечатано в типографии издательства ООО «Книга»
г. Самара, ул. Песчаная, 1, офис 310, телефон (846) 267-36-82